



# ЮНОСТЬ

4

1967





# ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания тринадцатый

**4**

[143]

АПРЕЛЬ

**1967**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МОСКВА



## • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

### ● ПРОЗА

Дмитрий ХОЛЕНДРО. Свадьба. Повесть 6  
П. БАГРЯК. Перекресток. Приключен- 70  
ческая повесть. (Окончание)

### ● ПОЭЗИЯ

Семен ТРЕСКУНОВ. Апрель . . . . . 2  
Саги ЖИЕНБАЕВ. Ленин в отпуске. (Пе- 2  
ревел с казахского В. Пав-  
линов) . . . . .  
Семен БОТВИННИК. «Все доброе выстоит 3  
в мире...». «Как детей в эти дни сбере-  
гали!...». «Все дальше поезду идти...». 3  
«Не друзья еще — сверстники просто...». 3  
«С любимой ли бреду...». «Толчок — 3  
и вновь плывет вагон...» . . . . .  
Педер ХУЗАНГАЙ. Из стихов о Кавказе: 5  
«Да, вдали от мест родимых...». По 5  
мингрельской дороге. Я узнал, что 5  
тебя больше нет. Пури, квели да хвино. 5  
(С чувашского) . . . . .  
Борис СЛУЦКИЙ. «На стремительном пе- 38  
регоне...». «Поэзия — дырка от бубли- 38  
ка...». Ботинки Маяковского. Большой 38  
масштаб. «Мнения переплетчика, ска- 38  
жем, о переплете...». «Ракетчики, под- 38  
водники, танкисты...». «Прогремели, как 38  
звук, и ударили в уши...». Читальня 38  
на нашей улице. «Из — целую жизнь 38  
буриной — скважины...». «Меня перепи- 38  
сали знатоки...» . . . . .  
Константин ВАНШЕНКИН. «Неверно, буд- 40  
то жизнь всего одна...». Закат. К пор- 40  
трету. «Мы помним факты и собы- 40  
тия...». Гале. Дельфины... . . . . .  
Евгений ХРАМОВ. Июль сорок второго 41  
года. «За двести целковых в сезон...». 41  
«Как днем припоминают сон...» . . . . .  
Буллат ОКУДЖАВА. «Мой город засы- 69  
пает...». Первый гвоздь. Песенка о ноч- 69  
ной Москве. «В детстве мне встретил- 69  
ся как-то кузнечик...» . . . . .

### ● ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Корней ЧУКОВСКИЙ. Человечность без 65  
иллюзий . . . . .  
Станислав РАССАДИН. «...Чугунный го- 92  
лос, нежный голос мой» (О поэзии 92  
Ярослава Смелякова) . . . . .

### ● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

В. КОСТИН. В поисках новых решений . 63

### ● ПУБЛИЦИСТИКА

Людмила КУНЕЦКАЯ. Тридцать лет любви 42  
и дружбы . . . . .  
Виктор УЛЬЯНОВ. У Ленина в Горках . 48  
Григорий МЕДЫНСКИЙ. ...Таково это «я» 51  
Третий семестр. (Круглый стол 85  
«Юности») . . . . .

### ● ДЕБЮТЫ

Наташа БОЛЬШАКОВА: «В балете я ста- 97  
новлюсь храброй...» . . . . .  
Юрий СОКОЛ: «Мы добивались правды» 98

### ● СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации . . . 100

### ● НАУКА И ТЕХНИКА

Новости отовсюду . . . . . 102

### ● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

\* И. МАРИЕНБАХ. Памятник на Марсо-  
вом поле. \* Иван КУПЦОВ. Его звали 104  
Овод. \* Л. ГРАФОВА. Любовь к двум 104  
крокодилам . . . . .

### ● ШАХМАТЫ

Михаил ТАЛЬ. В поисках будущего чем- 107  
пиона . . . . .

### ● СПОРТ

Д. УРНОВ. Вожжи в руках . . . . . 109

На 1-й — 4-й страницах обложки рисунок Е. Соколовой и А. Максимова.  
На 2-й странице обложки портрет В. И. ЛЕНИНА. Линогравюра М. Лянглебена.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52, телефон Д 5-17-83.

Рукописи не возвращаются.

А 00357. Подп. к печ. 15/III-1967 г. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 7,25 физ. печ. л.—12,18 усл. печ. л.  
Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 589. Заказ № 358.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



## Семен Трескунов

### Апрель

I

Спокойно в Ленинском музее.  
И я, мальчишка, как во сне,  
На незнакомый мир глазею,  
И всходит солнышко во мне.  
Но вот я вижу в отдаленье,  
Как, разрывая темноту,  
Шагает по заливу Ленин,  
Совсем по тоненькому льду.  
Шагает, шапку нахлобучив,  
Оступится — и в полынье...  
На темный лед сползают тучи,  
И солнце падает во мне.  
Из зала в зал, как в наступленье,  
С указкой шел экскурсовод.  
А я все думал: «Как же Ленин!»  
А я все думал: «Как же лед!»

II

Апрель сорок второго года.  
Ты отогрел блокадный город.  
Пришел ты воином суровым,  
Свои знамена не склоня,  
И отыскал полуживого,  
Полузамерзшего меня.  
Я был тогда настолько тонок,  
Настолько слабо мог ходить,  
Что даже маленький ребенок  
Меня бы мог поколотить.  
Я от ходьбы дышал отчаянно,  
И опирался я на трость.  
Апрель зелеными лучами  
Меня просвечивал насквозь.  
А по Неве сходили льдины  
Святого Ладожского льда.  
И уплывала серединой  
Моя недетская беда.  
И виделось мне на мгновенье,  
Как, разрывая темноту,  
Идет в блокадный город Ленин  
Совсем по тоненькому льду.  
И это все тебе, Победа,



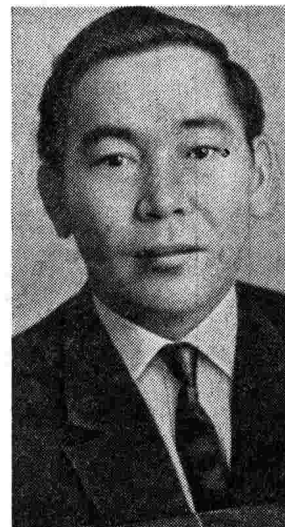
И только для тебя, Победа!  
Через окопы, через мины,  
К тебе, в грохочущем огне,  
Летел до самого Берлина  
Апрель на танковой броне.

III

Сегодня голосом простуженным  
Зима вздохнула: «Что ж, пора!»  
И вот уже Апрель по лужам  
Идет с восьми часов утра.  
Хрустят хрустальные хоромы,  
Лишь наступи ногой едва,  
Идет Апрель в сапожках хромоных,  
В глазах веселых — синева.  
И с каждым часом все свободней  
На целом свете и ясней...  
Я с дочкою спешу сегодня  
По теплым улицам в музей.  
И снова прежнее волнение:  
Вот, разрывая темноту,  
Шагает по заливу Ленин,  
Совсем по тоненькому льду.  
И дочка смотрит, и горюет,  
И за руку меня берет.  
«Ах, не волнуйся, — говорю я, —  
Поверь мне, что Ильич пройдет.  
Ему так много сделать надо,  
Что он не сможет утонуть...»  
Летит Апрель над Ленинградом,  
Счастливым путь!  
Счастливым путь!

□□□

## Саги Жиенбаев



### Ленин в отпуске

Дорогой товарищ Ленин,  
У тебя забот не счесть.  
Любим мы тебя и ценим.  
Разговор серьезный есть.  
Одолела нас тревога:  
Ты измучился, родной,  
Отдохни же хоть немного,  
Ну возьми хоть выходной!



Знаем, скажешь от души нам:  
 — Отдыхать нельзя пока.  
 Нужно топливо машинам,  
 Детдомам нужна мука.  
 Больше, больше с каждым годом  
 Хлеба просят города,  
 Нужен ток большим заводам,  
 А степям нужна вода...  
 Нам ясна, ясна дорога!  
 Очень просим всей страной:  
 Отдохни ты хоть немного,  
 Ну возьми хоть выходной!  
 Говорим, а ты не слышишь...  
 Вот цветы тебе, держи!  
 Ну зачем ночами пищешь?  
 Хоть немного полежи!  
 Покатался бы на лодке,  
 Что не выйдешь за порог!  
 Отпуск взял — такой короткий  
 За такой огромный срок!  
 Взял неделю. Что неделя!  
 Сколько в ней, в неделе, дней!  
 Раз приехал — в самом деле,  
 Взял бы отпуск подлинней!  
 Что прищурился устало!  
 Лучше лег бы да заснул!  
 Вот уже и солнце встало,  
 Ты опять не отдохнул.  
 Чуть прилег ты, дышишь тише,  
 Сон сомкнул глаза твои,  
 Зачирикали на крыше  
 Непоседы-воробьи.  
 — Кыш отсюда!  
 Улетели...  
 Ветер, в листьях не гуди!  
 Вот и тучи загустели,  
 Грянет гром, того и жди!  
 — Эй, детишки, не шумите,  
 В лес ступайте! Почему!  
 Дядя Ленин спит, поймите,  
 Нужно выспаться ему.  
 Он за всю страну в тревоге,  
 Он не спал давным-давно...  
 Вон телега на дороге,  
 В ней людей полным-полно.  
 Вот беда! Что делать с ними!  
 Спорить примутся опять,  
 Разговорами своими  
 Не дадут ему поспать.  
 Может, мы его заменим!  
 Пусть поспит еще хоть миг!  
 Но ведь Ленин — это Ленин:  
 Встал и сам встречает их...  
 Ель шумит, звенит осина,  
 Алый Кремль луной залит.  
 Мать-земля, баюкай сына —  
 Ленин спит.  
 Слышен бой курантов четкий  
 И станков могучий гул...  
 Лишь на час, на час короткий  
 Он уснул.  
 Мало спишь ты, что ж такое —  
 Каждый день встаешь чуть свет.  
 Нет ни дня тебе покоя,  
 Нет как нет.  
 Тучи в мире сеют смуту.  
 Оттого и ты, родной,  
 Не берешь ни на минуту  
 Выходной...

Перевел с казахского В. ПАВЛИНОВ.

□□□

## Семен Ботвинник



☆  
 Все доброе выстоит в мире:  
 горевшие трижды сады,  
 и сказки,  
 и синие шири,  
 и вечная песня воды.

Плают костры на планете,  
 обворовано  
 столько путей...  
 Но вечно останутся дети  
 и книги для этих детей.

Сгорит,  
 но останется с нами  
 и снова взметнется весной  
 березы зеленое знамя  
 и ветер тревоги земной.

Не стих еще грохот орудий,  
 и тучи ползут тяжело,  
 но все-таки  
 выстоят люди,  
 не кончатся свет и тепло!

И звезды, дрожащие зыбко,  
 и дальних селений огни,  
 и женщины милой улыбка —  
 вовек не погаснут они.

Вовек не окончится чудо:  
 как море, гремит бытие...  
 Мы, люди, встречаем повсюду  
 земное бессмертье свое.

☆  
 Как детей в эти дни сберегали!  
 Так крылом заслоняют беду.  
 В материнском платке, в одеяле —  
 по единственной трассе,  
 по льду...  
 Сберегали и бронзу и камень:  
 на свистящем ветру городском

заслоняли большими мешками,  
засыпали тяжелым песком.

Чуть держась на ногах,  
зарывали  
и Петра и коней на мосту.  
Только так, как детей укрывали,  
укрывали тогда красоту.



Все дальше поезду идти,  
все чаще провожаю взглядом  
полузросшие пути —  
они бегут с живыми рядом.

Встает над шпалами трава,  
и в рельсах нет былого блеска,  
к ним мелкий куст от перелеска  
дополз, касается едва...

Они похожи на слова,  
чей мудрый смысл  
в забвенье тонет —  
уже ни книга, ни молва  
не воскресит их, не затронет.

Они похожи на любовь,  
к которой больше нет возврата,  
и не коснется сердца вновь  
полузабытая утрата.

Полузросшие пути,  
на них листья опавшей пятна...  
По ним не следует брести —  
они всегда ведут обратно.

Ведут сквозь свет,  
ведут сквозь тьму,  
и ты идешь, забыв усталость,  
а приведут они к тому,  
чего и вовсе не осталось.



Не друзья еще —  
сверстники просто,  
просто мальчики с наших дворов...  
Мишка Найдич и Костя Бугров,  
вам шинели пришлось не по росту.

В самых первых сраженьях сгореть —  
горький жребий  
достался ребятам.  
Им друг другу в глаза не смотреть,  
не вернулись они  
в сорок пятом...

Замела их листва в сентябре,  
и тянули к ним матери руки...  
Четверть века прошло. Во дворе  
их мальчишками  
помнят старухи.

Как сумел я  
уйти из огня!  
Не встречаться парнишкам дворовым...  
До сих пор  
с недоверьем суровым  
смотрят матери их на меня...



С любимой ли бреду,  
ласкаю ли ребенка —  
предчувствую беду,  
все в мире слишком тонко...  
И легкий холодок  
дрожит над берегами,  
и тоненький ледок  
крошится под ногами,  
и крепости игла  
скользит по зыбким высям...

Слетают со стола  
клочки прощальных писем.  
И хрупкая листва  
трепещет у обочин,  
и песенка жива:  
«Покой-то твой —  
непрочен...»

Тонки штрихи антенн,  
и луч,  
незримый, зоркий,  
проходит толщу стен,  
пронзает переборки...  
Куда я ни пойду —  
я острым взглядом встречен,  
у мира на виду  
ощупан и просвечен...

Сродни  
листья багрец  
и путь людской короткий —  
у истинных сердец  
тонки перегородки...



Толчок — и вновь плывет вагон.  
Слежу за дымкой над садами,  
смотрю на телку, на ворон,  
смотрю на яблоню с плодами.  
Как руки черные ее  
напряжены и заскорузлы,  
как трудно ей  
от ноши грузной...  
Желтеет мокрое жнивье,  
кричит петух, гуляет боров,  
и белокрылое белье  
взлететь пытается с заборов...  
Но странно:  
вдаль отнесена,  
среди осеннего смятенья  
лишь эта яблоня одна  
полна высокого значенья.

## Педер Хузангай



### Из стихов о Кавказе



Да, вдали от мест родимых  
Я писал, писал, писал...  
От меня неотделимы  
Были эти небеса,

Этот хлопок белоснежный  
На полях Караязы,  
Это солнце, эта нежность  
После ливня и грозы...

Что Пегас! Лошадка Кукла  
За тобой закреплена.  
Ловко ты рукою смуглой  
Укрощала скакуна.

И не раз вокруг плантаций  
По проселку мы, пыля,  
Отправлялись не кататься,  
А осматривать поля.

Здесь впервые по-чувашски  
Говорил с Кавказом я.  
Югом наполнилась, как сказкой,  
Вся поэзия моя.

Ты прислушивалась... Мимо!  
Непонятно. Ну и что ж:  
Все, что непереводаемо,  
Ты в глазах моих прочтешь...

### По мингрельской дороге

От себя никуда не уйдешь:  
Горы, море, полуденный зной,  
Пыль мингрельских дорог, теплый

дождь —  
Все во мне. Все навеки со мной.



Нас Зугдиди восходом встречал,  
Сноп лучей он в окно бросил к нам,  
С чемоданом носильщик бежал  
И острил: «Физкультура, мадам!»

Ты смеялась, слегка смущена,  
И за ним поспевала едва,  
Не мадам и не чья-то жена:  
То далекие были слова.

Только раз, среди портретов князей  
И княгинь Дадиани, потом,  
Перед тем как покинуть музей,  
Ты прижалась ко мне локотком...

### Я узнал, что тебя больше нет

Я узнал, что тебя больше нет.  
Мне сказали сегодня об этом  
В том духане, где был наш обед.  
Помнишь то всежигавшее лето!..  
Пролетело с тех пор много лет.

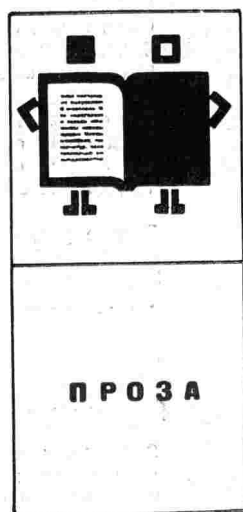
Слыша с болью, что нету тебя,  
Встал и трижды покапал вина я.  
Знала ты наш обычай: скорбя,  
Возлияньем тебя поминаю,  
Словно только сейчас погребя...

«Мой язычник!» — ты мне говоришь,  
Как когда-то, с улыбкой печальной.  
И молчишь. Водворяется тишь,  
Как в тот вечер вдвоем. И сначала:  
«Мой язычник!..» И снова молчишь.

Так я слышу твой голос всю ночь,  
Глаз сомкнуть не могу до рассвета.  
В белом, с белою розой... точь-в-точь  
Как в то лето, ты ныне одета...  
Я не в силах тоски превозмочь...  
Ты прости меня, Грузин дочь!

### Пури, квели да хвино

По-грузински вспоминаю  
Я присловие одно  
И, как песню, повторяю:  
«Пури, квели да хвино!»  
То присловие так мило  
Хлебобоба, чабана,  
Винодела породнило:  
«Хлеба, сыра и вина!»  
В сочетании этом мудром  
Есть такой земной уют,  
Словно ясным, теплым утром  
Люди солнцу гимн поют.  
Невозможно было б просто,  
Чтобы не рождался здесь  
Тамада, волшебник тоста,  
Коль вино такая честь.  
Здесь, в стране благодатной,  
В ранней юности, давно,  
Зашипело легкой пеной  
И моих стихов вино.  
В них остался привкус юга,  
Моря Черного и гор.  
С сердцем северная вьюга  
Не в ладу с тех пор.



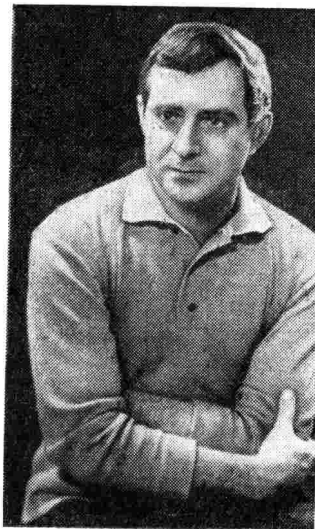
Рисунки Г. Пондопуло.





Дмитрий Холендро

# Свадьба



ПОВЕСТЬ

## I

**Е**сли бы вы знали, как у нас хорошо! Наш поселок Аю нахально занял весь распадок между двумя горами. С одной стороны гора и с другой гора, а посередине, у края земли, мы. У края, потому что перед нами — море.

Гору справа зовут Медведь, слева — Медвежонок. Они похожие. Горбатые, покатые, сутуловатые, как медвежьи спины, и все обросли густым лесом с сосенками и можжевельником. Будто в медвежьих шкурах, честное мое слово! Одна повыше и покрупнее, а другая, конечно, поменьше.

Сзади — до самого солнца — тоже горы, сначала в деревьях, а потом стоят среди неба голые. Леса на них не хватает. И голые эти камни, эти земные глыбы, за которые цепляются облака, днем блистают на солнце в гордом молчании, а утром и вечером обливаются невыносимыми красками зари и заката, будто кричат. Далекие вершины первыми вспыхивают и последними угасают.

Я часто смотрю на них из окна, потому что мое окно повернуто к горам, а не к морю, удивляюсь, какие они сиреневые, какие фиолетовые, какие синие, и думаю: а может, им понравится остаться такими навсегда или хотя бы назавтра, но назавтра они уже другие — не понравилось.

Наш поселок возник без плана.

Когда-то кто-то поставил первый дом, вырубил к нему в камне ступени, стал ловить рыбу, а в свободные часы смотреть на горы и слушать по ночам море. Однажды проснулся, а рядом строят второй дом. Еще один любитель нашелся долбить скалу, ровнять косую площадку, тесать ступени, таскать землю, качать воду. Как он ни старался, дом пристроился к первому не боком, не спиной, а углом. А третий ко второму и вовсе странно прилепился. Где у второго кончается крыша, у третьего начинается порог. И пошла чехарда.

Последние аютинцы начали расширять от каменных завалов распадок, но, когда добрались вплотную до Медведя и Медвежонка, сказали: стоп! Их не трогать: зарычат. На них не взбираться: живые. Где-то без уговора останавливаются люди перед самой

сильной силой — непотревоженной красотой природы. А кто не останавливается, тот, верно, не человек.

Улицы в Аю ломаными линиями скачут по ступеням среди домов. Другой раз, чтобы подойти к соседу, надо восьмерку выписать. Так мы и живем... Ловим рыбу, смотрим на горы. Воду не качаем: есть водопровод. Не хочется на горы глядеть — дуй в кино. Тесно тебе стало в Аю — садись в автобус. Сверху, с далекого шоссе, к нам заброшена асфальтовая петля лассо, и она то и дело выдергивает из Аю в большой мир многих, чьи имена изредка гремят преувеличенной (доброй или скандальной) славой, а чаще забываются.

Сказать правду, сами мы тоже живем в неизвестности. Ну, кого вы знаете из Аю? Вы даже и не знаете, пожалуй, что есть на земле такой поселок у моря.

Илья Захарыч, председатель колхоза («пред» — зовем мы его, так же как всякого капитана «кэп» — морской обычай), так вот, наш бессменный «пред» Горбов после каждого выговора (а какой без выговора председатель?) клянется, что теперь-то уедет на другую руководящую работу, но и поныне здесь. Поздно ему ломать себя. Он вздыхает за рюмочкой: — Море — зараза.

В том обмене плодами труда, который образует всеобщую жизнь, мы, аютинцы, участвуем тем, что даем рыбу. Кефаль, ставриду, скумбрию. Весной она худая, идет пастись, жиреть в водорослях, на отмелях, и ловить бы ее не следовало, но как удержаться, когда рыба лавиной валит мимо? Аж гудит! Всегда ловили, и мы ловим. А осенью холода распугивают рыбу с привычных морских пастбищ, и опять она прет мимо нас косяками такой плотности, что веслом не прошибешь. Воткни весло — уплывет стоймя. В южные широты, которых отсюда не видно.

Сейчас осень, и мы в большом азарте. Мы охотники. Кормильцы. Но ведь есть много способов добывать хлеб, а мы уходим до рассвета в студеную зыбкую даль. Потому что и на море плохо бывает, а хуже всего без моря. Сердца наши брошены в море, как поплавки, и ругаешь свою жизнь страшными словами, — за всю путину, пока рыба кочует и ловится днем и ночью, высохнуть не успеваешь, а встанет зима, и не дожидаться весны, а потянется

лето, и не дожидаться осени, когда снова ни поспать, ни поесть по-человечески, а только забыться в кубрике да хлебать на палубе из миски в руках горячие щи пополам с солеными брызгами и бросать на полувздохе все — и сон и еду — и прыгать друг за другом с шаткого борта по истощенной команде бригадира:

— На баркасы!

А пропади оно все пропадом, думаешь иной раз, так надоедает среди ночи перебирать мокрую сеть и складывать ее аккуратненько, виток к витку, для нового замета вместо того, чтобы сидеть в обнимку с девушкой под луной или, по крайности, дрыхнуть без задних ног до нормальной утренней побудки по радио. Но люди странно устроены... А если не странно, то я снова вас спрошу: какие же это люди?

зенные на тех же машинах. И так без конца. Круговращение материи...

В дни путины рыбу солят в брезентовых ваннах, растянутых на кольях, а маринуют сразу в бочках. Бросят в тузлук, на рыбы спинки, горстку перца, горстку корицы и заколачивают крышкой будущую закуску. В пути дойдет. Научный способ.

И так каждый день, а девчата наши еще и песни поют. То задумчивые, вроде бы грустные, для себя, как поют только за делом, не замечая, и выются их несхожие голоса складно и просто, лучше, чем на любой спевке, сами собой, как дымок над огнем. А то зазорные припевочки, озорные как хватят!

Я любила бригадира,  
На работу не ходила,  
А теперь охота есть  
К председателю подсесть.

## 2

И еще похлестче. Хоть мимо не ходи. Но мы ходим.

Горы соли, выше человеческого роста, желтеют среди бочек, ничем не обрастая — ни травинкой, ни ягодкой. Солнце их плавит. Соль спекается, а потом лопается, как глина, от жары и дождей. Бывает, с лопатой не подступишься к ней, хоть взрывавай. И девчата, которые готовят тузлук, очень мучаются, а парни, шагая с причала в своих больших, до пояса, резиновых сапогах, как в рыцарских ботфортах, останавливаются и помогают, заигрывая с землячками и рассматривая их.

Так Кирюха заметил, что, пока мы все плаваем, Аленка, которая, казалось, вчера была от горшка два вершка, уже и выросла, и школу окончила, и стала невестой.

Аленка, правда, и сейчас с ноготок. Узкая шейка, белые кудри и глазищи, как у виноватой, смотрят все вниз да вниз. Хоть на короточки перед ней сидишь, чтоб в глаза заглянуть. Кирюхе она до плеча не достает. Еще бы! Кирюха-то — верста, мачта, памятник! Под ним не то что доски на причале скрипят, а камни крошатся. Может быть, он однажды поднял Алену на руки и тогда увидел, какие у нее глазищи: необманутые и ждущие — дай им весь мир, мало! Усмехнулся и сказал:

— Бери, не жалко.

Ведь когда человек отдает себя другому, он отдает целый мир без остатка (а если с остатком — что за любовь?) и берет целый мир, вот только знать бы обоим, как сберечь.

Может, так рассмотрел Кирюха Алену, может, просто схватил покрепче среди бочек, когда она стояла в расстегнутом ватничке, с деревянной лопатой в руках, в клеенчатом фартуке, облепленном чешуей, как брошками, в сапогах, куда запихнуты брюки, вылезающие из-под юбки. Выследил подалее от фонаря, обнял, услышал, что она уже не маленькая, и сказал:

— Я тебя не обижу.

Аленка вырвалась, замахнулась на него лопатой, прошептала:

— Обидь попробуй... Я тебе руки отшибу!

Не крикнула, заметьте...

Может, и вовсе не так. Этого никто не знает. А про свадьбу уже знает, кажется, не только наше Аю, но и весь берег.

Кирюха принес на почту пять телеграмм и, довольный, сказал телеграфисту-телефонисту:

— Я еще и по телефону говорить буду.

— Подожди до вечера, Киря, — дал ему товарищеский совет телеграфист-телефонист Кузя-второй. — С восемнадцати ноль-ноль льготный тариф, тогда и гуляй.

Сейчас осень, а мы не ловим рыбу.

Море такое, будто природа играет в лето.

Нет для рыбаков горше этой недели. Нас, людей, не обманешь, а рыба обманывается, ей, глупой, кажется, что, и правда, вернулись счастливые дни, и, забыв о вчерашнем холоде и страхе, она рассеивается, редет. Поди-ка поищи ее да полови!

Тоскуют на рейде сейнер «Нырок» самого старого нашего бригадира дяди Миши Бурого и сейнер «Ястреб» — самого молодого, Сашки Таранца, который до недавних пор ходил у дяди Миши простым рыбаком. Тоскуют другие корабли. Стоят на рейде в нашей бухте, как нарисованные.

«Пред» Горбов злится, звонит метеорологам и ругает, будто они виноваты. Рыбаки маются: жизни никакой. В штормы, когда накат не пускает в море, от досады пьют водку, а сейчас и не пьется. Какая-то безнадежная неделя, ну, пустая!

В этот раз повезло. Кирюха с «Ястреба» стал ходить по Аю, стучать в окна и двери и звать людей на свою свадьбу. Кирюха надумал жениться на рыбосолке Алене.

Что за жизнь у рыбака, вы примерно узнали, хотя, конечно, в подробностях — это надо пупком почувствовать, самому потягать мокрый канат, когда холодные ручки текут по брюху в штаны, посмолить сети на ветру в жарком котле, врытом в землю у воды, проснуться и тихонько сжать в кулаки ладони с запекшейся коркой на вчерашних болячках — канат хоть и мягкий, а кожи на всю осень не напасешься. Да мало ли чего еще! Можно разок и перевернуться с баркасом, и хлебнуть соленого моря, и остаться наедине с ним, когда кругом вода и внизу вода, а вверх, далеко — небо. Ладно!.. Ни хвалиться, ни слез лить не приходится. Это наше мужское дело.

А рыбосолка... Это, понятно, дело женское.

Это вроде как бы на кухне работа, только кухней становится весь наш берег. Вымой рыбу, да перебери, да раскидай по сортам, да разведи соленый раствор — тузлук, да залей... И делают все это женские, а если вам для настроения точнее сказать, девчачьи руки. И всю весну и всю осень красные они — и дома и на танцах.

Впрочем, танцы в эту пору редкий подарок. Танцуем вокруг рыбы. Мы в открытом море, а они под открытым небом.

К причалам жмутся ненасытные бочки. Когда смотришь с обрыва, они напоминают стадо, которое спустилось на водопой, но никак не напьется. Бочки с рыбой увозят, а их место занимают пустые, привез-

— Втыкай,—велел ему Кирюха.—Один раз свадьба. Кузя-второй с завистью посмотрел на могучего Кирюху и без малейшей задержки вызвал несколько прибрежных поселков, где прятались родственники новобрачных, как известные, так и до сих пор неизвестные в Аю. Такие дальние, что и они, наверное, не сразу сообразили, кто им эти самые Алена с Кирюхой. Но приехать на свадьбу согласились, не разорили Кирю длинными разговорами. Свадьба—это свадьба.

Кирюха хлопнул Кузю-второго по плечу, так что у Кузи до сих пор одно плечо становится ниже другого при воспоминании об этом, крикнул:

— Смотри, Кузя, сам приходи, как штык!

И загрохотал сапогами по улице в сторону магазина.

А Кузя телеграфно сообщил еще в пять мест, что в Аю рождается новая семья, и задумался о превращениях своей судьбы.

Он завидовал Кирюхе. Начнем с того, что у того были и рост, и силы полные руки, и голоса полная грудь. Уж мать-природа если даст, так даст, нет, так нет. Кузя-второй так рывкнуть не сможет, как Кирюха шепотом проговорит. Кузя не выше Аленки, ну, разве вот на два пальца. Кузя (между нами) давно поглядывал на Аленку, а ее, крошечку, увел Кирюха. Заграбастал. Но Кузя-второй не станет мешать его счастью. Пожалуйста! Он добрый. Может быть, он самый добрый человек в Аю.

Он подходит к белой стене, прислоняется к ней спиной и проводит карандашом над головой, тронув невзначай непослушный хохолок на затылке. Потом отшагивает и примеривается глазом к метке, как бы смотрит на себя со стороны. Да, Кузя, в богатыри ты не годишься. И вообще—второй...

Он родился, когда старший брат Кузя страшно болел дифтеритом. Было действительно страшно. Врач сказал, что Кузя... В общем, не жилец на белом свете... И отец, потерявший голову, потребовал, чтобы новенького мальчишку назвали тоже Кузей, потому что не мог вообразить, как это вдруг дом окажется без Кузи, и мать согласилась, а старший брат поднатужился и перетерпел болезнь, удивив врача. Так остались под одной крышей два брата—Кузя-первый и Кузя-второй.

Оба они росли наперегонки, младшего даже хвалили, что он не отстает, и дохвалились. Вдруг он остановился и отстал от старшего на целую голову. Второй! Все смеялись, кроме матери. Она звала их Кузя и Кузнечик. Мать—это мать. Оба пошли в море на одном сейнере, но после шторма, когда самолет шесть дней искал их «Гагару», оставшуюся без солярки,—ну вот после этого шторма, значит, мать потребовала, чтобы один Кузя нашел себе дело на земле. Первый—на что тюфяк, а сразу сказал басом:

— Вон пусть Кузнечик себе по травке прыгает.

— Сам прыгай,—огрызнулся младший брат.

— Я нет,—отрубил старший.

А он пострадал и согласился. Второй... И мать есть мать. Первый ходил теперь рулевым на «Ястребе», с Сашкой Таранцом, в молодежной бригаде, а второй сидел на телефоне и отстукивал телеграммы во все концы о том, что Алена выходит за Кирюху... Сердечный привет!..

На почте было пусто и тихо.

Кузя-второй обиженно отвернулся от Аю, толпящегося у распахнутых дверей почты, и стал смотреть в окно на горы. Удивительное дело: маленькое окно вмещает в себя и горы и клочок неба, такое высокое, что орлы висят в нем, как точки. А глаз человека и вовсе вмещает в себя столько, что

ему уж и земли с земным небом мало. Ему всего мало! Давай космос! Получается, что вся Вселенная меньше жадной точки человеческого глаза...

Так Кузя отвлекал себя от неприятностей.

Но тут он заметил, что по длинному склону к нам петляет большой автобус, осторожно и неловко, как мамонт. Впрочем, никто в Аю—ни Кузя-первый, ни Кузя-второй, ни сам прославленный бригадир дядя Миша Бурый, маяк всего побережья,—не видел, как спускаются с гор мамонты. И если Кузя подумал про мамонта, то лишь потому, что сооружение ехало такое же незнакомое. Если бы рядом была железная дорога, то его можно было бы принять за вагон, оторвавшийся от состава. Может, это рефрижератор катил за рыбой, а рыбы-то и нет! Хо-хо! Будет разговор преду.

Тормозя, вагон душераздирающе застонал около почты и накрылся облаком пыли. Кузя увидел, как из пыли возникла фигура и сказала:

— Апчи!.. Черт побери!

Голос был громкий и свойский.

— Будьте здоровы!—ответил Кузя с крыльца.

Пыль рассеивалась, демаскируя приезжего. Это был мужчина начальственного вида, в широких штанах и шляпе до ушей.

— Кто такой?—спросил он Кузю, как спрашивают завоеватели поверженных аборигенов.

— Кузя-второй.

— Что, что?

— Кузя-второй.

— Черт побери!—нахмуясь, повторил приезжий, а из окна автобуса, который совсем открыла освещая наземь пыль, высунулась молодая голова, тоже в шляпе, но совсем другой, тесненькой, кургузенькой, в темных очках и с маленькими усиками.

— Ван Ваныч,—нетерпеливо поинтересовалась она,—кто там?

— Какой-то сумасшедший.

— Узнайте, как проехать к нормальным людям,—нервно поторопила голова.

Кузя показал, где правление.

— А вы зачем?

— Снимать будем,—ответил Ван Ваныч.

— Преда?—испугавшись, спросил Кузя-второй, потому что из-за этой непогоды под угрозой было выполнение квартального плана, а по старой привычке кого-то могли снять для оправдания.

— Чудо-юдо!—ухмыляясь, проворчал Ван Ваныч, залезая в брюхо автобуса.—Кино снимать. Понятно?

Из второго окна выглянула еще одна голова, в бакенбардах и бороде настоящей цыганской затравки, прищурилась и громкоподно порадовалась:

— Солнышко!

— Поехали!—поторопила голова в темных очках.

И автобус качнулся и дернулся, а Кузя-второй, не поверив себе, пронзительно зашел:

— Кино-о-о?!

И бросился звонить Илье Захарычу Горбову, потому что как-никак он, Кузя, отвечал за здешние новости.

**О**ни растолковали Горбову, что будут снимать сюжет для областного телевидения, но если все выйдет по правде, то картина, можете считать, уже на всесоюзном экране. Жили мы себе жили, никто о нас и чохом не слыхал, и вдруг—здравствуйте! По всему Союзу! Вот вам скромный, каких много, поселок Аю, а вот его герои, тоже каких много...

Много-то много, да те, многие, дома сидят, а мы раскатываем в круглых коробках по всем городам и показываемся народу.

— Прекрасно, прекрасно, — приговаривал Илья Захарыч, слушая соблазнительные слова.

Он всегда, пока еще не возьмет по-настоящему в толк, о чем речь, не сообразит, чем это пахнет, тянет резину: «Прекрасно, прекрасно», — а потом на всякий случай постарается отказать. Не от трусости. Уж очень у него выговоров много.

По словам Ван Ваныча, выходило, что успех картины целиком зависел от тех, кого будут снимать. А вот — те, кто будет снимать.

— Наш режиссер, Альберт Егорян, — представил он того самого модника в тиролке и непроницаемо-темных очках. — В просторечии — Алик. Как говорится, обещающий, дерзающий...

Алик не пошевелился. Эти китайские церемонии с неуместными словами Ван Ваныча его сердили. Между тем Ван Ваныч погладил по заросшей щеке второго, будто проверял, на месте ли его борода, и пошутил коротко:

— Гениальный оператор Серафим Битюков. Одним словом, Сима.

Сима потянулся, как при физзарядке: видно, дорога давала себя знать.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал Илья Захарыч, разглядывая не Алика, не Симу, а Ван Ваныча. — А вы кто?

— Администрация! — ответил тот, приложив пятерню к груди. — Искусство надо обеспечивать. Вот и вам придется засучить рукава...

— Прекрасно, прекрасно. Но ведь мы не артисты!

— А при чем тут артисты?! — вскрикнул режиссер. — Сама жизнь!

— Да, — снисходительно успокоил Ван Ваныч, словно перед ним был не наш тертый-перетертый пред, а дите малое. — Мы готовим программу, но не в обычной манере, а...

— Без ура-ура! — вставил Сима.

— Непринужденно. Все, как есть! — Алик не снял, а сдернул, снес, сшиб с себя очки: глаза его засияли. — Это самое что ни на есть трудное. Но вы можете без дураков воспеть вас? Ваши будни!

Он был слишком темпераментный. Илья Захарыч побаивался таких. Восклицательные фразы он вообще считал легкомыслием.

— Скромненько и достойно, — подчеркнул Ван Ваныч. — Вот и все.

Смахивая на районное начальство, он и видом своим, и манерой держаться как дома (уже курил, отгоняя дым от лица), даже простым, демократичным голосом при хитровой, намекающей на взаимопонимание улыбке действовал на Горбова в этот невероятный момент успокаивающе, как человек среди марсиан.

И замысел у них был действительно простой. Заехать в любой рыбацкий колхоз, без претензий «схватить на пленку» кусочек жизни. Импровизация. Но, конечно, трудовой процесс должен быть обязательной и главной частью этого кусочка.

— Импровизация — это прекрасно, — сказал Илья Захарыч. — А в районе-то вы были?

— Были, были, — опять успокоил его Ван Ваныч.

— И что вам сказали?

— Сказали, а езжайте хоть к Горбову. Ведь это вы?

— Я.

— Ну вот мы и приехали.

— Что же вам надо? — спросил Илья Захарыч. — Конкретно.

— Море... Сейнер... И немножко трудового героизма. — Ван Ваныч придавил окурочку. — Море есть... Сейнер найдется, а героев у вас хоть отбавляй!..

— Так ведь погоды нет...

— Как нет?! — вскрикнул Алик таким голосом, что никаких восклицательных знаков не хватит, чтобы передать его удивление. — Солнце во все небо! Солнце среди осени. Праздник кино. Снимай не зевай. Сима! Говорят, погоды нет!

— Есть, — прокурорски пробасил Сима.

— Послушайте, ребята, что я вам скажу, — заговорил с ними по-свойски наш Горбов. — Солнце — это, конечно, прекрасно. Для кино. Но рыба не ловится. Солнце есть, рыбы нет. А без рыбы какой у нас героизм? Никакого героизма. Рыба нужна.

Ох, как ему была нужна рыба, чтобы доложить в район о ходе лова и спокойно уснуть хотя бы на одну ночь.

Режиссер и оператор озадаченно переглядывались, как немые. Ван Ваныч вынул новую папиросу и основательно придвинул к себе пепельницу. Среди приехавших он был старше всех, но и его закаленный ум не мог подсказать, как же быть.

— Без рыбы невозможно, — обронил он вслух.

Все они сидели и беспомощно и напряженно молчали.

Я вам еще не описал кабинета нашего председателя, теперь могу потратить на это несколько строк, пока они молчат. Вот уж действительно кабинет, как все кабинеты. Стол как стол, телефон, портреты Карла Маркса и Владимира Ильича, табель с выполнением плана каждым сейнером от «Нырка» до «Ястреба», горшки с цветами на подоконнике, куда нарушители порядка потихоньку закапывали окурки, и — чего в сухопутном хозяйстве не встретишь — барометр на стене, над головой преда. Крупная стрелка показывала сейчас на «ясно». Держалась без колыхания, как на испорченном приборе.

— Нет, это — какое-то недоразумение! — горько воскликнул Алик.

Сима промычал что-то невнятное.

Горбов согласно покивал круглой головой.

Голова у него, как бомба, как ядро: вся гладкая. И нос на ней пупышом, чтобы сильно не выдаваться, и глазки маленькие, сивобровые, почти не видать ни бровей, ни ресниц, и самих глаз было бы не видно, но они воспаленные, красноватые от усталости. Ведь когда рыба давит на психику, Горбов не спит, провожает-встречает сейнеры. Провожает до рассвета и встречает до рассвета. Выспаться бы ему сейчас, так нет, нате вам — кино. Гнать, гнать! Ну их к шути! Втраив в историю, чуёт сердце. С некоторых пор он более всего любил тихую жизнь, когда не хвалят, не ругают, когда ты не на виду, занимаешься своим делом, имея время на беды и победы, или, как говорят классики, на горе и радости, из которых строится жизнь.

— Ваше предложение? — обращаясь к Горбову, спросил Ван Ваныч.

Сам он так ничего и не придумал.

— А какое у меня может быть предложение? — развел руками Горбов, упиваясь растерянностью приезжих. — Поживите недельку-другую, может, обойдется. — И он покосился через плечо на барометр. — Не знаю, сколько эта благодать будет держаться без рыбы, грабить, план ломать. — Он тяжело вздохнул и взял себя за горло. — Нам ведь это «ясно» — вот как... Дышать нечем. Больше недели



постоит солнце — каюк! — Вены на его шее напряглись, а щеки побавровели. — Будем ждать у моря погоды...

— Неделью-другую? — не сдержался Ван Ваныч. — У нас зарез! Героические будни, — закончил он уныло.

— Ван Ваныч! — Алик схватил его, как тонущего. Ван Ваныч не имел на это права. Он сам был их спасательным кругом, их соломинкой. Ван Ваныч поднял голову, и на лице его Горбов прочел свой приговор.

— Ждать у моря погоды нельзя, — заговорил Ван Ваныч. — Вам без рыбы снимут голову.

— Ну?

— Нам тоже. Значит, надо поймать немного рыбы. Любой ценой. Вас покажут по областному телевидению, а может, и на весь Союз, и если вы больше ничего не поймаете даже до весны, ни один волос с вашей головы не упадет.

Хотя падать с головы Ильи Захарыча давно было нечему, он не улыбнулся, а нахмурился. Мысль задела его больное сердце.

— Прекрасно, прекрасно, — пробормотал он.

— Нам все равно, сколько вы поймаете, — закончил Ван Ваныч. — Мы не райсовет...

— Важен факт! — вспыхнул Алик обрадованно, будто в перегоревшей электросети починили пробку.

— А ну, закрой дверь, — приказным тоном попросил Илья Захарыч, увидев за порогом — кого бы вы думали? — конечно, Кузю-второго.

Кузя послушно закрыл дверь. Минут десять они сидели там, как заговорщики. «А чего сидеть-то? Сколько им, и правда же, надо рыбы для факта? Полный трюм, что ли? Одну-две хватки. И уже можно такой водопад устроить! Честное мое слово! Хваткой, чтобы вы знали, перегружают рыбу из невода в трюм, она не больше мешка да и похожа на мешок из сети. Две хватки можно на лодочках по берегу собирать, по водоплеску. Не очень порядочно, но раз надо... Ведь погода!» Так думал Кузя-второй. А что скажет сам Горбов, было неизвестно.

Грохнула, открывшись с размаха, дверь, и Горбов сказал с порога:

— А ну, Кузя, свисти сюда бригадиров. Нога здесь — нога там.

А зачем Кузе нога — у него мотоцикл. Он затрещал, как пулемет, по всему Аю.

Бригадиры — народ серьезный.

Даже Сашка Таранец, хоть и первый год верховодит на «Ястребе», заметно изменился. Случалось, раньше мог запросто, для фасона, кинуть лишнюю рюмку в нашей ресторации под названием «Буфет», случалось, подкарауливал девчат за бочками и подхватывал под бока так, что от визга вздрагивали и мелко тряслись над головой аютинские звезды, случалось, с общего собрания вылезал из клуба в окно и шел к радиисту Марконе послушать современную музыку на магнитофоне «Сборная солянка» — все случалось, что полагалось, а сейчас Сашка пришел, как все, неторопливым шагом, бросил под каблук недокурную сигаретку, переступил через порог, без слова пожал руки другим бригадирам и слегка кивнул издали гостям. Бригадир — это бригадир.

Сказано было коротко: кто поймает рыбу, того и будут снимать. Сюжет непринужденный, и старые заслуги не в счет. Людям это даже понравилось, все улыбнулись. Ведь охота, хоть сухопутная, хоть морская, всегда будит в человеке желание показать себя. Свою ловкость, свою сноровку, свой ум. Два

рыбака с удочками сидят на одном берегу, а поглядывают, кто кого перещеголяет. И уж, конечно, как кому повезет. В жизни, хоть наука в принципе и отрицает случайность, я думаю, еще немалую роль играет этот самый треклятый случай. Везение, словом. А на море как без везения? Заранее не скажешь, кто отыщет в пустом море рыбу, кто сумеет ее взять, реденькую, как весенний снежок: дядя Миша Бурый или Сашка Таранец, у которого по сравнению с дядей Мишей молоко на губах не обсохло. Алик подогрел: счастливица, вернувшегося с уловом, по обычаю будут встречать на берегу жены, дочери, приодетые невесты рыбаков. Словом, женская половина населения всего Аю.

Илья Захарыч покашлял в ладонь и степенно возразил, что такого обычая у нас давно нет. Но, так и быть, для кино можно сделать исключение. Женщины соберутся. Они сниматься любят. Не говоря о девчатах. Значит, и у них пойдет борьба за право попасть на союзный экран. Что ж, пускай подхлестнут своих муженьков да кавалеров. Не беда!

— Завтра в море, — закончил пред.

— А как же свадьба, Илья Захарыч?

Это упавшим голосом спросил Кирюха, который от беспокоества проник за дверь. Рыбаки, начавшие расходиться, остановились.

— Какая такая свадьба? — спросил Ван Ваныч и на полуслове оборвал Кирюху взмахом руки. — Свадьба не похороны. Перенесите.

— Так ведь гости приедут завтра. Из Песчаного, из Камушкина... Позвали. Во всяком случае, Илья Захарыч, от выхода в море прошу освободить. Свадьба!

— Не валяй дурака, Кирюха, — заговорил Сашка Таранец, рывком головы откинув со лба на ухо крыло смоляных волос. — Без тебя «Ястреб» не «Ястреб». Хочешь бросить друзей в беде?

— Какая беда? — взмолился Кирюха. — У вас или у меня?

— В общем, сами договаривайтесь, — с охотой ускользнул от спора Горбов. — Мероприятие неожиданное, но серьезное, срывать не будем.

— Свадьбу срывают! — заорал Кирюха. — Какая у меня без вас свадьба? Весь дом в пирогах. Два ящика водки! Товарищи!

Понимаете, он запаниковал.

— А снимите и свадьбу в кино, — подсказал Алику Кузя-второй, подумав, что это утешит Алену и Кирю. — Сама жизнь!

— А что, идея! — Алик похлопал Кирюху по плечу. — Сима, посмотри, какой жених, какая фигура!

— Блеск! — одобрил Сима.

— Ван Ваныч! — возбуждался Алик. — Разбудите Кайранского, разбудите Гену, что за безобразия! Пусть он быстренько подумает, как связать рыбу со свадьбой. Поинтересней.

— Что это за Кайранский еще? — осторожно спросил пред, опасавшийся новых людей.

— Это наш сценарист.

Он, оказывается, прошлую ночь работал. Душа вон, сдавал какой-то телевизионный очерк до отъезда, плохо перенес дорогу и поэтому пока еще спал в автобусе сном праведника.

— Гена! Гена! — донеслись оттуда зовы Ван Ваныча. — Кайранский! Гена, черт побери!

Когда Гена вошел в комнату, виноватые глаза его мягко улыбались, как у близорукого. Это был молодой человек, очень высокий и грустный, ну прямо как живой Дон Кихот в малиновом свитере. Он стал со всеми здороваться за руку, просить извинения и говорить, что ему очень приятно. Дойдя до Алика, он сказал ему то же, что и всем, и все поняли, что



парень еще не проснулся, и рассмеялись. Алик подтянул к нему застеснявшегося Кирюху.

— Вот, Гена, это жених. Надо его подмонтировать. Гена все еще хлопал веками, но ситуацию понял быстро.

— Сделаем,— успокоил он, вынимая сигарету.— Но вы, Кирилл, должны быть на корабле.

— А гости?— растерялся Киря.

— Всего-навсего один денек. Ничего не попишешь, брат...

Киря хрустнул пальцами в кулаках.

— Да... И, конечно, он должен быть на том корабле, который поймает рыбу,— продолжал Кайранский.

— Кто угадает, какой это корабль?

— У меня есть свой сейнер,— запротестовал Киря.— «Ястреб».

— Возьмет твой «Ястреб» рыбу или не возьмет, бабушка надвое сказала. А ты будешь там, где рыба,— без обиняков решил за Кирю Ван Ваныч.

— Иначе свадьба не склеится,— сказал Гена, на которого Кузя-второй смотрел с восхищением. Другие люди сочиняют песни, рассказы, даже сказки, а этот сочинял жизнь.

— Иначе она будет голой иллюстрацией!— горячо объяснил Кирюхе Алик.

Но Кирюха ничего не понял. Он с какой-то стыдливой безнадежностью посмотрел на Горбова, потом на Сашку. Сашка крепче тряхнул головой вбок, откинув тут же съехавший клин блестящих волос, и сказал:

— Кирю с «Ястреба» я не отдам.

И рукой отвел волосы назад, открыв свой цыганский глаз.

А Горбов конфузливо развел руками, может, первый раз в жизни наслаждаясь благодатной позицией полного невмешательства:

— Я теперь не команду. Кино!

в глаза—Тима, а за глаза, как мальчишку. Кроме торжественных случаев, которых в жизни было-то всего два: один, когда напечатали портрет в газете, другой, когда провожали на пенсию. Это помню и я. После него и достался «Ястреб» Сашке Таранцу.

Ночью все наши бригадиры по очереди побывали у деда Тимки, спрашивали, где лучше искать рыбу, какие надежды.

А дед Тимка взял да поплелся к председателю. Он приковылял к Горбову за полночь, отогнал кобеля Тарзана, бухающего, как из пушки, и без спроса вошел в дом. Горбов двери не закрывал круглыми сутками—без толку. То прибежит рыбак, то дежурный по цеху. У того не так рыбу приняли, тому не то поймали. То больному дай машину до Песчаного, то здоровому—ехать за больным. Тот хочет навеки расстаться с Аю, этот, наоборот, строится. У одного общественный интерес, у другого личный, а то притащится и такое лицо, как человек без должности и забот,— дед Тимка.

Луна смотрела на Аю во все свое одинокое око, и было по-летнему светло, разве только не пахло сияние этой белой ночи грушами. Груши давно съели.

— Дед Тима? Входи, входи.

— Да я уж вошел.

Горбов поднялся с кровати в одном исподнем и сел на табуретку у стола посреди стеклянной веранды, куда тотчас же ласково выпроводила их жена.

— Садись,— сказал он деду Тимке, не зажигая света.

— Сяду.

— Чай остыл.— Горбов попробовал ладонью пустой чайник на столе.

— Фиг с ним,— сказал дед Тимка.

— Ну?

— Ты гадаешь так, Илья. Все сейнера выйдут, кто-нибудь хоть что-нибудь да возьмет. А как никто ничего?

Дед Тимка умолк. Он сказал коротко—остальное додумывай. Если аютинские сейнеры будут с утра до ночи бороздить море и вернутся пустые, без единого рыбьего хвостика, какое будет кино? А весь берег узнает про эти наши танцы без штанов перед объективом. Кирюха отовсюду гостей назвал. Развезут быстренько нашу славу. Разговоров не оберешься.

Горбов звонко постучал ладонью по своей макушке, как по пустой тылке, заупрямился:

— Отступать я не стану.

Видно, и его уже забрал азарт. Да и узнают, что трусил, тоже ведь разнесут.

— Ни-ни!—сказал дед Тимка.— Ты ставь дело на широкую ногу. Подымай в небо Саенко. Нашим дня не хватит море обшарить, а он облетает. Без него амба.

— Саенко? Прекрасно, прекрасно,— задышал Горбов.

Виктор Саенко—летчик промысловой разведки. Расскажу вам, так не поверите, как бывает. Вот уже второй год мы работаем вместе, а ни разу не виделись. Он летает, мы ходим по морю. Он показывает с воздуха, где ловить, мы ловим. А потом, подгрузившись, как говорят рыбаки, мы спешим к аютинским причалам, а Саенко улетает на свой аэродром, далеко от нас, где город—со своей жизнью, своим начальством и своими заманчивыми радостями.

Впрочем, радости у нас и общие.

Ранним утром, едва его самолет из точки на горизонте превращается в рокошущую стрекозу над нашими сейнерами, все радисты включают свои рации, и начинается перекидочка голосами между морем и небом, ежедневная утренняя разминка.

## 4

**Е**сть у нас ехидный дед Тимка. Подбородок век в клочках седины. Борода ему не удалась, а усы густые, красивые, двухцветные: сверху чистые, серебристые, а снизу рыжие—от табака.

В доисторическом прошлом, перед войной, был он знатной личностью, во всяком случае, его портрет печатался в областной газете, да еще на первой странице. Рыбу ловил, как будто у него по радио с ней связь была, хотя тогда на рыбацкие корабли радио еще не ставили. Он и сам чуял ее, как дельфин. Пустой с моря не возвращался.

Да ведь известно, что раньше и рыба лучше ловилась и вкусней была. И что сказки сочиняются не только про будущее, но и про «раньше». Людям грустно оттого, что жизнь проходит, что была она нелегкой, так нет поругать, они еще украшают прошитое, хотя всякое украшательство уже подверглось порицанию, а они будто не слышат, занимаются своим, потому что это прошлое—их жизнь. Им хочется расстаться с чем-то хорошим, чему они отдали свои силы. А если для этого приходится капелюшку слукавить, то и в самом их лукавстве живет не жалкая мелочность, а большая надежда. Когда-то там, впереди, все будет так, как они хотели. А хотели вот так...

Люди есть люди. Вспоминая, они смотрят вперед.

Вот и дед Тимка... Слово бы никто не верит в его старость, а все верят в его бессмертие, зовут деда

— Здорово, Витя!  
 — Привет, это кто?  
 — Пламенный! С «Ястреба»!  
 — Здорово, Марконя.  
 — Марконя не обижается, Витя, а говорит: «Чао-чао, бамбино».  
 — Саенко, день добрый!  
 — Здравствуйте, дядя Миша!  
 Вся флотилия связывается со своим наводчиком. И тотчас же начинается беспокойный гомон, как на базаре.  
 — У тебя есть рыба?  
 — Где рыбка, Витя?  
 — Куда марширует?  
 Ему сверху видно.  
 — Я — «Палтус».  
 — Я — «Нырок».  
 — Я — «Гигант». Саенко, ответьте мне. «Гигант»

слушает. Где летаете? Прием.  
 «Гигант» — штабной катерочек. Он пытается навести порядок на море и в эфире, но это бывает так же нелепо, как, допустим, дирижировать птичьим хором. Да и рыбу Саенко дарит всем от души. На что она ему — в небе?

Мы знали, что у него была невеста. Знаем, что он женился. Знаем, что у него дочка родилась. Все это мы слышали от него по радио. И посылали в ответ шуточки и поздравления, а увидеть... Ему у нас вроде делать нечего, да и мы у него не одни. А нам к нему поехать тем более нет ни времени, ни повода. Не приедешь же так просто, как на экскурсию. Дай, мол, на себя поглазеть. Неудобно.

Вот и действуем. И рядом и нет. Встретишь — не узнаешь. Друзья-товарищи.

И такая выпала неожиданная проверка дружбы! Полетит ли Саенко в безобидное небо над пустым морем, в котором завтра никто из рыбаков, кроме аютинских честолюбцев, не появится и где ничьи сейнеры больше не оставят следа?

На рассвете готовились к импровизации.

Бухта у нас неглубокая, и сейнеры ночуют на рейде. Береженого, говорят, бог бережет. Горбов в бога не верит и поэтому бережет себя сам. У причала ни одного сейнера на ночь не оставляет, что бы там барометр ни показывал. А вдруг ветер? А вдруг волна? Разобьет и причал и корабль.

На рейд, к сейнерам, рыбаков вывозят моторные баркасы, которые облегают все причальные бока, как щенки. В них-то попрыгали и торопливо отходили от берега рыбаки, бригада за бригадой, под короткие наставления Ильи Захарыча, но этот баркас задерживался, потому что Кирюха упирался.

Дело в том, что Кирюху пересаживали на сейнер дяди Миши.

Импровизация импровизацией, но у кого наибольший шанс найти рыбу? У дяди Миши. Найти мало, надо поймать. Кто скорее всех это сделает? Дядя Миша. Потому что дядя Миша — это дядя Миша.

На «Нырок» приготовились сесты и наши гости. Справедливости ради договорились, что всякий, кто раньше станет на рыбу, вызовет по радио «Нырок» и знаменитый дядя Миша сразу повезет туда верных служителей экрана.

Но сначала снимали отплытие. В баркас уже залезли все рыбаки с «Нырка» вместе с дядей Мишей, а Гена-сценарист, Алик-режиссер, Сима-оператор и сам Ван Ваныч заняли позицию на причале. Сейчас главным казался молчаливый Сима, он держал аппарат и время от времени смотрел в него. И вообще он был увешан аппаратурой, как будто его отправляли на Луну.

Но кричал Алик:

— Кирилл! Вы нарушаете общую динамику! Придется всем вылезти и садиться снова. Садитесь вместе со всеми, слышите! Рыба уйдет!

Кирюха не хотел садиться в чужой баркас и плыть на чужой сейнер.

— Сашка! — угрожающе молил он. — Выручи меня!

А Сашка сцепил зубы из гордости. Над ним и так смеялись все девчата из рыбного цеха, пришедшие посмотреть, как снимается кино. Они стояли, слизывали шелуху от семечек с мокрых губ и хихикали.

С крыши рыбного цеха на причал глазели прожекторы. Автобус киношников стоял у самой воды, из него вынесли тоненькие железные треноги с прожекторами, и они тоже светили, и из-за этого света ослепленный Кирюха не мог разглядеть Сашки, который сидел в стороне на бочке и о чем-то думал.

— Са-ашка!

А кино уже снималось...

— Вылезайте, товарищи. Еще раз!

— Не надо вылезать, — ежась, сказал Гена Кайранский, вытряхивая сигарету из пачки. — Пускай все сидят, а Кирилл прибежит последним, как будто он прощался с невестой и немножко опоздал. Так будет естественней. Он прибежит и прыгнет, когда уже заведут мотор. В этом будет даже изюминка. Я кину текст.

— Согласен, — сказал Алик. — Что-то в этом есть. Оживит.

— Так вылезать или нет? — спросил дядя Миша, стоя одной ногой в баркасе, а другой на причале.

— Заводи! — крикнул Ван Ваныч.

Затархтел мотор.

— Ты понял, что от тебя требуется? — спросил Кирюху Илья Захарыч, терпеливо стоявший сбоку.

— Илья Захарыч! — ухватился за него Кирюха. — Как я ребятам буду в глаза глядеть?

— А что гостям говорить? — кричала с сияющего берега Алена.

— Беги. обними Алену и сейчас же в баркас, как тебе объяснили.

— Для чего я все это должен делать, Илья Захарыч?

— Для кино, — отрубил Ван Ваныч. — Кино смотрит весь мир.

— И все это понимают, — окрепшим голосом договорил пред. — Что ж, ты всех за дураков считаешь?

— Са-ашка-а!

— Исполняй! — пригрозил Илья Захарыч. — Если хочешь, чтобы я у тебя на свадьбе плясал.

Кирюха замолчал и затопал сапогами по причалу, и доски пошли пружинить под ним, как резиновые.

— Черт те что! — пожаловался он Алене, обняв ее, но звук (мы-то теперь знаем) даже в звуковом кино записывается отдельно от изображения, и слова его на пленку не попали.

Затрещал аппарат, и попало на пленку то, как Кирюха обнял Алену и как побежал назад, оглянувшись два раза и прыгнул в баркас. За ним туда же осторожно спустились Алик, Сима и сам Ван Ваныч, стараясь остановить боковую качку.

— А ты? — спросил Ван Ваныч. — Гена! Я тебя, кажется...

— Я? — переспросил Гена. — Я и на суше укачиваюсь. Дядю Мишу и Кирилла снимайте почаще крупным планом, чтобы не было безликой массы...

— Уберите мотор! — с досадой заорал Алик. — Не слышно!

Баркасный мотор заглох, как от испуга, а Кайранский натянул ворот свитера на подбородок.

— Сашка! — пользуясь паузой, еще раз вяло крикнул Кирюха.

— Зачем я вам, бесчувственный, в море, — глухо сказал Гена сквозь ворот, — когда со мной можно отлично связываться, если я в рабочей форме останусь на берегу? Я буду дежурить у рации.

— Отдавай концы, — махнул рукой Ван Ваныч, будто перерубил веревку.

И баркас застрекотал и вильнул хвостом из белой пены. И погасли прожекторы, потому что навстречу поднималось солнце, которого не пересветить.

## 5

**А** Сашка все еще сидел на бочке, свесив ноги и докуривая обжигающий палец чинарик.

— Не верят тебе? — спросил сзади знакомый голос.

Он обомлел, но не повернулся. Смял пальцами уголек окурка и бросил на песок, вытерпев боль. Подумал, как отшутиться, но ведь она не шутила, первый раз она говорила без насмешки, скорее сочувственно, и сказал просто:

— Не верят, значит.

Это была Тоня.

Сашка прыгнул с бочки, подошел и крепко взял девушку за плечи, и даже сквозь ватник прощупались плотные, нехрупкие округлости ее плеч. Он сдавливал их все сильнее, а она молчала.

— Ну, а ты мне веришь?

Теперь она повела плечами.

— Пусти.

Он помедлил и отпустил.

Тоня мучила Сашку с прошлой осени, а то и раньше. Тогда, раньше, о них поговаривали, но после замолкли. У нас, в Аю, спокон веку такой негласный обычай: если у кого всерьез начинается, то люди о них слова не скажут. А вдруг это она, ну, любовь? Она и своих зряшных слов не терпит, а чужие слова ей вовсе ни к чему.

Я нахожу наш аютинский обычай замечательным.

Говорят, любовь — это контакт сердец. Вдруг соприкоснулись, высекли искру и пошли гореть. Очень заманчиво встретить одному сердцу такое другое заряженное сердце. Что я в этом понимаю? Дальше Аю за опытом не выбирался. Не писатель, чтобы придумывать. Из золотого фонда мировой литературы, собранного в нашей библиотеке, знаю, что где вспышки, там бывают и шишки. Если серьезно, — многовато в этой игре на счастье несчастий. Но молодости так свойствен риск, что я бы и сам рискнул... Ау, сердце!

Я против чего-либо неизвестного не выступаю. Наверно, есть такая любовь. С первого взгляда, нараспашку.

Есть любовь, как терпеливое знакомство.

В первом случае, похоже, помешать не успеешь. Во втором самое важное не помешать. Удивительное дело! Люди так хотят сами себе добра, а столько зла принесли другим — и чем? Одними словами, одним своим лишь вниманием. Откуда у нас в Аю родилось это преклонение перед чудом любви, что о ней молчат, как только увидят — вот она впервые пришла к кому-то? Может, в людях замирала скверна перед целомудрием первого, самого чистого чувства? Может, одних останавливали горькие воспоминания, а других ожидание своего часа, своей тайны? Может, торжествовал принцип — в тесноте, да не в обиде? Ведь Аю — маленькое местечко, тут

ни скрыть ничего, ни скрыться. Представьте себе, все заговорят друг о друге — никакой личной жизни, а без личной жизни что за жизнь? А может, просто-напросто действовал пример хороших людей.

Однако я отвлекся.

Тоня, как все, солила рыбу. Ходила в ватной тулупке и брюках, заправленных в резиновые сапоги. Поработай-ка в другой одежде на ветру, а ведь когда рыба идет — все ветер да ветер. Поверх ватника — резиновый фартук. Девичья аютинская униформа. Только косыночки у всех разные. У той одноцветная, у той расписная. И прически.

Тоня, как все: и губы красила и брови подводила. Весной и осенью у наших девчат такая запарка, что на свидания сил не остается, и они прихорашиваются на работу, как на гулянку. И начесы выкатывают на лоб из-под косынок и помады на себя не жалеют. На работе у них все встречи. Утречком ребята постоят рядышком две минуты — и бегом со всех ног на сейнер. Вечером, когда причаливают корабли с рыбой, опять уставший кто-нибудь потопчется, потянется обнять, а девчонка засмеется и толкнет, а парень чуть не падает. Ради этих вот встреч они и вертятся перед зеркалами до работы.

Ну, у Тони время уходило не на прическу, так на косу. У нее черная коса ниже пояса. Глаза большие, с блеском. Пугливые. Чуть встанет она где, а глаза мчутся по сторонам, точно ждут опасности. Это ее, как сказал бы Алики, очень оживляет. А ресницы у нее такие длинные, что кончики их слиплись в пучочки, и вся она от этого кажется диковатой, как бывает дикое деревцо или дикий куст рядом с подстриженным, садовым.

Если бы не Сашка, я бы рассказал, какие парни пробовали назначать свидания с Тоней и напрасно ждали ее то у Медведя, то у Медвежонка. Тоня соглашалась, чтобы зря не разговаривать, а придти — не приходила.

Сашка тоже так прождал ее однажды чуть ли не до утра, пока на волне, в трех шагах от берега, качался ворох блесков от молодого месяца. Молодой месяц глупый. Высыплет все свое богатство на воду, а потом не знает, как собрать, и висит над морем с пустой пазухой. Большая луна — та бережливей, опытней. Поставит под себя белую колонну столбом, отдыхает.

На другой день после несостоявшегося свидания мы смолили сеть, расстелив ее на галечке у волны. А Тоня шла мимо. И Сашка позвал:

— Иди сюда!

Тоня подумала-подумала и свернула и зашала прямо по сети, а он накинуд на нее только что просмоленный край, обмотал и спросил мстительно:

— Обманула?

Другая бы пошла руками сеть расшвыривать под смех ребят, «дурака» крикнула, а Тоня упала и спросила сквозь улыбочку:

— Ждал?

— Попалась.

— Так меня не поймаешь, Сашка. Я не русалка, — сказала она.

Другая бы к Горбову бросилась, крик подняла о загубленном платье, поскольку смола не смывается, а рисунок крест-накрест косой полосочкой не предусмотрен текстильной промышленностью, дошла бы в азарте до «хулигана», а Тоня только и проронила:

— Задаст мне мать!

Смешно было, когда Сашка ее распутывал и даже в одном месте по веревке ножом секанул. Она и сама, откинув голову с косой, хохотала.

А едва высвободилась — переступила через скользящую сеть и побежала, разбрасывая ноги немножко в стороны, потому что в туфельках бежать было неудобно, а она была в туфельках.

И все смеялась, убегая, как счастливая, а Сашка опять кричал:

— Тоня! Тоня!

Но она даже не оглянулась.

— Я ее все равно дождусь, — поклялся Сашка то ли одному себе, то ли ребятам.

Раз, сильно выпивши в «Буфете», Сашка перехватил ее, когда она шла из клуба после кино, отвел в сторонку и сказал:

— Выходи за меня замуж.

— Эх, Саша! — вздохнула она.

— Я серьезно, — поспешил заверить он.

— Эх, Саша! — повторила она. — Эх, пьяный дурак.

Второй раз он выложил ей все это совершенно трезвый.

— Я ж тебя совсем не знаю, — сказала Тоня.

— Смеешься? — удивился Сашка. — Могу представиться. Александр Таранец, бригадир с сейнера «Ястреб». Будем знакомы.

Он в тот день как раз и получил «Ястреба».

— Будем знакомы, — ответила Тоня, уминая крупную хамсу в бочке руками, спрятанными в желтые пластиковые перчатки.

— Что еще тебе надо? — спросил Сашка.

Она подняла на Сашку глаза в диких ресницах и пропела:

— Мно-ого!

Вот дьявольщина!

Так или иначе, одни ребята от нее сразу отказывались, другие побаивались, а Сашка присох, и толковать о них тогда перестали. Затихли.

На свидания он ее больше не звал, ни с кем о ней сам не заговаривал, но это был лишний знак. Ведь и других девушек Сашка не беспокоил.

— И ты мне не веришь? — усмехнулся Сашка сейчас.

— Не познакомилась еще с Сашкой Таранцом?

— Не-а! — ответила она, как маленькая.

— Чудеса! — сказал Сашка. — Вместе выросли, кажется.

— Ну и что? — спросила Тоня, похлопывая веничком по юбке. — Люди-то не зря растут — меняются.

— Тоня!

— Я пошла ванны мыть.

Для того и был в ее руке жесткий веничек — мыть брезентовые ванны, поседевшие без рыбы от соляного налета.

Сашка загородил ей дорогу.

— Ты скажи, какой тебе парень нужен?

— Самый лучший, конечно, — ответила она, не задумываясь.

— Не смейся.

— Никакого не надо, — сказала она ему в лицо.

— Что ж придумать, — благодушно распустил губы Сашка, — чтобы ты меня разглядела?

Перед Тоней он всегда оттаивал, как Иванушка-дурачок перед царевной.

— Случай сам подвернется, не прозеваю, увижу, — пообещала Тоня и добавила, когда он пошел: — Желаю успеха!

Смеялась или намекала?

Она еще никогда не бросала вслед ему доброго слова, и Сашка вздрогнул сердцем и прибавил шагу, торопя ребят. Один только «Ястреб» оставался на рейде.

А может, Тоне, правда, нужен муж, чтоб о нем говорили? А? И вот случай показать себя. Герой экрана — Сашка Таранец. А?

**Н**о рыбы нет.

Плоская вода почти не дышит, боится стяхнуть с себя тонкий солнечный блеск. «Ястреб» всплывает чаек, они перелетают лениво и недалеко, точно несуществующим ветром относит в сторону медленный белый платок, и, обмякнув, он опять падает в воду. А на том месте, где только что спали чайки, остались лежать чистейше-белые перышки. И лежат и лежат...

На «Ястребе» позванивает гитара. Толстые ногти прижимают бедные струночки, вот-вот перегрызут их, словно клещи, и хрупкий гриф в жестких пальцах вот-вот треснет, как сухой прут, но нет нежнее этих пальцев в пятнах смолы, этих рук с зелеными якорями на темной коже. А уж как играет Славка Мокеев, только послушать! Вы не услышите. Разве вы когда-нибудь приедете в Аю? А если вдруг и приедете — этого мало.

Славка играет только в море, он и гитару держит в кубрике «Ястреба», на берег не сносит. Славка — парень затаенный, потому что он талант природы. Берет готовую мелодию, и на каждую у него есть другой текст. Где и кто сочиняет их, эти слова, неизвестно. Они будто бы сами возникают из воздуха. Вот, пожалуйста, на мотив «Хороши весной в саду цветочки»:

В аломан хамса не заскочила,  
Стыдно нам на берег приезжать,  
Бригадир ругается,  
Платье не выполняется,  
И для сводки нечего давать.  
А когда низовочка подует,  
Сразу жизнь становится иной,  
Рыбка в аломане,  
Денежки в кармане,  
И моя милашечка со мной.

Поясняю: аломан — это кольцевой невод, которым мы окружаем рыбу, низовочка — ветер, прохватывающий море и сбивающий его кочевое население в косяки. Песня отражает состояние души рыбака в разную погоду и нам очень нравится. Может быть, поэт написал бы лучше, но поэты что-то не пишут о рыбаках, они, как по мобилизации, дуют про геологов, хороших ребят, которые скитаются в необжитых краях, мокнут под дождями и сохнут у костров. Может, поэты друг друга переощеголяют хотят и не слазят с одной темы для сравнения, как спортсмены соревнуются на одном снаряде, может, правда, у них такое задание, но ведь и мы живем на свете, и нам петь охота про свою замечательную жизнь. И мы перешли на самообслуживание. Свято место пусто не бывает: его занял кто-то безымянный и бескорыстный, кто от лютой скуки мастер на все руки.

Есть рыбацкие слова на мотивы «А у нас во дворе», «Там, где кончается асфальт» и еще многих песен.

Ребята собрались на корме, стянули рубашки, греются на дармовом солнышке и слушают Славку. Разлеглись, как на пляже.

Один Сашка торчит на капитанском мостике, впившись взглядом в нестерпимо золотую зелень воды. Сашка ищет рыбий косяк, похожий на тень от облака. Сейчас небо чистое, облака не мешают. А то бывает и так, что от нервного перенапряжения иной юный бригадирчик заставляет сыпать пятьсот метров сети на темное пятно, а потом поднимет голову — над морем облако висит. И вся рыба.

Сашка посасывает чинарик и смотрит... Где же она, желанная тень с красинкой, которой отсвечивают



сквозь воду рыбы спины? Уж какой час он без усталости гоняет сейнер, изредка приложит бинокль к глазам, последит за далекими чайками — не разведали ли они добычи — и опять упрется взором в воду...

Хорошо бы сейчас нарваться на непроломный косяк! Если он только-только подошел из холодных северных вод, то еще не успел поверить в тепло, разбредиться, растаять. На такой свежий косяк одна надежда. Одна, и та вроде миража. А как было бы здорово!..

В Сашкиных глазах — острота и сосредоточенность дозорного, но в Сашкиной башке — иные картины. Мелькают руки ребят, заводящих сеть, а он улыбается с экрана и скромно говорит, что да, хорошую рыбу взяли, извините, дело не ждет; и вот уже гремит рыба по лотку в пропасть трюма, а он делает глоток воды прямо из чайника, закуривает и опять скромно говорит, что вот так они и живут, рыбаки из маленького поселка Аю. И весь свет на него смотрит. Но на то, что его увидит весь свет и Аю как бы перестанет быть безвестной крупинкой Вселенной, Сашке, честно говоря, наплевать. Ему главное — Тоня. А если Тоня для него в самом деле значит так много, бог моря Нептун и Сашкина звезда, которая ночью заиграет над его головой, и слепая добрая и глупая удача, помогите ему! Ну что вам стоит?

Шиш! Нептун беспробудно спит, звезда далеко, не хватит жизни, пока сигнал бедствия дойдет до нее, а удача в этот светлый денек, видно, не светит.

Море пахнет, как пригретый луг. Сашка никогда не был в лугах, только знает о них по рассказам матери, которую отец привез из лесных мест после службы в армии в свои молодые годы. Мать до сих пор вздыхает о лугах. Здесь, даже в зарослях на Медведе или Медвежонке, вместо лугов голые осыпи серого щебня и на память известные полянки с двумя-тремя ромашками. Какие это ромашки? В сущности, декоративные.

Но Сашка представляет себе луга, когда выходит в море. Чем мористее, чем дальше от земли, тем зеленее, и кажется, что ты забрался в траву и стоишь опустить глаза, как бы погрузив их в пучину, эта трава накрывает тебя с головой.

И запахи — они просыпаются и текут навстречу солнцу, как от травы. Они окружают тебя со всех сторон.

Сашка смотрит в зелень моря, а ребята на корме хохочут. Чем упрямее Сашка, тем глупее он выглядит в глазах ребят. Об этом долго будут вспоминать: как он в кино хотел попасть. На экран. Артист! Сойти поехать... А он все курит и курит...

Теперь он уже стоит назло себе.

Хоть бы дельфины поиграли... Дельфины всегда играют на рыбе. Всяческая мелочь искрами летит от них, как от молота, когда дельфины впрыгивают в стаю. Охотятся.

Пишут, что дельфины — люди моря. Ум у них будто бы не хуже человеческого. Жизнь, конечно, хуже. Бездомная, во-первых. А может, есть у них подводные города и подводные сады? Из водорослей. Зачем им дома? Под толщей воды им тепло, как под одеялами. А были бы сады — были б руки, за садами ухаживать надо. Рук у них нет, даже палки взять нечем, чтобы защищаться.

В нашем море до недавнего времени били дельфинов. Теперь — запрет. А вдруг, правда, обучат дельфинов рыбу показывать?

Эх, Сашка, ты учишься у преда. Пока ты мечтаешь о далеком будущем, он не рассчитывает на «авось», а опирается на уже достигнутые успехи науки и техники.

Он ходит из угла в угол по почте, а Кузя-второй уже по четвертому телефону разыскивает начальника промысловой разведки и наконец ловит его на аэродроме. Илья Захарыч заходит в кабину, притягивает за собой дверь поплотнее, чтобы его никто не слышал (оттого он и из кабинета удрал), хватается за трубку, и теперь его слышат только Филипп Андреич и Кузя-второй, который обеспечивает надежность связи. Поначалу Илья Захарыч спрашивает у начальника разведки, как здоровье.

— Что? Здоровье? — летит в ответ удивленный голос. — Нормально.

— Хорошо, — говорит Илья Захарыч, как будто его это волновало с вечера, как будто начальник разведки вчера вышел из больницы после инфаркта. — Очень хорошо... Желая, чтобы всегда так было.

— Спасибо, — коротко отвечает Филипп Андреич. Голос у него торопливый, словно он стоит на горячем.

— Значит, вы сейчас на аэродроме? — спрашивает Илья Захарыч, не жалея колхозных денег на телефонную дипломатию.

— Что?

— Я говорю, все в делах, в заботах?

Тогда начальник разведки не выдерживает:

— Горбов! Ты давай не финти. У тебя ко мне какая просьба? Я тут провожу практические занятия с летным составом, а ты мне баки забиваешь.

Горбов унизительно громко смеется.

— Что? — кричит Филипп Андреич, не разобравшись, и дует в трубку, потому что расстояние превращает смех в перещелк, как будто дятел стучит по мембране, а тут еще сам Горбов превращает свой смех в кашель. — Алло!

— Алло, алло! — испуганно кричит и Горбов сквозь шум, наделанный им. — Филипп Андреич!

— Переходи к делу.

— Подними в небо Саенко, Филипп Андреич.

— Зачем? — сразу прорывается очень ясный голос начальника разведки.

— Да понимаешь, какая заковыка. Это не для нас. Для кино.

— Какое кино? Эй, эй! Алло!

Связь прерывается, и Кузя-второй долго вызывает городскую телефонистку, потом аэродромный коммутатор, а те рвутся к нему навстречу, будто всем стало интересно.

— Говорите!

— Какое кино? — кричит начальник разведки.

Хитрый Горбов объясняет, что он вовсе ни при чем, что виноваты киношники и что они снимут и самолет, а ведь это для разведки тоже не последнее дело. Теперь задумывается Филипп Андреич и спрашивает:

— Ну, а как ты там вообще-то поживаешь, Горбов? Кряхтишь?

— Дашь самолет? — спрашивает Горбов.

— Давно тебя не видел.

— Мои суда с утра в море.

— Вот черт! — вздыхает в воздушной глубине Филипп Андреич. — Тебе нужен Саенко, который всех знает... район знает...

— Для кино это особого значения не имеет, пилота все равно видно не будет, только самолет, — осторожно отвечает наш поднаторевший пред, — но вообще-то лучше Саенко. Всегда с ним вместе.

— А он болен! — сообщает Филипп Андреич. — Понимаешь, какая ерунда. У него зуб болит. Отпустил вырывать.

— Ай-яй-яй, — отчаивается наш пред.

— Позвони ему домой, Горбов, — советует Филипп Андреич.



Видно, ловчит по-своему. Вышли самолет, а вдруг нагорит? Не вышли, а вдруг нагорит? Семь бед — один ответ: Саенко болен.

— Алло, пожалуйста! — влезает в разговор Кузя-второй. — Сообщите телефон Саенко.

— Молодец, Кузя, — хвалит его потом Илья Захарыч, высунув голову из кабины. — Хоть и второй, а молодец. Вызывай!

И он по-доброму улыбается, и Кузя видит, что только череп у него блестящий и крепкий, а лицо все морщится и сжимается при улыбке, мягкое, старческое лицо.

И вот уже мычит в трубке:

— Мммм...

— Саенко?

— У? — стонет знакомый тенорок Вити.

— Зуб? — спрашивает Горбов.

— Ага.

— Не вырвал?

— О!

— Тебя ж с утра отпустили.

— Хожу весь перемотанный.

— Чем?

— Полотенцем.

— А шалфей не пробовал? А-ха-ха! — опять отчаивается Горбов. — Всегда лучше сразу рвать. Вырвал бы ты вчера...

— Мммм... А что такое?

— Витя, — умоляет Горбов, будто в ногах валяется. — Витя! Как отец сына... Лететь надо.

— Куда к черту лететь? Кому надо?

— Кино, Витя, кино, — шепотом повторяет Горбов. — Ребята плавают. Покажи им хоть что-нибудь. Выручай. А то...

Он рассказывает все сначала и находит очень убедительные слова, беспокоясь в первую очередь о престиже промысловой разведки. Саенко перестает мычать, долго и звучно дышит и, наконец, цедит со стоном:

— Ну, раз для кино...

Чувствуется, кроме всего, что он очень боится рвать зуб.

— Витя! — успевает крикнуть Кузя-второй. — Намочи ватку одеколоном и засунь в ухо.

— Какое ухо?

— С той стороны, где зуб.

Горбов выходит из кабины, взопревший и жалкий. Он делает Кузе то ли благодарственное, то ли предупредительное движение бровями, и сутулая спина его проплывает за окном. А Кузя-второй и понимает Горбова, и стыдится за него, и думает, насколько легко организовать славу, когда у тебя вся власть в руках. Подчиняйся Илье Захарычу Филипп Андреич, тот бы приказал: послать в небо самолет, а болен Саенко — сам лети. И все. А Илья Захарыч как просил!.. А сам Кузя-второй что мог бы конкретно сделать, пожелай он нацелить на свою скромную персону кинообъектив? Ноль целых, ноль десятых. И ему вдруг это нравится. Потому что если когда-нибудь к нему, Кузе, придет слава, то она, значит, будет настоящей. А нет так нет.

7

**М**оре блестит, как кусок льда. Солнечные пылания его не плавают, они как бы сияют изнутри. И кажется, что сейнер навсегда застыл в воде. И даже тень его сбоку, которая обычно бьет, как тряпка, сейчас не трепещет, не морщится. Лежит, словно вырезанная из черной бумаги и приклеенная.

С капитанского мостика спускается дядя Миша, и на его квадратных скулах вздуваются желваки. Для тех, кто знает дядю Мишу, это первый предгрозовый признак. Дядя Миша — самый лучший бригадир аютинского колхоза и самый тихий человек нашего поселка. Однако в тихом дяде Мише громы водятся.

Он заглядывает в радиорубку, где радистка Зиночка слушает музыкальную программу круглосуточной станции «Маяк». То ли для того, чтобы и ее поласкало солнышко, то ли для того, чтобы и о ней не забыли кинематографисты, дверь рубки Зиночка держит нараспашку.

— Ну, что интересного в мире?

— Американцы бомбят Вьетнам, — скинув наушники, быстро отвечает Зиночка.

— Паразиты! — говорит дядя Миша. Больше всего на свете дядя Миша ненавидит паразитов, оттого еще так неймется ему в этот день. — Кто-нибудь нашел рыбу?

Многословие бригадира пугает Зиночку: тоже плохой признак.

В наушниках бубнит твист, и дядя Миша строго тычет в них пальцем.

— Ты джазика себе не играй. Ты следи. Отвезем этих...

И не успевает он отойти, как Зиночка щелкает тумблерами рации, перед которой она сидит на вытяжку, и начинает вколачивать в эфир позывные:

— Я «Нырок», я «Нырок», я «Нырок»!

Голос у нее высокий, слова стреляют, вот-вот пробьют чужие мембраны. Когда дядя Миша взял ее после курсов и Витя Саенко, летая в своем небе, первый раз услышал девушку, он удивился:

— Ого! Это кто?

— Зина.

— Какая Зина?

— Звонкая, тонкая, — помог какой-то невидимый шутник.

— И прозрачная, — добавил Саенко.

— Почему это я прозрачная? — обиделась Зиночка.

— Кричишь здорово, а где — не видно. Дух!

Ах, сейчас бы Саенко! Зиночка безнадежно вздыхает, и в это время ей отвечает сонный, с зевотцей, с хрипотцой, словно мембрана лопнула, другой «радист»:

— Я «Ястреб», я «Ястреб».

Ну хоть с кем-то можно перекинуться словом, а то будто ни одного живого человека в мире.

— Марконя! — обрадованно вопит Зиночка. — У вас есть рыба?

— На Марконю не отвечаю.

— А рыба есть?

Но радист «Ястреба», крепкий, кругленький, неудавшийся ростом сбитень, прирожденный знаток и любитель своей техники, непревзойденный мастер по кличке «Марконя», раз, два — щелкает вдалеке и испаряется.

А Зиночка визгливо кается:

— Не сердись, Марконечка! Где ловите?

— В море, — неожиданно отвечает Марконя.

— Нет, правда? Мы пустые гуляем. Дядя Миша очень злой, — добавляет Зиночка шепотом. — Дайте рыбки.

— Сначала объяви всем промысловым судам: «Прошу у Маркони прощения за Марконю», — требует Марконя, и Зиночка понимает, что он валяет дурака.

Припав к потертому лееру животом, с чужого сейнера смотрит в зеленую толщу воды грустный же-

них Кирюха. К теплой поверхности поднимаются медузы. Какие разные!.. Эта — как гигантская пуговица с дырками посередине. А та — как брюква с ботвой. А та — как пробка от графина. Выплыли к солнышку на совещание.

Дядя Миша останавливается около него, кладет локти на леер и тоже смотрит. Нет, не смотрит, он закрыл глаза, как больной. И роняет:

— Черный день.

— А меня зачем взяли? Разве дело? Клянусь, не дело.

Дядя Миша уходит в поисках спокойного места. На корме сидит Ван Ваныч в окружении рыбаков и популярно рассказывает, как снимаются кино-трюки.

— Можно спросить?

— Спрашивайте, мне не жалко, — душевно разрешает Ван Ваныч.

— А жена у вас красивая?

— Душа у нее золотая, — отвечает, помолчав, Ван Ваныч.

— Я думал, она киноактриса. Нет?

Но тут Ван Ваныч видит дядю Мишу и вместо ответа кричит:

— Где же рыба, товарищ Бурый? Море есть, а рыбы нет?

— Без самолета мы, как пешие, — выдавливает из себя дядя Миша и снова ползет на мостик, где его ждут режиссер и оператор.

— Дядя Миша, — ребячески встречает бригадира Алик и сует бинокль, в который следил за морем. — Чайки, чайки!

Бинокль не достает до глаз дяди Миши, потому что Алик забыл снять со своей шеи ремешок. Он выпутывается, и дядя Миша смотрит, как вдали садятся на воду крупные белые мартины. Алик нетерпеливо дышит.

— А?

— Это не рыба.

— Зачем же они садятся?

— Отдохнуть. Когда рыба, они падают камнями. Как коршуны на цыплят. И пищат — на все море.

— Одна упала, как камень. Я сам видел!

Дяде Мише хочется трахнуть Алика биноклем по голове. И точка. Но он сам рассказал гостям о разных приметах, по которым рыбак находит рыбу, — приходится терпеть.

— Я вас все же попрошу кинуть сеть, — приказывает Алик.

— Куда? — не понимает дядя Миша.

— Вы видите, какой фон? Скажи, Сима.

— Скалы.

Скалы проплывающего поодаль пустынного берега дики, как до цивилизации. На них — ничего. Ни столба, ни дома, ни дерева. Они воздушны и белы, как из пены.

— Эти скалы мы должны снять! — командует Алик, и Сима расчехляет свою аппаратуру.

— Да рыбы ж нету! — наклоняясь и приближая к Алику свое кирпичное лицо, смеется бригадир.

— А могла она тут быть? Принципиально.

— Принципиально тут ловят.

— Вы лично ловили?

— Не раз.

— Ну вот! — И Алик обрадованно хлопает дядю Мишу по плечу. — Не пугайтесь. Монтаж выручит.

— Какой монтаж?

— Здесь кидаете сеть — снимаем. В другом месте ловите рыбу — снимаем. Клеим все в один эпизод, и получается, что надо.

— Вы мне приклеете, — еще больше мрачнеет дядя Миша.

— Фантастика! — восклицает Алик. — Это же обычное дело! Слушайте еще раз...

Алик обеими руками вливается в дядю Мишу и не отпускает, пока не убеждает, что кино и не такие номера откалывало. Снимают оратора отдельно, зал отдельно, склеивают вместе, получается собрание. С парашютом прыгает один, на земле встречаются другого, склеивают вместе — получается герой. Ну в самом деле, не прыгать же победителю второй раз специально для кино, когда нужного эффекта достигает простая вещь — монтаж. Дядя Миша, у которого голова пошла кругом, сдался и махнул рукой:

— На баркасы!

Первый раз он кидал сеть в пустое море, зная, что ничего не вытянет, кроме медуз. Глупо мучились, обливались, выпрастывали из невода медузье «сало», и довольный Алик сказал:

— Ну и фончик сняли!

— Слов нет, — прибавил Сима.

А Ван Ваныч пошутил:

— Теперь осталось рыбу поймать!

Но рыба как провалилась.

«Нырок», запыхавшись, окружили другие сейнеры, и оттуда зашумели в рупоры и просто так:

— Много взяли?

— Вся наша.

— Зачем кидали? Эй!

— Для фона! — орал Кирюха, хохоча до слез.

— Чего-о?

Дядя Миша спрятался в своей каюте, где стрелка кренометра прилипла к нулю, закрыл дверь, но дверь тонкая, и ему слышны были и веселая переключка, и смех, вся эта шумиха. Нет, прятаться стыдно. Он выходит на палубу и шагает к трапу, но походка у него уже другая, не такая уверенная, и ноги чуть-чуть дрожат в коленях, когда он поднимается на мостик.

— Полный вперед! — приложив губы к раструбу голосового телеграфа, командует дядя Миша зычно, и «Нырок» взбивает за собой снежный ком воды.

Ван Ваныч заходит к Зиновье, просит связать его с берегом.

— У аппарата Кайранский, — доносится голос Гены. — Как успехи?

Ван Ваныч сдержанно объясняет ситуацию и спрашивает, что снимать. Рация молчит, и Ван Ваныч взрывается:

— Гена!

— Дайте подумать, — усмехается тот. — Я Гена, а не геней.

Он предлагает снять несколько сценочек культурного досуга.

— Посадите за шахматы жениха и бригадира.

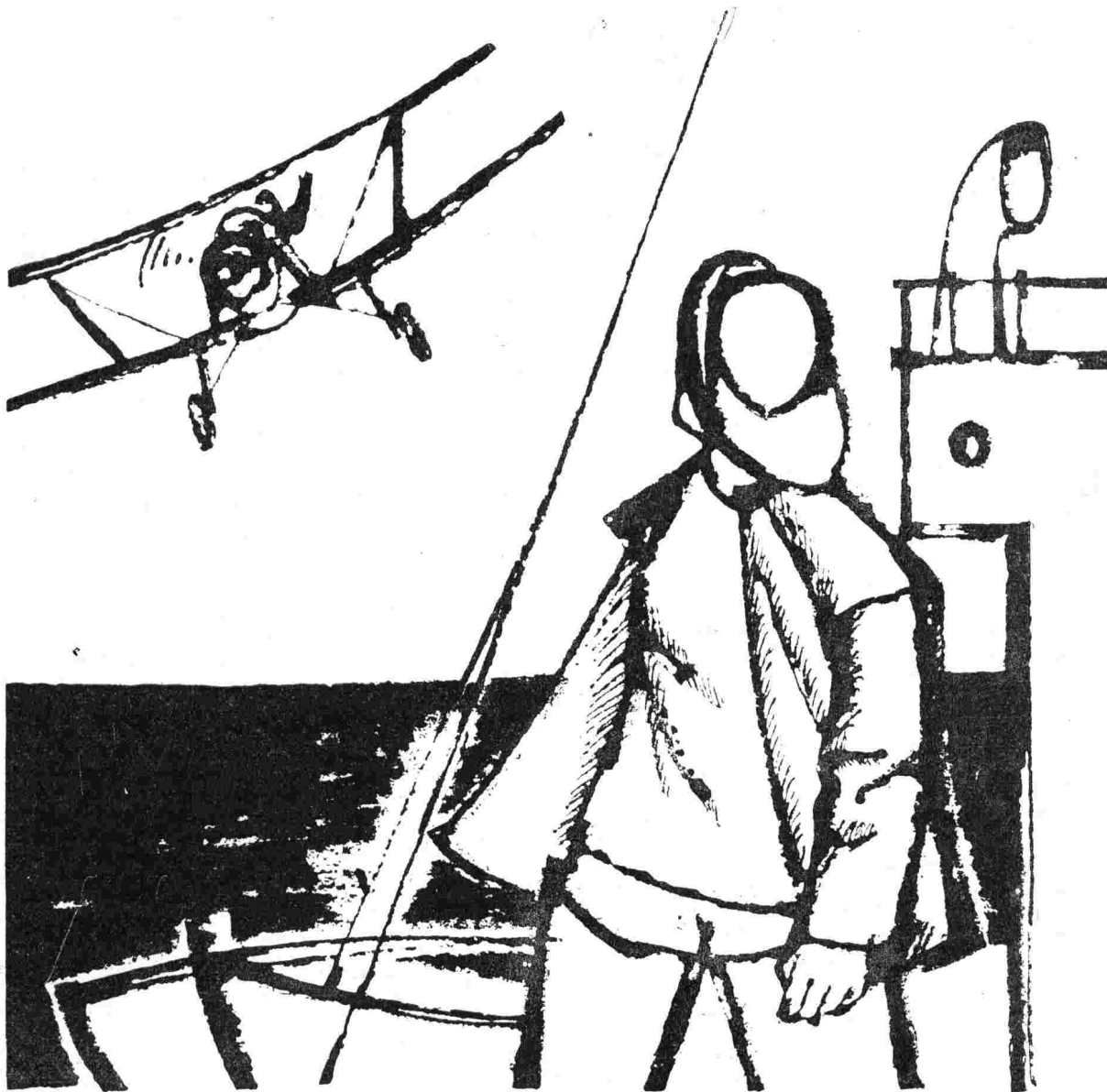
Предложение нравится Алику, и он сгоняет с трюмной крышки отсталых рыбаков, которые так заколачивают «козла», что во всех морях русалки вздрагивают, и высыпает на сухие доски шахматные фигуры: у механика нашлись, к счастью. Механик с «Нырка», оказывается, ездил даже на районный турнир.

— Прекрасно, прекрасно, — говорит Ван Ваныч, подражая Горбому.

Алик сам расставил фигуры, но... выяснилось, что Кирюха не любитель шахмат, а дядя Миша, тот просто и понятия не имеет, куда что двигать.

— Дайте слово, что вы научите играть бригадира, чтобы не было липы, — налетел Алик на механика. — Даете? Ну вот... Сели. Для кино хватит двух ходов. Пешку на две клетки вперед. В ответ конь по букве «г». И думайте. Думать можно сколько угодно.

Кирюха сделал первый ход пешкой, будто поставил



печать в центр доски. Рыбаки сгрудились сзади как любители. (Это называется постановка кадра.) За-трещал аппарат.

— Ваш ход! — напомнил дяде Мише Алик.

Но дядя Миша все думал. Желваки на его скулах вздулись булыжниками и катались. Наконец он взял доску за углы, встал, поднес ее к лееру и ссыпал фигуры в воду. Медленно опустились в подводное царство пешки, офицеры, королевы и короли.

Сима прижал к груди аппарат и смиренно спросил Алика:

— На что фокус наводить?

И тут... тут выпрыгнула из радиорубки Зиночка, счастливая, точно ее поцеловали, и звонко выпалила:

— Саенко в небе.

8

Самолета еще не видно, но в эфире все уже «гого-чут, как гуси», по выражению Горбова. Он на всякий шум говорит: «Как гуси».

— Дай рыбу!

— Витя! Рыбу!

А где он ее возьмет? Он мычит в ответ что-то невнятное.

Через час ясный шар солнца уже так низко, что его закрывает силуэт одиноко проходящего сейнера. Это «Ястреб». Сашка стоит на капитанском мостике. Закрывает глаза и видит Тоню. А когда открывает — перед ним темнеющая вода. Море густеет.

Гул самолета возникает за спиной, и Сашка огля-

дывается. Поначалу ему хочется рвануться к трапу, ему кажется, что Витя Саенко спешит с вестью о найденной рыбе. Будь это так, Марконя уже прибежал бы на мостик с радиোগраммой.

И Сашка трет кулаками глаза и опять смотрит в небо и слабо машет знакомому и незнакомому Вите рукой.

Маленький самолет приближается, покачиваясь с крыла на крыло. Что бы это значило? Сашка перестает вертеть вскинутой рукой и видит, как летчик отодвигает прозрачный колпак, тоже вытягивает из кабины руку и тоже машет ею. Прощается? Нет, он снижается, делая круг над сейнером, он так близко, что виден тросик антенны, малиновый в закатном луче, и вдруг от руки Саенко отделяется что-то и летит вниз. Вымпел! Саенко выглядывает из кабины, свесив голову набок, и голова его наполовину перетянута чем-то белым. Как у раненого.

Но рассмотреть Сашка не успевает, глаза его поймали и держат красную черточку вымпела на воде, а гул самолета тише и тише. Сашка и не знает, что Саенко спешит к зубному врачу. Ведром на длинной веревке, которым черпают из-за борта воду, чтобы драить палубу, Сашка подхватывает вымпел с первого взмаха. В красном поплавке — записка.

«У Синих камушков рыба», — читает Сашка. — Подошел большой косяк. Зови всех. У меня отказала рация. Привет. Саенко».

Он читает второй раз, третий. Так коротко и так много сказано. Есть рыба! Надо бежать в рубку и торопить дядю Мишу и все суда в квадраты 502—506, к Синим камушкам, как ласково зовут меж собой рыбаки эти камни, потому что вода вокруг них всегда синяя, неправдоподобно синяя. Может, так тени падают. Может, когда солнце бьет сбоку, вода светится искренней синевой, а без солнца вся вода никакая, одинаковая. Сами же камни разной высоты, пористые, щербатые — рыжие и серые в разное время дня. Сашка от этих камушков далеко и первым туда, конечно, не придет.

В рубке Марконя дремлет, положив голову на рацию. Рация — металлический ящик, и Марконя подсунул под щеку ладошку. Волосы у него на голове торчат ежиком, а глаза, даже закрытые, чуть-чуть навывкате.

— Очнись! — толкает его Сашка.

Марконя вздрагивает, прокашливается и начинает кричать:

— Саенко, ответь «Ястребу», Саенко, ответь Марконю, — унижается он. — Марконя слушает. Вот черт! Все время молчит!

А Сашка делает шаг — на палубу. Почему он не сказал Марконю о вымпеле? Почему не велел немедленно выйти на связь с другими сейнерами? Он тихонько огибаёт всю палубную надстройку. За рулем стоит штурвалный Кузя-первый и косит глазами в журнал «Огонек», приставленный к стеклу. Он не видит бригадира.

— Читаем?

Кузя-первый поворачивается на голос.

— Нет. Картинки смотрю. — На губах у него крошки. Мало того, что он любит картинки в журнале, он еще и перекусывает. — Пирожка домашнего хочешь?

— Кузя, — обрывает его Сашка. — Еще раз увижу, спишу на берег, хоть ты и Первый. Сиди в библиотеке и трескай бублики! А на сейнер возьму Второго!

В самом деле — как еще несправедливо все устроено на планете! Такой флегматичный, неповоротливый парень, ну просто баба, поперек себя шире, крутит штурвал и жуёт пирожки (мать суёт ему в ро-

бу сверток, как детсадовцу), а живой, темпераментный, не будем говорить о нем других слов, братишка задыхается на почте, как в консервной банке, только потому, что он Второй.

— К Синим камушкам! — командует Сашка.

— Рыба? — оживает Кузя-первый и, накручивая колесо штурвала, кладет «Ястреб» вправо, пока Сашка сдавленно посылает дальнейшую команду в машинное отделение.

И рокошет море за «Ястребом».

А Сашка идет по палубе. Ни души. Повернув надраенную медную рукоять, он толкает плечом узкую дверь и свешивается с трапа в кубрик, навстречу теплу и храпу. Утомились ребята от безделья и дрыхнут. Отсыпаются наперед. На столбе, подпирающем нары, висит гитара и чуть покачивается: «Ястреб» набирает ход. Как разбуженный, просит скорости. Над палубой зашевелился воздух.

Прислонившись спиной к белой стенке, Сашка соображает, что никто не видел, как он подобрал вымпел. Никто. Ну и что из этого? А сердце колотится.

Еще никогда Саенко не проверял, как взяли показанную им рыбу. Показал — улетел. Всех не расспросишь... Конечно, кино... Но он уже у аэродрома. Его снимать не будут. Да и Сашка сниматься не хочет. Рыбу привезти, когда другие придут пустыми. Чтобы Тоня ахнула! «Вот так мы и живем, простые рыбаки из маленького поселка Аю».

Сашка растирает ладонью мокрый лоб.

Не сломайся рация у Вити, сейчас бы с разных сторон бежали к Синим камушкам аютинские суда. Там рыба. А сколько? Может, ее там на один сейнер? «Зови всех...» Может, Витя ошибся? При чем тут Витя?

«Да не подбирал я никакого вымпела! — уговаривает себя Сашка. — А к Синим камушкам пошел, потому что мало ли куда гонит надежда. Сам пошел».

А позвал бы его старый бригадир Михаил Бурый, который забрал к себе Кирюху? Ведь забрал! В горле Сашки подсыхает, словно туда забился жаркий ветерок. Голова кружится, как у пьяного, от мысли, что он может прийти на «Ястребе», заваленном рыбой, когда сам дядя Миша воротится налегке. Со своими киношниками. И с Кирюхой.

«Ступай в радиорубку, — толкает себя Сашка. — Вымпел ты подобрал, подлец».

А прийти к берегу он может так...

Замерцает впереди пригоршня аютинских огней. Ударится бортом о причал тяжелый «Ястреб». А он, Сашка, будет стоять на палубе, до колен заваленный рыбой. Когда забьют трюм под крышку, рыбу высылят на палубу, вокруг бригадира, так что ему уж потом ни шагнуть, ни выбраться без посторонней помощи. Будто не он рыбу, а рыба его поймала. Но он стоит, как ее хозяин. Завидный обычай.

Мать наденет белую блузку, белую косынку на седые, поредевшие волосы и пойдет в кино смотреть, как ее сыночка встречает все Аю. Ведь будут встречать... Так придумал этот сценарист, который укачивается, несчастный.

А девочки станут завидовать Тоне. Раз завидуют — значит, она счастливая.

— Эй, невесты! — крикнет он им, когда «Ястреб» стукнется о причал. — Освобождайте. Умру!

Но пришел он гораздо лучше.

Глубоко осев в воду, «Ястреб» устало подползал к аютинскому причалу, перерезая бухту наискосок и оставив в стороне силуэты виновато дремлющих на рейде пустых кораблей. Низкой точкой летел над гладким морем огонек на мачте «Ястреба», как птенец, отбившийся от стаи береговых огней. Нашел их и возвращался.

Ребята здорово накричались у Синих камней, выгребая рыбу, но так всех распирали от гордости, от новой веры в Сашку, от молодости, что они срывали уже надорванные глотки:

Ходили с аломаном мы  
В далекие места.  
Пылала южной полночью  
Хрустальная хамса.  
Путями океанскими  
Прошли мы целый свет,  
Но лучше берегов родных  
Нигде на свете нет!

Весь поселок лежал как на ладони. Причал длинной лентой вытягивался навстречу. Ближе, ближе. Приглушив мотор, «Ястреб» стукнулся и заскреб по краю трепаными кранцами. (Это, знаете, такие толстые чурки или старые автопокрышки, навешанные по бортам для смягчения удара, для здоровья и долговечности корабля.) Все на свете забыв, Сашка улыбался. Сколько ни ходит рыбак по морю, как ни любит море, а домой вернуться — всегда праздник. Рыбой были забиты и трюм, и пожарные ведра, и даже спасательные шлюпки, притороченные к бортам за кормой. А самого бригадира она завалила. Сашка чувствовал ногами ее тяжесть сквозь мягкие сапоги, посивелые от чешуи. И видел при свете причальных прожекторов, как по всей палубе бегут, сочась, мутные от жира ручейки.

— Рыба, гляди — рыба какая! — раздался гордый голос Ильи Захарыча. — Царица!

А там, где сгрудились возле бочек девчата, стояла Тоня. Жаль, Сашке не видно... Она сцепила руки перед грудью, ладошка к ладошке, словно певичка (я помню, как у нас в клубе выступала филармония), и сладко протянула:

— Нет, вы гляньте... Гля-яньте, девочки! Мой Сашка...

От восторга она не отдавала себе отчета в том, что говорит вслух. Ее Сашка! Пожалуйста! Ну и ну!

## 9

Этот день Гена Кайранский провел в грустных размышлениях о том, как ему одно надоело, а другого хочется. И поскольку Кузя-второй в обеденный перерыв случайно оказался на пороге правленческой комнаты, где стояла рация, ему, Кузе, и довелось услышать эти размышления.

— Что у вас есть, Кузя?

— У нас есть сдвиги, — ответил он, как Горбов.

— А еще?

— Есть, конечно, и недостатки...

— Написать бы такое, чего вы сами о себе не знаете!

Кузе было интересно слушать. Он спросил:

— А как это вы пишете? Непонятная работа.

— Старик! — ответил ему Гена. — Это работа? Унылая служба!.. Есть задание, что снимать, а художник только оживляет сюжет.

— А вы художник? Как считать?

— Этот вопрос, старик, решаем не я, не ты, а время. Уж оно разберется.

В общем-то, он был славный парень, даже скромный. И Кузя спросил еще:

— А что можно почитать из вашего творчества? Скажите, я достану.

— Не скажу, старик, — чистосердечно ответил Гена, — потому что нечего мне сказать.

— А в чем же тогда разбираться? — так же простодушно спросил Кузя-второй и сочувственно заморгал ребяческими глазами в пшеничных, откровенно сказать, рыжеватых, просто рыжих ресницах.

— Да, брат, да, — согласился Гена. — Ты попал в самую точку. Живешь и забываешь, что время горит, как солома. Лучше, хуже, а все временно. Ну, а дальше что? Должно же быть что-то настоящее дальше? Хочется...

Кузя-второй в ту пору был еще далек от анализа и самоанализа и не додумался до простого и вечного, как сам мир, открытия, что жизни ждать нельзя. Жизни ждуть, говоря словами дяди Миши, паразиты...

Тогда Кузя-второй бессознательно спросил:

— А разве ж от вас не зависит? По-моему, все зависит.

Кузя-второй полагал, что нет человека независимей художника. Кузе было интересно, как думают о жизни. Если думают одинаково, пусть тогда и пишет один за всех. Кузе было интересно, как говорят о жизни. Только за какое-то собственное слово, которого больше ни от кого не услышишь, он мог уважать всякого человека, скажем, друга, а тем более — художника, говорящего для всех на свете (аудитория!). Ему хотелось уважать и Гену Кайранского, первого живого писателя, которого он увидел. И Кузя стал настырно допытываться, когда Кайранский вздохнул и замолк на полуслове, как будто оборвалась связь:

— Чего б вы хотели?

— Я хотел бы, — опять мечтательно вздохнул Гена, — просто поселиться у вас, пожить с вами без всякого задания, поплавать...

— Вас же укачивает.

— Не всегда, старик...

И Гена улыбнулся, дымя сигаретой.

Кузе льстило, что с ним говорят доверчиво. Может, потому, что он, Кузя, тоже временное явление для собеседника? Есть Кузя и нет Кузи, есть Аю и нет Аю. А может, просто разоткровенничался парень от тоски, не очень Кузе понятной. От тоски всегда откровенничают.

— Поживите с нами, — предложил Кузя, которому стало жаль долговязого парня, ростом с Дон Кихота, — ну что вам мешает?

— Возраст.

— Старость? — спросил Кузя, умеющий поддержать шутку.

— Наоборот. Младенческое желание видеть свою фамилию в титрах, — презирая себя, признался Кайранский. — А ты хочешь сказать, что я уже похоронил свой талант?

— Нет, что вы, — смутился Кузя, — я читал, что талант всегда молодой, даже у стариков.

— Опасное утешение, товарищ читатель! Вот возьми и застряну у вас. А что?.. Я ведь холостой, — ухарски сказал Гена.

— Оставайтесь, а? — ответил Кузя. — Организуем литкружок.

— Ясно, — посмотрев на него хитрым глазом из-под выкругленной брови, опять ухмыльнулся Кайранский. — Каждый сам себе кузя своего счастья.

В это время его позвали к рации, и он придумал про шахматы. А теперь сочинил и вовсе прекрасную сценку.

Молодого бригадира, то есть Сашку, должны встречать приодетые старики. Конечно, во главе с дедом Тимкой, нашей славой прошлых лет. И этот самый дед Тимка подарит Сашке свою реликвию, свой бинокль, сквозь который он искал рыбу все свои лучшие годы.



Не знаю, как по-вашему, а по-моему — крепко. Опять Гена привел в действие послушный ему механизм жизни.

— Это здорово, Генка! — кричал Алик. — Есть что снимать! Симочка, бинокль — крупно, а не между прочим! Преемственность! Где лучше тебе его устроить?

— На груди, — сказал Сима.

— Фиксируете, Ван Ваныч? — спросил Алик.

— Зафиксировал, — кивнув головой, подтвердил Ван Ваныч, довольный, что привезли рыбу. Ему важней всего было оправдать командировку.

Все они уже свалились было отдохнуть в доме председателя и, удрученные, разговаривали о своих городских заботах, когда прибежал посыльный от Горбова. Весть о Сашке смахнула киношников с кроватей. Толкая друг друга, они высыпали на улицу и со всех ног кинулись на сверкающий причал. Вот вам и молодой бригадир! Даже палуба завалена рыбой. Снимать!

Они суеились, не давая Сашке выбраться из рыбного навала. Люди жали Сашке руки, дотягиваясь через борт. Все поздравляли, а он еще стоял. Не велели вылезать. Раздавались голоса:

— Гена! Что ты там делаешь, Гена?

— Пишу речь председателю.

— А где старики?

— Пошли переодеваться.

— Симочка! Как свет?

Симочка вдруг проехался насчет света таким словом, что потом повернулся и сказал в полутьму, где толпилось притихшее население:

— Простите, женщины.

В нем проснулся оператор.

Наконец и свет наладил, как требовалось, чтобы повторить подход корабля к причалу, и еще раз объяснили, кто встречает «Ястреба», а кто нет, где останавливается Сашка, когда он выберется из рыбы и спрыгнет на причал, и где Горбов, который скажет короткую речь, всего два слова, после чего, расталкивая женщин, вперед протиснутся старики с биноклем, и уже пора было подавать команду, но вдруг раздался отчаянный возглас Алика. Он вопил так, будто его обманули:

— А жених?

Все забыли о Кирюхе. Теперь вспомнили.

— Жениха немедленно назад на «Ястреб»! — хлопав в ладоши, распорядился Алик.

— Жениха на «Ястреб»! — властно повторил Ван Ваныч.

— Жениха на «Ястреб»! — полетело над морем.

— Где Кирюха?

— Где... где... где? — пошло эхо над бочками.

— Найти Кирюху! — приказал Горбов. — Сейчас же! Чтобы через две минуты был на постоянном месте.

В толпе посмеивались, но благодушно. Всем нравилось, что такое исключительное зрелище не где-то, а в Аю. Всех радовало, что Сашку будут снимать. И Кирюху будут тоже. А невесту? Пусть и невесту.

— Как с невестой? — спросил Горбов Алика, около которого он теперь все время находился для порядка, а также боясь пропустить момент своей речи.

— Приодеть, причесать и — в кадр! — крикнул Алик. — Ван Ваныч, я удивляюсь!

— Есть приодеть, причесать! — отозвался по-военному Ван Ваныч и направился во главе девичьей делегации за Аленой.

Я вам замечу, что живешь, живешь и не знаешь собственных людей. Алена не заставила себя долго

ждать, скинула простое платьишко, влезла в свадебное, тронула кудри гребешком, и уже тут как тут, поставила туфельку на каблук и вертит носочком. Звезда экрана! Вроде Т. Самойловой или Н. Румянцевой. Кого-кого, а ее-то снимут обязательно. И свадьбу снимут. Это в сюжете, который согласован с начальством, с Горбовым. Ведь для Алены Горбов — самый большой начальник.

А Кирюха опять упирается. Расставил ноги, как высоковольтная мачта, и крутит головой.

— Это твой сейнер? — вмешался в диспут Ван Ваныч.

— «Ястреб»? Мой.

— Ну и двигай к своим! Живо!

— Я же эту рыбу не брал...

— Формалист в рыбацкой робе! — взвизгнул от нетерпения Алик.

— Вы какие-то необразованные люди! — завелся снова Кирюха.

Сима скомандовал выключить дополнительные прожекторы, чтобы не перегревались, и конец причала растворился в полумраке.

— Ван Ваныч! — крикнул Алик. — Вы можете обеспечить этого человека? Что вы стоите, как пень?

Ван Ваныч даже крикнул, помолчал и ответил:

— Я могу. Как ваша фамилия, товарищ?

— Зачем? — с опаской проронил Кирюха.

— Киногруппа приносит вам извинения, товарищ. Не будьте барышней. Утром так, а сейчас все иначе. Это кино. Творческий процесс. Вы стоите — и дело стоит, товарищ. Дело государственной важности. Вас снимали утром?

— Снимали, ну?

— На вас израсходовали пленку. А пленка — те же деньги.

— Так снимали-то, что я ушел в баркасе на «Нырок», а вернусь, значит, на «Ястребе»? — засмеялся Кирюха.

— Этих мелочей никто не заметит.

— Это кино, — напомнил Кирюхе сам Горбов. — Важен принцип.

— Долго еще мне стоять? — заорал с сейнера Сашка. — Кирюха! Не валяй дурака.

— Товарищи! — обратился к ребятам на «Ястребе» Ван Ваныч. — Воздействуйте на своего друга! И рыбаки с «Ястреба» загомонили, добрые от удачи:

— Киря! Иди к нам!

— Тебя же силком ссадили!

— Без тебя «Ястреб» не «Ястреб».

— Не плавал, а всех держит!

Горбов ласково похлопывал Кирюху по спине, как норовистого коня, и подталкивал его к сейнеру. Кирюха шел, тормозя пятками, и повторял, мотая головой:

— Как я буду вам же в глаза смотреть?

Сима снова махнул рукой, и прожекторы накалились и отодвинули ночь подальше от причала. Плыла уже совсем черная, какие бывают только на юге, осенняя ночь над морем. Алик еще раз все проверил, и тут — ох! — обнаружилось, что нет стариков.

Пока хлопотали вокруг Кирюхи, уже приодетые старики исчезли. Алик обессиленно сел на кнехт, такую толстую металлическую тумбу, к которой приматывают мокрыми концами баркасы на ночь, и тут же подскочил, словно гладкий, как пестик, кнехт был вроде ежа.

— Я с ума сойду!

— Кузя, — попросил Гена, оторвавшись от сочинения речи и найдя его глазами. — Второй! Ты можешь

выяснить, куда делись старики? Не в службу, а в дружбу.

— Я могу! — как Ван Ваныч, сказал Кузя, вспрыгнул на мотоцикл и, пустив впереди пятачок света, покотил по Аю.

Нет, как хотите, а Кузя-второй — отзывчивый хлопец. И Горбов сказал:

— Вот у нас Кузя-второй — человек! Всегда всем поможет.

Он услышал это, уезжая, и прибавил скорость. Первого же старика, пойманного в поселке, Кузя сам привез на причал. Потом стал ловить и своих по очереди других. Последним попался дед Тимка.

— Ну кто бы подвел! — встретил его укором взволнованный пред. — Кто бы! А то!..

— А бинокль? — спросил дед Тимка.

Оказалось, старики ушли втихаря искать старый бинокль. У деда Тимки бинокля не сохранилось, но у кого-то, помнится, был, и дед Тимка отдал наказ откопать бинокль хоть из-под земли, чтобы подарить его Сашке, как по сценарию.

— Какой бинокль? — схватился за голову Ван Ваныч.

— Не нашли, — коротко повинился дед Тимка. — Фиг ее знает, куда она пропала.

— Кто пропала? — заплетаясь, спросил Ван Ваныч.

— Реликвия.

— Бригадир! — крикнул Алик. — Дайте ваш бинокль.

Сашка устало наклонил голову, снял с себя бинокль и бросил в протянутые руки подбежавшего Ван Ваныча.

— Вот вам бинокль, — сказал тот деду Тимке.

— Так это же Сашкин!

— Его и подарите.

— Чудеса, — в растерянности прошамкал дед Тимка.

— В кино не видно, папаша, чей бинокль, — засмеялся Ван Ваныч. — Как махну рукой, так подшаживайте и вручайте. Понятно?

— Никак нет, — сказал дед Тимка.

Дед — это дед. Пришлось ему долбить все сначала.

— Репетируем пока речь, — потребовал Алик от Горбова. — Гена! Речь! Начали.

— Товарищи, — с каким-то неожиданным актерским пафосом зарокотал Илья Захарыч. — Вот вам и молодой бригадир! Знать, недаром слово «молодец» идет от «молодой». И, знать, не зря у нашего Саши такая фамилия, что мы можем сказать: «Молодец — Таранец!»

— Хорошо! — хлопнул в ладоши Алик. — Только эту последнюю шуточку повеселей и погромче, а «массовка» сзади: «Ха-ха-ха!»

— И, знать, недаром у нашего Саши такая фамилия, — повисил голос пред.

— Ха-ха-ха! — подхватила толпа.

Алик оглянулся на сейнер, и вдруг лицо его напряженно исказилось. Он крикнул:

— Весь свет на сейнер!

Лучи прожекторов скрестились, и ребята на палубе позакрывались и позакрывали ладонями глаза. Но Алик смотрел не на них. В том месте, где еще минуту назад стоял наш Саша Таранец, наш молодец, зияла, как провал, черная яма. Рыба была, а Сашки...

— Сашка! — первым грозно позвал Горбов.

— Бригадир! — удивленно просипел Ван Ваныч и вытерся носовым платком.

Сашки не было.

Речь произнес Алик.

— Я, между прочим, молодой режиссер, а не мальчик, — сказал он. — Я еще не снимал в таких условиях ни одной картины. Это просто черт знает что. В конце концов мы для вас стараемся, мы к вам ехали, чтобы вас же показать. Не себя. Режиссер, сценарист, оператор и администратор. Лихтваген. Так называется этот большой автобус. Целая киногоруппа. Так надо это ценить?! — вскрикнул он, как от боли, будто с разбегу стукнулся лбом о свой собственный восклицательный знак.

Никто не оправдывался.

— Начинаем съемку, — тихо, но твердо сказал Алик. — Илья Захарыч! Мы снимаем вашу речь без Сашки, отдельно... Все равно ее монтировать. Снимаем это, снимаем то, склеиваем...

Он быстренько посвятил в секреты монтажа всех, кто не плавал на «Нырке» и еще не был приобщен к тайнам кинематографа.

Илья Захарыч откашлялся и неуверенно начал, поглядывая на то место, где должен бы стоять Сашка:

— Товарищи!.. Вот вам и молодой бригадир...

Пылали прожекторы. Трещал аппарат.

— Ты, Саша, действительно отличился, — бросил в воздух Илья Захарыч.

— Ха-ха-ха! — некстати грохнула «массовка», непривычная к профессиональному методу монтажа.

— Продолжайте! — крикнул Алик. — Этот смех отключаем. Не волнуйтесь. Все в наших руках.

— Нет, простите, — остановился Горбов. — Я, между прочим, не артист, а председатель колхоза. И я хочу знать, куда делся бригадир Таранец.

По всему чувствовалось, что Сашке сейчас не поздоровится, попадись он под руку преду.

Прожекторы развернули на Аю, и свет шарил по всем улицам и по крышам. Старики смотрели в бинокль. Команда «Ястреба» вразброс и вместе металась по поселку. Напрасно. Включили сельское радио, и Кузя-второй трижды объявил о розыске бригадира Александра Таранца. Напрасно. Будто Сашки никогда и не было в нашем поселке.

А он, между прочим, был. Он лежал на ключьях старых сетей под крышей рыбного цеха, и весь шум и вся эта суматоха окружали его и прорывались к нему, как дождь сквозь листья дерева, сокращая и сокращая сухое пятнышко внизу. Он лежал, курил и думал: «Только б миновало».

И в это время в слуховом окне чердака вылепилась из тьмы фигура. Сашка задал и размял в голых пальцах светлячок сигареты, затаился, не дымя.

— Сашка! — позвал его знакомый голос.

Сашка не отзывался.

— Сашка! Я же видела, как ты курил. Ну, чего ты прячешься? Сашка! Я никуда не уйду, — сказала Тоня и села на чердачную балку у слухового окна. За ним вспыхивала иллюминация будничной ночи.

Сашка ткнулся лицом в мягкую гору рванья, на котором лежал, чтобы не выдать себя дыханием.

— Привез такую рыбу и сбежал. У всех мозги набекрень. Ты можешь хоть мне сказать, в чем дело?

Сашка думал: вот так ляпнуть ей сразу про Саенко, про вымпел, который он подобрал, про то, как один пошел к Синим камушкам и взял рыбу? Ах, Синие камушки, тихая вода... Ах, кино, кино! Ах, Тоня, Тоня! Хорошо, что она пришла и волнуется.

— Пока тебя не найдут, Горбов сейнер разгружать запретил. Рыба протухнет, — засмеялась Тоня.

— Кино сплещет,— пробормотал Сашка, а она встrepенулась.

— Сашка!

Луч прожектора в косом полете обмахнул крышу рыбного цеха, и глаз Сашки сверкнул в глубине чердака. И Тоня сказала совсем неожиданно:

— Цыган!

— Чего тебе надо? — недобро спросил Сашка.

— Ничего.

— Тебя послали?

— Дурак ты!

Он и сам догадывался, что дурак. Но, скажите, почему так устроена эта жизнь? Человек ждет первого свидания, как великого счастья. Не день ждет, а год. А оно — вот какое это свидание, пожалуйста. И ужасно жалко Сашке себя и Тоню. Дурак! Да гори огнем все на свете! И раньше всего совесть, которая, гляньте-ка, заговорила в нем. У кого она есть?

— Тоня! Иди сюда.

— Тут ноги ломаешь.— Было слышно, как под ее ногой щелкнула сухая веточка, наверно, закинутая сюда ветром, откатилась пустая бутылка, звякнув о другую бутылку, похоже, собутельники-недоростки скоротали тут вечерок, а может быть, это нехозяиственно выбросили вместе с обрывком сети пузырь поплавка, точь-в-точь такой, как воздушный шарик, только стеклянный.— Ой, мамочки!

Тоня оступилась, упала на сети, рядом, и Сашка хотел протянуть к ней руку, но... Вот всегда, с другой, так руки смелые, а тут, как у паралитика.

— Я палец занозила,— сказала Тоня.

— Где? — спросил Сашка и нашел ее руку.

В темноте взял в рот первый попавшийся палец.

— На ноге,— засмеялась Тоня.

— Что ж ты, босая?

— А как бы я по дереву залезла? В сапогах?

Он пододвинулся к Тоне, прижал одной рукой ее плечо, другой нашел голову, забрался под самый корень косы и стал целовать, сначала куда придется, в холодный нос, в крепкие щеки, в глаза с колкими ресницами, а потом в большие, размягченные, приоткрытые, будто она задыхалась, губы. И оттого, что это были ее, Тонины, губы, столько раз смеявшиеся над ним, ее губы, о которых он мечтал дни и ночи напролет, в сознании у него все перевернулось, словно наше Аю встало вверх ногами, как баркас в хорошую штормягу, когда под доньшко подкатывается самый высокий вал. Можно понять.

Что у них там еще было, кто знает. И не надо третьему лезть на чердак, когда там двое. Ну, лежали, ну, целовались... Не наше дело.

Я ведь только что сказать хочу? Я хочу сказать, что у Сашки — характер. Сколько наших ребят при первом столкновении с Тоней, получив щелчок, отворачивались от нее и забывали, утешаясь: «Хороша Маша, да не наша». А раз «не наша», значит, мы ничего и не проиграли. Но все беспроегршнные принципы очень опасны. Вдруг замечаешь, что ничего не проигрывал, а проиграл все. Вот Гена Кайранский процветает, а на душе кошки скребут. А Кузя-второй, у которого полная гарантия, что он не утонет у своего телефонного щитка на почте, тоже не испытывает счастья, потому что знает, придет мгновение, когда он схватится за голову, и это мгновение останется, а того, когда он уступил матери и сошел на берег, не вернуть нипочем, чтобы поправить свою ошибку. Ошибки — это ошибки. Их не надо прятать, копить. В них надо признаваться, чтобы исправлять тут же. И Кузе-второму, например, стоит сказать, что он уступил не только матери, но и себе, потому что его испугали те дни и часы в море, когда тихую, с замолчавшим мотором «Гагару» швыряло и мотало

на волнах... Уступил, Кузя! Быть тебе, Кузя, всю жизнь вторым. И неважно, что не третьим, не двадцатым. Это уже все равно. Первый — это первый, а второй — это второй.

— Сашка! Ну, Сашка! — вздохнула Тоня.

Давайте закроем глаза и увидим что-нибудь, не подглядывая.

— Сашка!

— Уж теперь я не отпущу тебя.

Тоня и не вырывалась. Ну, а дальше? Хватит ли характера, чтобы одолеть в себе труса и сказать? Хотя бы ей. Нет, он все забыл. Какие это мелочи — кино, Ван Ваныч, Саенко, дядя Миша, рыба, когда Тоня в его руках! Вы понимаете? Я понимаю.

А прожекторы мели улицы, скользили по крышам и будили воробьев на деревьях.

Еще пять минут назад Сашка не понимал, только чувствовал ее плечи и губы, а теперь стал понимать, как проснувшийся понимает, что было сном, а что — явью. Так вот это не сон. И тогда Сашка вспомнил все остальное — про Саенко и про чертову рыбу. Конечно, если бы всю жизнь можно было вот так пролежать с Тоней на сетях под черепицей, в чердачном покое, то не о чем было бы ему тревожиться. Но жизнь живет иначе, среди людей. И надо было раньше помнить о людях. Утром с ними. Днем с ними. Вечером с ними. Всю жизнь с людьми.

Сашка начал с безмолвных проклятий. Он проклинал киношников, которые свалились на нашу голову, Горбова, которому захотелось покрасоваться на экране, и даже Саенко. Не мог он сбросить выппел другому кораблю, помешал Сашкиному счастью.

— А помнишь, когда ты маленькая была, у тебя были две козички, тоненькие... А теперь одна...

Сашка думал и бормотал, а рука его опускалась, она огладила, обмяла шею Тони, забралась под ее спину и остановилась на пуговичках. Сегодня вечером Тоня вышла встречать сейнеры не в ватнике, как всегда, а в свитере и юбке. Крохотные пуговицы. Сашка коснулся первой... И Тоня останется с ним, что бы ни стряслось.

— Ну, ты! — Тоня оттолкнула его и присела, а Сашкино сердце взлетело куда-то под горло и остановилось, закрыв доступ даже и капле воздуха. Наконец дыхание вернулось, и Сашка снова обуял ее и, как дурак, спросил:

— Ты моя соловушка?

Она молчала, закинув руку на его голову, и он слышал, как в самое ухо бьется жилка на ее руке.

— Чуб у тебя хороший,— сказала Тоня, заворотив его волосы.— Ветер тебе волосы раскудрявил.

На улице суматошилились голоса. Рыбаки с «Ястреба» хором звали:

— Са-ашка-а!

— Волнуются,— тихонько сказала Тоня.

— Русские люди всегда волнуются.

Она опять помолчала.

— Чего сбежал-то?

А его вдруг охватила злоба. Из-за нее он сбежал, не захотел на ее глазах позориться. Только увидел ее среди девчат на причале, как понял: не сможет. Из-за нее одной. И молчал, тоже из-за нее.

— Уходи.

— Я? — неверяще спросила она.

— Уходи,— повторил Сашка.— Не глухая.

— Я сейчас заору, где ты.

— Ударю,— сказал Сашка, и в голосе его была незрешная угроза.

— Ты теперь передовик! — засмеялась Тоня.— Тебе нельзя драться.

— Я тебя не ударю, правда,— сознался Сашка.

— От кого сбежал?

— Ступай!

Она поправила косу, запрокинув руки и выставив вперед локти, у самой Сашкиной рожки. Встала, шаря рукой по балке.

— Ну и лежи тут! Очень надо!

Он и лежал. Лежал и думал, как хорошо, что не проболтался. Ведь это пустяк — все, что случилось в море. И он не виноват. Спровоцировали. И забудется, перемелется — мука будет. Главное, держать язык за зубами. А теперь уж найдет рыбу, сначала других позовет — нате, жрите.

Он лежал, пока не умолкли воробьи и люди, и ночь снова стала ночью. Последней донеслась фраза причального сторожа, проковылявшего мимо цеха среди других:

— Тоньки тоже нет... Спрятался где-то с Тонькой на радостях. И вся потеря.

Шагов было много, но сторожу никто не ответил. Тогда Сашка выбрался из окна, уцепился за ветку дерева, поймал ногами другую. Подумал, что Тоня могла сорваться в темноте, и, испугавшись за нее поздним страхом, прыгнул.

— Саш!

Тоня стояла под деревом.

— Попадет тебе от матери, — обалдело сказал он.

— Если мне не хочешь, скажи Горбову. Иди сейчас. Мотор запороли? Гоняли, гоняли и запороли? А?

— Не запороли, — сказал Сашка. — Чего ты пристала?

— Я же вижу, что ты сам не свой.

— Тоня! — тихо окликнул он, когда она пошла.

Вот сейчас догонит и скажет, чтобы выходила за него замуж. Он догнал и загородил ей дорогу.

— Тонь. Провожу...

Но она оттолкнула его руку.

— Сама дойду.

У нее тоже характер был. И Сашка только смотрел ей в спину, пока было видно, а потом вынул кепку из-за пояса и натянул на глаза.

## II

Горбову он постучал в окно, хотя дверь у того, как известно, не закрывалась.

— Кто там? — раздался громовой голос преда.

— Сашка.

— Ну, мать твою перемать!..

Пред высказывался довольно долго, ведь пред тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо.

— Значит, так, Илья Захарыч, — сразу сказал Сашка. — С вашими словами я согласен. Целиком и полностью. Теперь слушайте меня.. У Саенко отказала рация, и он сбросил мне вымпел с запиской, навел на крупный косяк... Просил всем показать, а я взял рыбу один... Не показал никому.

Вот как просто-то!

Илья Захарыч потер подбородок, мирно покряхтел, как будто в горле у него запершило.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал он, словно ничего не понял, и спросил погоду: — Это правда? — хотя уж видел, что правда.

— Вот записка... Где же она? Эх, черт! Была записка! — Сашка стал рыться в карманах, но вынул только сигаретную пачку и швырнул на стол. — Тут была... С подписью: «Привет... Саенко».

— В море, небось, выбросил? — презрительно спросил Горбов.

— Может... Или на чердаке потерял. В рыбном цехе.

— Вон где ты скрывался, артист!

Сашка беспомощно потупил глаза. Первая смелость, которая подпирала его, как та проглоченная шпага, вдруг растворилась, и он обмяк, осторожно вытряхнул из пачки сигарету и трясушей рукой за толкал пачку в карман.

— Можно закурить? — прохрипел он.

— Может, косячок мелкий был? — спросил Горбов с некоторой надеждой.

— Нет, — сморщив лоб, как старик, сказал Сашка. — Косяк подошел свежий. Всем хватило бы под завязку.

— Ох, сволочь ты! — теперь не потирая щек, а комкая их, будто и его, как Саенко, схватил приступ зубной боли, охнул Илья Захарыч. — И откуда вы такие сволочи беретесь?

— Я ж сниматься не стал, — несмело защитился Сашка.

— Да какое уж тут кино! — простонал Илья Захарыч. — А-ха-ха! Все могли нагрузиться! Все! И рыба какая! Царица!

Еще не понимал, что беда случилась не с рыбой, а с Сашкой. И вдруг поднял глаза на Сашку, и, хотя они давно выгорели, выцвели на солнце, утерав все оттенки, и лампочка светила слабая, специально ввинченная для ночных бдений, все же можно было узреть, как они потемнели, горбовские глаза, и он словно бы стал ждать, пока сойдет с них темнота, как туча. Это длилось долго. В правлении обычно в такие моменты Горбов стучал кулачиной по столу. Лежало на столе стекло — резался. Стали убирать, беречь горбовские кулаки. Теперь стучит реже и тише, но стекла все же не кладут. Израсходован лимит наперед... Туча сошла, и открылась в глазах преда одна боль.

— Ты помнишь Рачка?

— Помню, — не сразу выдохнул Сашка.

Жил у нас, да что жил, и сейчас живет гражданин по фамилии... Ладно, фамилия у него была для нас известней, чем у деда Тимки, только и вспоминать не хочется. Давно уж прозвали его Рачком, так и кличут. Перекрестили.

Этот самый Рачок плавал бригадиром на «Гагаре». И знамя ему вручали в открытом море, и премии получал, и бесплатные путевки на отдых, и речи говорил, и возил со всех совещаний коробки и пакеты — полные подмышки. Другой бы и не удержал столько, но у него клешни большие, загребушие. Плавал он, правда, беззаветно и самоотверженно — день и ночь.

И вот пошел слух, что Рачка поджигают и дед Тимка, и дядя Миша, и еще. Подсчитали сводки — точно, догоняют. Путина кончалась. Наступили решающие дни.

Перед последним выходом в море рыбаки сушили сети на берегу. Сейчас капрон, не гниет, не рвется, а тогда сети были, просто сказать, веревочные, смоли да суши. Развешат рыбаки их по берегу на кольях, как хозяйки белье, на всю ночь, под ветерок, и идут спать до утра.

Приходят утром дед Тимка и дядя Миша снимать сети, а они все порезанные... Вдоль и поперек... И все ушли на рассвете в море, а дед Тимка и дядя Миша остались со своими молчаливыми рыбаками чинить сети, и Рачок перед тем, как отчалить, долго ходил удрученным шагом вокруг попорченных сетей и сочувствовал, хлопая себя клешнями по бокам, и все рыл в расстройстве песок и гальку носками сапог.

Никогда бы не узнали, кто погромсал сети и по-



чему Рачок так ковырял пляж ногами, если бы один рыбак не нашел в песке нож с именной ручкой. Нож этот все знали, он тоже был премией от самого Рыбколхозсоюза. Значит, обронил его хозяин ночью, а спичку зажечь, чтоб поискать, не посмел, поостерегся.

Приезжал следователь. Рачок всем грозил. И следователю тоже. Но тот попался не пентюх. Раньше установил, что нож у Рачка перед тем видали в руках. Он им хлеб резал на сейнере. В щелях ножевой рукоятки и крошки хлеба нашли и ниточки от сетей. Положил все это следователь перед Рачком, а он кричит, что нож у него украли. Ну, тогда пришлось еще сказать, что след совпадает. Рачок смеется: он все утро по пляжу топтался, там его следов да следов... А следователь кивает головой, мол, верно, но утром в сапогах, а ночью в старых галошах. Вот след, а вот галоши, их нашли за огородной ботвой в усадьбе Рачка. Пожалел Рачок старые галоши, далеко не выбросил.

И как замолчал Рачок, так и до сих пор молчит, доброго совета никому никогда не даст, не то что дед Тимка. Да Рачка и не видно на людях, как неживого, и люди простить ему содеянного не могут и до сих пор при случае зовут «ударником». В насмешку, конечно... С горечью...

— Еще один «ударник»! — прорычал на Сашку Горбов.

— Ударник, маяк, мастер лова, мастер — золотые руки, — зло заулыбался Сашка. — Знатный рыбак, передовик, отличник, ориентир... Заслуженный, лучший, начинатель, продолжатель, герой... Глаза разбегаются!

— Не порочь! — брякнул кулаком по столу Горбов.

— Не хочу я быть ударником.

— А кем же ты хочешь быть?

— А никем! Просто Сашкой Таранцом. Мало? Без всякой добавки. За добавку люди грызутся. А я хочу быть честным человеком. Нельзя?

— Так ударники — это самые честные люди! — тихо сказал Илья Захарыч. — Кого обманул дед Тимка за всю свою жизнь? Звания тебе мешают, в глазах рябит? Закрой глаза, подумай о себе! Вот такие и порочат добрые звания. Дорастаи до деда Тимки! Герой! — И еще трахнул кулаком по столу, а жена проворчала:

— Детей побудите. Ироды!

У его жены, Горбихи, голос был такой, что она могла бы, когда пред уходит в море, разговаривать с ним без радио.

— Как ты дошел до жизни такой? — спросил Горбов.

— Киношники сбили с панталыку, — пожаловался Сашка.

— Ну да, — покачал головой Илья Захарыч. — Все вокруг виноваты, а ты нет.

— Зачем? — спросил Сашка и отвел рукой чуб со лба, чтобы не прятать глаза. — Я само собой... Не устоял... Неустойчивый элемент...

Он снял кепку со своей колени и стал натягивать на голову. Он все сказал. Ему осталось ждать приговора. Верхняя губа у него была мокрая, и он вытер холодноватый пот ладонью, поведив ею, как после хорошей еды, туда и сюда. И встал.

— Сядь, — попросил Илья Захарыч.

Ну, что этому человеку до всех до нас, как подумаешь? Немолодой. Спал бы сейчас, как всякий примитивный отец семейства. А сиди и суди. И утром жена задаст. Всему Аю известно, что жена грозит разойтись с Ильей Захарычем с той самой поры, как он стал председателем, а он у нас председатель уж

никто и не помнит, сколько лет. Мы при нем выросли...

Он сплел короткие пальцы, положил расставленные локти на стол и долго думал, покачиваясь и помахивая, если не считать невнятных звуков, доносившихся через ноздри из самого нутра.

— Завтра снимешься для кино со своей прекрасной селедкой, и пусть уезжают восвояси, — сказал пред, перестав качаться и вприщур уставясь на Сашку.

— Кто? — не понял Сашка.

— Ну, эти... Подстрекатели, — ехидно напомнил Горбов.

Сашка замотал головой раньше, чем сказать:

— Что вы, Илья Захарыч!

— Колхоз не переживет такого позора. Срам на все море. Кино!.. Ладно. Ты сказал — я запомню. Я тебя не прощаю, Сашка. — И Горбов погрозил ему пальцем через стол. — Я с тебя глаз не спущу... Но я верю. Сам сказал... Значит, ты в душе патриот.

— Не буду я сниматься! — крикнул Сашка, забыв о жене преда.

— Я открою на вас огнетушитель, — пригрозила она.

— Мне тебя жалко, — сознался Илья Захарыч, прижав пальцы к губам, приказывая Сашке, чтобы он говорил потише. — Ты ж Рачок номер два. Шкурник! Всех обманул. А народ теперь на всякую ложь зубы наострил... Гам! И конец тебе. А ты молодой.

— Это точно. — Сашка страдальчески поерзал на стуле.

— А я тебя от людей защитить не могу, — прибавил Горбов. — Демократия!

— Выходит, демократия — это плохо? — спросил Сашка и полез за сигаретой.

Пачка у него оказалась пустая. Илья Захарыч на цыпочках ушел в комнату и под вздохи жены вынес табак и бумажку. Это позволило ему избежать ответа на вопрос о демократии. Когда он вернулся, на веранде никого не было.

## 12

Утром какая-то птица под окном забулькала громко, будто набрала воды прополоснуть горло перед тем, как взять лучшую ноту в жизни. На улице появился первый пьяный, закричал:

— Где жених?

И ребром встал вопрос о свадьбе, поскольку гости потеряли субботу, сегодня воскресенье, а завтра тяжелый день: каждому надо быть на своем месте. Дом Кирюхи напротив Горбова, и Илья Захарыч слышал, как у калитки рассуждали:

— Или с утра гулять, пока не разъехались, или уезжать, не гулявши.

Пьяных было двое. И, как все пьяные, они уже философствовали.

Выйдя из дома, пред хотел незамеченным прошмыгнуть к причалу. Задворками. Посмотреть, пришел ли Сашка сниматься в кино. За плетнем двор Алены, а там, перед калиткой, прыгали мальчишки и пели:

Тили-тили тесто,  
Жених и невеста!  
Тесто засохло,  
А невеста сдохла!

Пожалуйста, тоже ведь — ходили в детский сад, построенный на колхозные средства, и росли не как трава, а под руководством образованной воспита-



тельницы. Горбов крался вдоль забора, когда в спину ему попало жалостливое:

— Председатель.

И он вздохнул. Это мать Алены. Работай в Аю церковь, ей бы со свечой стоять, мухи не обидит, но сама пристанет хуже мухи.

— Второй день пироги сохнут, гусей резать, не резать — никто не говорит. Это ж надо!.. Восемнадцать лет дочь растила, все есть — и гуси, и гости, а свадьбу играть нельзя. Часу нет. Я водку на вишне насталя.

— Пей на здоровье.

— Да разве я для себя? Хочешь попробовать?

— Некогда.

— Вот-вот. А гостю есть когда? Гость у нас приезжий, занятой, не тунеядец. Гуси в загородке сидят. Резать — не резать?

Перепрыгивая в лад с Ильей Захарычем через бороздки от осенних дождевых ручьев, которыми изрыты наши улицы, мать Алены не отставала.

— Чего ты от меня хочешь? — спросил Горбов.

— Я хочу положительного результата. Резать?

— Пусть побегают. Сейчас самое важное — кино.

— А к нам никакого внимания?

— На внимание тоже существует длинная очередь.

— Жизнь наша все лучше и лучше, — сказала она застенчиво, — а ты, Илья Захарыч, все хуже и хуже.

— Ну? режь! — крикнул он, подставив грудь, слово предлагал себя вместо гуся. — Режь!

— Зачем? — пожаловалась она, печально глядя на Илью Захарыча. — Девка наша ума лишилась. Требуется от Кири — снимайся. Горбов, говорит, велел. Не снимется, говорит, я и за стол не сяду. Гордыня ее заела. Это ж надо!

— А Кири?

— Подчиняется. Рукой махнул. Дружки его с утра на берегу сидят. Какая же без них свадьба?

— Это ж надо, — ее словами удивился Горбов. — Аленка — такой сморчок, а Кирию с головой проглотила.

— Девушка как девушка, — защитила Алену мать. — Не хуже других. Скромная, невинная, это вы ей мозги замутили.

— Кто мы? — заорал Горбов, привыкший, что его всегда называли на «ты», попросту.

— Ты со своими киноаппаратурами, — пояснила женщина, без смущения переиначив слово.

— Для вас! Для вас же стараюсь! — наступая на собеседницу, как грузовик на цыпленка, повторил Горбов.

— А ты не старайся. Тебе легче, и нам лучше.

— С дороги! — крикнул Горбов, понимая, что не сможет остановиться.

— Отмени кино.

— Сейчас прямо, — с издевкой пообещал Горбов. — Нет, теперь вы хоть все подряд встаньте под венец, а съемки не отменю.

— Души в тебе нет, — смиренно вздохнула мать Алены. — Напишу я на тебя в стенгазету. — И, когда он обошел ее, слегка отодвинув рукой, она оглянулась и первый раз за всю свою немаленькую жизнь крикнула: — Дождешься!

Он стерпел. Ему было всего важнее увидеть сейчас на причале Сашку в полной готовности соответствовать моменту, который тоже требовалось стерпеть и пережить для спасения молодого бригадира и чести колхоза. Он так нервничал и так спешил, что задохнулся, остановился на ступенчатой улице, сбегающей к морю, и увидел, что Сашки на причале нет. Возле «Ястреба», на котором кисла царица-

сельдь (протухнет рыба — еще одно преступление), толклись ребята в резиновых сапогах и робах, будто не было ни воскресенья, ни свадьбы, а на досках, привезенных «Курортстроем» для пляжного тента, сидели Гена Кайранский с сигаретой на губе и Сима, кидавший в воду плоские галечки. Алик бегал по причалу, сунув руки в карманы. Ван Ваныч смотрел на Горбова в бинокль.

— Вас будут судить, — сразу взорвался Алик, едва Горбов подошел. — От человека остался один бинокль, а вы не принимаете никаких мер. Как вы думаете, он живой или нет? Может, утонул?

— Думаю, живой, — сказал Горбов, смекая, что бегать за Сашкой, упрашивать, подлеца, чтобы снялся в кино, — это уже слишком. — Он боится сниматься. Очень робкий характер. Страх берет.

— Это случается, — сказал Сима. — У профессионалов перед камерой и то бывает столбняк.

Такой длинной фразы он еще не говорил, и на него все поглядели.

— Что же будет? — беспомощно спросил Ван Ваныч.

— Свадьба.

— Свадьба? — Алик даже взялся за горло, зажав в ладони злой кадык, как будто его звериная беготня вверх-вниз мешала ему. — Свадьба? Свадьба?

— Свадьба, — улыбаясь, повторил Горбов.

— Когда мы ничего не сняли? Когда... рыба в трюме? — Алик слабо развел руками. — Нет, вы себя уважаете?

— К чему такой аполексический испуг? — душевно спросил Илья Захарыч, умевший в разговоре вдруг подпустить словцо. — Да вы хоть раз веселились от души? Чтобы забыть, зачем приехали и как друг друга зовут? Во всю ивановскую!

— А потом как вспомнишь!.. — сказал Ван Ваныч.

— Выпьем, — пошатал его за плечо Горбов, — и Сашка храбрее станет.

Сима перестал бросать камешки и поднялся.

— Прямой смысл.

За ним вскочил и Кайранский.

— Хоть посмотрим, как люди живут.

— Кузя! — не давая Алику возразить, крикнул Илья Захарыч. — А ну!

Кузя-второй, по случаю воскресенья державший почту закрытой (у нас ведь не город), схватился за руль мотоцикла, а Горбов топнул ногой и сказал:

— Объявляй свадьбу!

## 13

**М**узыка гремит. Во дворе Алены аютинские девчата и парни на потеху старикам выкручивают ногами модный танец — твист. Не подумайте, что новинка проникла к нам из военного санатория «Чайка», который сиротливо белеет за Медведем и куда девчата бегают, отговариваясь, будто там всегда свежие фильмы. И не из дома отдыха учителей, спрятавшегося за Медвежонком, где своих дам большой перебор, почему танцев бывает мало.

Нет, совсем не там рассадник этой ритмической лихорадки с телодвижениями, над которыми старушки и старики животики рвут. Баццлла нашего места — Марконя. Он, поднапрягшись (как умственно, так и материально), потел, потел и соорудил магнитофон, прозванный им лично «Сборная солянка». Радиоприемник для Маркони — пройденный этап. Эфир принес нам музыку века, в том числе и эту. Так бурное развитие техники, помноженное на талант народного

умельца, привело к тому, что молодежь далекого поселка крутит твист, еще раз доказывая этим минутом бесспорно положительного технического прогресса могучий философский тезис единства противоположностей.

Но молодежь об этом не думает. Она сейчас просто веселится. Во всю ивановскую.

Гена Кайранский стреляет самосад у деда Тимки и крепко обнимает старика. Гена спешит побольше впитать в себя впечатлений и спрашивает:

— Тимофей Филиппович, а это кто? Вы ведь всех знаете с детства. Вон тот, с бородой, с трубкой.

— Хороший мужик, — отвечает дед Тимка, не зная, как отвязаться от гостя, потому что ему хочется запеть рыбацкую песню. — Честный. Пьет мало.

— Ну, а тот, который сейчас наливает председателю? В беретке.

— Ничего плохого сказать не могу. Пьет мало.

— А этот, что ногой топает? Ему нравится, как танцуют. Все время смеется.

— Варвара! — кричит дед Тимка пламенно-краснощечкой женщине, маня ее пальцем к себе, и она вылезает, долго освобождая из-под стола толстые ноги, и подходит к нему, хрустя яблоком.

— Ау, дед Тим?

— Твой бросил пить?

— Бросил, дед Тим.

— Надолго?

— Кто знает. Думаю, сегодня нарушит, — беззлобно говорит она.

— Хороший мужик, — заключает дед Тимка, вырываясь из объятий Гены.

— Горько! — между тем кричит свадьба.

Кириуха наклоняется, выгибаясь колесом, и заглядывает в потупленные глаза Алены. Репродуктор на столбе устало вздыхает, и в это время дед Тимка, вытерев мокрые от вина двухцветные усы, затыкает с дрожью в сердце:

Не надейся рыбак на погоду.

А надейся на парус тугой.

И все те, что теснятся за столами, что танцевали до седьмого пота, а теперь стоят и обвеиваются кофточками и рубашками на груди, подхватывают песню.

На столах — нельзя пальцем ткнуть, чтобы не задеть вареную и жареную закуску, домашнюю колбасу и рыбу во всех видах, кроме консервированной, и — особый шик — печеную картошку для любителей (ведь картошка привозная, она у нас не растет, а вот красуется в мундире, в блесках соли, как в орденах, — ее вымыли, осололи крупно да и в духовку). Еще — чего тут только нет! — помидоры, баклажаны, перец, соленые огурцы, капуста и яблоки, сбереженные в погребе для этого дня, и отоготовившие наконец свое гуси. А столы вынесены прямо во двор, под небо, под солнце, дробящееся в бутылках. Ну в каком доме усадить столько народу? В каких стенах он так развеселится?

Хорошо гулять свадьбы на воздухе. Что-то в этом есть от самой природы, от земли, такое, что она, грешная, оборачивается святой. Что-то есть неограниченное в дружбе, собравшей людей, когда не гадают на пальцах, кого звать, кого нет. Не хочешь пожелать счастья Алене с Кириухой, гуляй мимо. А хочешь — заходи! Танцуй как умеешь или просто хлопай в ладоши.

И вдруг раздается вопль Алики:

— Стой!

Во двор медленно вшагивает Сашка. Смоченные его волосы старательно заведены ладонью набок и

лежат, как прилизанные. На плечах внакидку пиджак с разрезиком, а под пиджаком белая рубашка с голубым галстуком «за мир и дружбу», по которому летит голубок. Брюки пять минут назад из-под утюга, словно металлические, и рубцы на них, как форштевни, хоть волну режь. А шкарбаны (ботинки) не первый сорт, но надраены будь здоров.

— Стой! — разрывается счастливый Алик, воздев тонкие руки к небу.

Ван Ваныч бежит к Сашке ощупать, не видение ли это, трясет его и кричит, не отпуская:

— Теперь вы от нас не убежите. Шалишь. Дудки! — и держит, как арестованного.

— На съемку! — командует Алик, а во дворе устанавливается неловкая тишина, как будто все провинились, что затеяли свадьбу, и, как Сашка, схвачены на месте преступления. — Сима!

Сима только что демонстрировал девушкам усложненные па твиста и замечает невпопад:

— Толковые девчата!

— На сейнер! — взвизгивает Алик. — Всем участникам переодеться в робы!

Но тут Илья, Захарыч, багровый, как повар у плиты, подходит к нему, кладет тяжелую рученьку на плечо и просит:

— Садись, режиссер, к столу. Будем гулять.

— А картина?

— Садись, режиссер! Выпей!

Со всех сторон летят добрые, но неуступчивые голоса, и они сбивают Алику с толку.

— Кто согласен сниматься?

Глаза Алики ищут помощи. Он находит Гену и почти официально обращается к нему:

— Кайранский!

— Брось ты! — уговаривает его тот. — Выпей за молодых!

— Я не пью, — страдальчески язвит Алик. — Мне снимать надо!

А Горбов вручает ему рюмочку, чокается и говорит:

— Ваше здоровье.

— Объясните мне, что... почему? — умоляет Алик.

— Свадьба, — отвечает ему Горбов. — Она гулять хочет.

— Кино много, а свадьба одна, — как боляного, ласково поглаживает режиссера по плечу мать Алены. — Танцуй! Ля-ля-ля, ля-ля-ля!

Да, свадьба — это свадьба.

— Свет уйдет, все пропало, — чуть не плачет от обиды Алик. — Ван Ваныч!

А что Ван Ваныч? Он усталый на Сашку, которого все еще держит за руку.

— Вы хотите сниматься, герой?

Сашка легко освобождает свою руку и приглашает и так гладкие волосы.

— Я плясать пришел.

— С кем? — в растерянности спрашивает Ван Ваныч.

А Сашка смотрит на Тоню и отвечает:

— С ней.

## 14

Самый верный его друг Марконя, несущий вахту у «Сборной солянки», включает «цыганочку» так, что вздрагивает репродуктор. Сашка топает шкарбаном о землю, а девчата выталкивают Тоню в освободившийся круг.

На Тоне цветастое платье то ли в крупных листьях, то ли просто в абстрактных пятнах (ни цветочка, ни

ягодки), но вся она цветет и обтянута сверху под статутку, только она живая, и короткая юбочка врасплеск чуть причет голые коленки.

Тоня небрежно обдергивает у пояса свое платье и выходит, пожимая лопатками, словно её что-то давит, что-то неудобно. Руки ее остаются на поясе. Сашка бьет о землю вторым шкарбаном, проверяя, а прочно ли держится под ним земля, а Тоня вскидывает голову, и грудь ее приподнимается так, что на Сашкиных глазах в вырезе ее платья пролегает глубокий желобок острым кончиком вниз, но она не дает присмотреться, она кидается в пляску, как в воду падает.

И летят вокруг брызги. Брызги дробного перестука Сашкиных шкарбанов, быстрых отсветов от щек, от глаз, от пальцев, даже от коленок, рвущихся из-под платья, от бус, завертевшихся на Тониной шее.

— Вы такую девушку видали? — спрашивает дед Тимка Гену Кайранского, который сидит с приоткрытым ртом.

— Честно?

— Ну, а как еще? — смеется довольный дед Тимка. — У нас тут все честно.

— Нет, не видал.

— И не увидишь, — по-свойски говорит дед Тимка. — Еще одна свадьба на носу. Допляшутся!

Он наливают в рюмки, а сам смотрит на Тоню и Сашку, которых кружат и несут смерчи «цыганочки». Гена, забыв о потухшей сигарете на губе, отбивает такт ладонями, и вся свадьба хлопает в такт пляске.

— Ля-ля-ля!

Сашка хочет глянуть Тоне в глаза, он подступает поближе, но она отворачивается и обходит его, лицо ее неприступно, губы сжаты, и брови стиснуты, и Сашка восклицает:

— Эх, Тоня!

«Эх!» — это Тонино любимое словечко. «Эх, девочки!» — говорит она. «Эх, пьяный дурак!» — сказала Сашке, когда он первый раз предложил руку и сердце на всю жизнь, зарядившись для храбрости. «Эх!» — вырвется у нее иной раз так, неизвестно о чем. Но слышно, что всегда за этим какая-то заманчивая мечта, да вот только не получается... А лихо бы! Две буквы, междометие, но с большим смыслом.

Сашка рассыпает по коленкам оглушительную, отчаянную трещотку — сейчас ключья от штанов полетят, лупит ладонью по одной подметке, по второй, вгоняет гвозди на ходу, чтобы подметки не отлетели, держались крепче, и повторяет:

— Эх, Тоня!

Губы ее трогают улыбка. Взблескивает в глазах короче, чем на миг, и тотчас же подавливается величавой, как для танца от века полагается, каменной волей. А тут еще коса оплетает лицо, закрывает ее губы, и уже не поймешь, улыбалась она или только померещилось. Плохо Сашке, свирепо плохо, по глазам видать, темным, как ямы со стоячей водой, — у него остановившиеся глаза убийцы, но никто этого не видит. Все бьют в ладоши и подтопывают ногами: ля-ля-ля!

Хоть бы капельку оттаяла в Тоне вчерашняя обида. А то Сашка землю ногой проломит.

— Эх!

Тоня отбрасывает косу за плечо, дует на прядки, соскочившие с головы, и спрашивает, танцую:

— Заэхал! С чего это?

И опять дует на прядки, щекочущие глаза.

— Скажу — не поверишь, — танцуя, отвечает Сашка.

— Поверю, — неожиданно улыбается Тоня широко, заметно.

И Сашка отвечает ей улыбкой во весь рот.

А свадьба, глядя на их улыбки, сразу хлопает звонче и тоже улыбается.

— Сейчас скажу.

— Ну? — крутятся, приближается к нему Тоня.

— Я ведь обманул, — успевает сказать Сашка, пока она не отскочила.

— Кого? — спрашивает она, подпрыгнув.

Она теперь перестала вертеться и, сверкая голыми жжеными коленками (и сейчас солнце, а летом, знаете, какое!), прыгает вперед и назад. И Сашка прыгает то к ней, то от нее, как в пляске «А мы просо сеяли», и твердит весело:

— Всех сразу. Всех!

— Не понимаю, — запыхавшись, бросает Тоня и трясет головой, все еще машинально улыбаясь.

— Мне Саенко рыбу показал, — объясняет Сашка, сияя. — Для всех. А я один взял. Поняла? Как Рачок.

Кажется, замерев, Тоня сейчас забудет о пляске. Но она прыгает, не опуская рук с пояса, и губы ее растягиваются все шире и приоткрываются все больше, и зубы блещут.

— Врешь! — смеется она.

— Как Рачок, — повторяет Сашка. — Точно.

А Тоня останавливается и качает бедрами, и головой, и всем телом. Тоня думает.

— Еще хуже, — шепчет она, глядя в белый свет мимо Сашки, хотя он и крутится перед ней.

— Ага, — кивает он своей зализанной башкой, та-рахтя вокруг Тони каблучками, потому что уже больше невозможно скакать взад-вперед. — Рачок двух обидел, а я всех сразу. Он две сети резанул, а я...

— Та-ра-ра-ра-ля! — орет свадьба.

— Сниматься захотелось? — спрашивает Тоня.

— Ну да.

Хотел сказать, из-за тебя. Хорошо, не сказал. Уберется.

— И снялся бы! — смеется Тоня, сверкая зубами, непонятно, понарошку или всерьез смеется. — Эх, Сашка! Не пошел бы в море. И все!

— Интересно. Сама же пожелала мне успеха.

— Ну и что ж! А ты не пошел бы!

— Нет Сашки!

— Эх, Сашка!

— Скажи, Тоня. Скажи всем! — внезапно требует Сашка, вертась вокруг нее и вокруг собственной оси, как земля вокруг солнца.

Горбов трясет за плечо Ван Ваныча и торопит:

— Как пляшут! Знатный бригадир с рыбосолкой. Снимайте, снимайте... Она девушка хорошая... Стенгазету делала...

Он лобуетя Тоней и Сашкой и думает, что по молодости Сашка, конечно, согрешил, но его придется простить. Для Тони, наконец. Ведь чего, если спросить, хочет в итоге всех своих мук пред Горбов? Чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы. И только.

— Снимайте, черти!

— Лимит! — невозмутимо отвечает Ван Ваныч, по-лосу себя по горлу свободной рукой.

— Что? — недоумевает Илья Захарыч.

— Лимит! Пленочка...

— Для рыбы?

— А как же! Народу интересно, как вы ее ловите.

— На рыбу есть, а на танцы нет? — Илья Захарыч отталкивает от себя Ван Ваныча.

— Алик! — снисходительно зовет Ван Ваныч режиссера, который, скучая, сидит за углом стола. —

Скажи Симе, пусть возьмет их на мушку... Я прибавлю пленки. Коротенько.

Он слегка во хмелю и поэтому добрый. Тоже, правда, слегка.

— Пусть возьмет, — безучастно соглашается Алик. — Сима! Крутани. Для стыка.

Для стыка — это значит необязательное, неглавное, это проходная сцена. Монтажный переход...

Сима заводит аппарат, как будильник, и трещит, и пляшущие фигуры Тони и Сашки навсегда летят в камеру. Эх, если бы еще поймать их слова, рождающиеся сквозь обманчивые улыбки.

— А тебя-то записали в скромники. Сниматься не хочет. Подумать, а!

— Скажи им, Тоня, — топчась, продолжает умолять Сашка. — Будь другом, скажи. Ну что тебе стоит?

— Дурак ты! — в крутом повороте выпаливает Тоня. — Сам скажи.

А Сашка озверело лупит себя, как бы в наказание, по груди и по ногам.

— Я сам не скажу.

— Живи так! — пожимает плечами Тоня, и тут пленка (магнитофонная) кончается, и Тоня выходит из танца, обмахиваясь и улыбаясь, а Сашка крутит рукой над головой, словно гоняет голубей, и кричит Марконе, чтобы он повторил.

— Мало!

Может, это его единственный и последний танец с Тоней. Так натанцеваться хоть на чужой свадьбе. Завтра он будет ходить по Аю, как Рачок. Прокаженный. Повторить бы не танец, а вчерашний день. Вот бы как это было... Он бы созвал все суда, все сейнеры со всего моря — пусть гости снимают, как ловят рыбу рыбаки, если это интересно народу. Но вчерашний день — это вчерашний день. Не повторить...

Каждый день уходит в безбрежное море времени, как волна, не возвращаясь. Подбежит волна, но это уже другая, той не будет.

С визгом перемоталась пленка на «Сборной солянке», послушной рукам только одного человека на свете, своего создателя Маркони. И опять ударили гитары из какого-то старого кинофильма свое «та-ра-ра-ля», а Сашка повел глазами и не увидел Тони, потому что Тоня убежала за Аленин дом и там плакала наскоро, вытираясь пальцами и платочком, чтобы не навлечь подозрений. Но платочка на слезы не хватило, и она пошла, пошла, перелезла через пролом в заборе на пути (у нас заборы в большинстве случаев каменные с проломами для соседского общения) и ушла, сама не зная зачем. Ушла Тоня со свадьбы.

— Славка, — между тем крикнул молодой бригадир, — выходи!

Славка большими пятернями зачесал назад свои густые, как швабра, кудри, рукава его белой нейлоновой рубашки сползли чуть ли не до локтей, обнажив кованые руки, все в якорях, и вдруг он хлопнул над собой в ладоши так, что у Симы зазвенело в ушах, и Сима положил камеру на табурет и стал дырять пальцами уши, а Славка уже теснил бригадира по кругу. Знал бы он, зачем его вызвал бригадир! Сашка опять танцевал и говорил. А когда они натапались и обстучали себя и Славка первым из бригады узнал все, он сказал:

— Это надо обдумать, — и выдал еще одну трещотку с головы до пят и крикнул: — Кузя! Поддержи бригадира, а то скovyрнется! Гляди, как шатается!

Это, конечно, касалось Кузи-первого. Для Кузи-второго Сашка не бригадир. Для него бригадир — телефонная трубка, почтовая марка. Он скромно

подпирает дом, стоит себе, ковыряя стену каблук согнутой ноги, и не натруженные интеллигентной работой руки держит за спиной. Кузя-второй всегда вот так в сторонке терпеливо помалкивает. Даже Илья Захарыч на больших неорганизованных молодежных сходках ставит его в пример.

— Кышь, кышь! Не галдите! — кричит он. — Посмотрите на Кузя-второго. Молчит, а вы га-га-га, га-га-га! Как гуси!

Сегодня Кузя-второй особенно грустен, по причине, о которой никто никогда не догадается, и прежде всего счастливая Алена.

— Посмотри, Аленка, а Кузя-то второй какой симпатичный!

— Кузя! Ты, правда, симпатичный.

— Поздравляю тебя, Алена.

— Спасибо, Кузя.

И промелькнули. Бывшая невеста, а теперь законная жена Кирюхи Алена и радистка Зиночка, которая тонкая, звонкая и прозрачная. Бегали в дом, навстречу подарки рассматривали. Кирюха туфли на шпильках купил, каждая шпилька с авторучку, а ведь все равно ему Алена до плеча не достанет, да у нас в таких туфлях и не прогуляешься по нашей галечке. Но что с него взять? Молодой муж! Муж...

«Какой Кузя-то второй симпатичный!» Вы слышали?

А что? Одет в польский пиджачок из твида, галстучек завязан в узелок не с кулак, ну, курносый чуть больше меры, ну, конопатенький, ну, там непослушная шевелюра, с торчком на затылке да еще цвета спелой ржи, в общем, рыжеватая, рыжая, но ведь он, Кузя, в этом не виноват. А так просто, если даже со стороны посмотреть, симпатичный. Права Зиночка, честное слово!

Но оставим этого Кузя. В кругу уже бухает ногами его старший брат, его тезка под номером один, трясет щеками, до того любит потанцевать, хоть хлебом не корми, но и про хлеб он не забывает, а мама ему еще и пирожки дает.

— Да-а-а, — тянет Кузя-первый, узнав от Славки новость про Саенку и бригадира. — А я пирожок трескал и картинки смотрел. Я не видел никакого выпела.

— А самолет видел? — усмехается Сашка, хотя на душе все тяжелей.

— Самолет?

— Он требует, чтобы мы за него всем сказали, — выдыхает Славка, отплясывая.

— Псих, — решительно рубит Кузя-первый. — Ну, псих!

На него находит такая решимость, как в тот момент, когда он сказал матери, что с корабля не уйдет. За эту самую решимость Кузя-второй, между прочим, и любит Первого.

— Зови ребят, — не сдается Кузе-первому Сашка. — Это дело всем надо решать. Два друга не суд.

И вот, кого хлопнув по плечу, кого схватив за грудки, за полминуты Кузя-первый со Славкой вытаскивают в круг всех уже хлебнувших рыбаков со своего «Ястреба», и двенадцать пар ног, двадцать четыре шкарбана разных размеров, утаптывают двор молодоженов так, что на нем, наверно, дикой траве не расти.

Это ловко он сообразил, Сашка. Не зря бригадир. Уйди ребята совещаться куда-нибудь, отделись сейчас от свадьбы, пошли бы расспросы, что за тайны, какая повестка и прочее. Закрытые собрания не свадебное мероприятие. А так — пляшут. Пляшут люди. И все.

— Сима! — кричит оператору наблюдательный Генка Кайранский. — Сима! Вся бригада пляшет! Си...



— Неубедительный кадр,— раздраженно перебивает его Алик.— Скажут, подстроили. Наверняка.

А ребята пылят праздничной обувью и выясняют отношения.

— Дали тебе первый раз в жизни сейнер, Сашка!..

— По морде ему дать.

— Ну, дай, дай! Спасибо скажу.

— Дадут еще, не проси.

— Какие будут предложения?

Некоторое время разговаривают только ногами. В лад и не в лад.

— Славка! Ты звал.

— Я молчу.

— Как это понимать?

— Это? — спрашивает Славка.— А вы посмотрите на жениха с невестой, на Кирюху с Аленой. Посмотрите, какие они. Они не для того сели рядом, чтобы такое слушать.

И, отталкивая свои колени, лезущие под руки, как мячи, он пошел вокруг всей бригады, мимо Алены с Кирюхой и запел:

У Яны и Яночка  
Родилась Цыганочка,  
Над Яном с Яною трава,  
А Цыганочка жива!

— А рыба преет,— замечает один из пляшущих, самый серьезный в бригаде.— У нас ее и не примут. Весть день мыкались, тархтели-бархтели, а рубля не получим.

— Заткнись, Копейка!

— Еще поймаем,— отсекает и Славка.— Рыбы полное море, а их двое. Хотите людям свадьбу испортить? Попробуйте!

— Что же мне делать? — спрашивает Сашка, весь в поту.

— Снимешься. Не забудет!

Бросив фразу через плечо, Славка, глазастый и губастый, обводит свадьбу сияющим взглядом и продолжает:

А вот Кирилл с Аленой,  
У них сердца влюбленные,  
И любви их нет конца.  
Ламца-дрица-оп-ца-ца!

Рассыпает топот праздничных подошв Славка, заглушая говор за спиной. Привстав, Кирюха поднимает полный стакан.

— Сла-авка!

И плещет вино на Славку-песенника. Где пьют, там и льют. По-русски. Вина у нас в избытке. Все Аю в винограде, летом домов не видно, виноградный плен.

Сухого закона нет. Сухое вино имеется.

— Сволочи вы,— неожиданно заключает Сашка, ударяя ногами из последних сил.

Ребята, показавшие себе такими хорошими, загалдели. Заходили ходуном лопатки, смешались голоса, пока не вторгся в эту разноголосицу властный окрик:

— Как гуси!

В их кругу, оказывается, толокся уже сам пред, молотил себя ладонями по груди, больше в правую половину, потому что слева — старое сердце.

— Устроили собрание? — спросил Горбов.

— Да,— сказал Сашка.

— Что решили?

— Не волнуйтесь... Поддержали вас... Исключительно...

— Молодцы,— успокоенно вздохнул Илья Захарыч и сбавил темп, пошел через такт, а ребята от-

плясывали с прежней резвостью.— Наказание мы тебе придумаем. Дай только этому кино уехать.

— Тогда поздно наказывать, тогда его славить будут, а мы и рубля не заработаем. Тархтели-бархтели...

— Рыбу примут. Я велю.

— Спасибо, конечно,— сказал Сашка и поклонился Илье Захарычу.

— Вот так живут простые советские люди,— пошутил Славка.

Танец кончен. Сашка, прыгавший больше всех, устало идет из круга. Разбредаются, насупясь, и ребята, а Горбов дубасит один планету, и со всех сторон, как говорится, гремят аплодисменты, переходящие в овацию. Уже не в лад с танцем. А в его честь.

— Всех переплясал пред!

— Старый конь.

Так приятно Илье Захарычу слушать приветливые голоса односельчан.

Он догоняет и обнимает Сашку, будто хочет опереться на плечо, потому что запыхался, да и в самом деле запыхался, он идет, покашливая, мутными от вина глазами смеется людям, а Сашке говорит с тихой грустью:

— Я тебя не насиую. Если ты храбрый, скажи народу. Хотя сейчас. Пожалуйста.

Сашка закрывает глаза так крепко, как их закрывают в детстве, когда хотят спрятаться, а когда открывает, то видит Марконю на подоконнике. Марконя сидит на посту, закинув ногу на ногу. Марконя не танцевал, и Сашка подходит, вытирает капельки пота на лбу и говорит с последней надеждой:

— Марконя... Друг! Вчера с этой рыбой...

— А я знаю...— отвечает Марконя и вытаскивает из кармана своих дудочек записку летчика Саенко.— Ты в радиорубке забыл, а я спрятал. Вещественное доказательство.

— Значит, ты и вчера знал? И молчал? — разъяряется Сашка.

— Не шуми,— останавливает его Марконя.— Просто я стеснялся... говорить.

— А спрятал зачем? Приберег на всякий случай?

— Пожалуйста,— говорит Марконя, зажигает спичку и подносит к записке. И бумажка, которая совершила путь с самолета в воду, из воды на корабль, с корабля на берег, сразу обнимается пыльным огнем, чтобы превратиться в другой вид материи, не видимый простым глазом.

— Прости, Марконя,— говорит Сашка.— Решено молчать, Марконя... Ради свадьбы... Не для меня, а для Алены с Кирей...

— Да здравствует дружба! — говорит Марконя и выключает магнитофон.

Так закончилось первое в мире собрание, которое проходило в ритме «цыганочки».

— Марконя! — громко напомнил Славка.— Давай!

— Танго,— сказал Марконя, пуская свою «со-лянку».

Репродуктор на столбе снова вздрогнул. Ударил литавры.

## 15

**А**лена, конечно, счастливая. Пройдет год, пройдет жизнь, а она будет вспоминать этот день. Жили врозь: Кирюха на одной, она на другой улице, под разными крышами,— и вдруг вместе. Значит, выросла ты, Алена, отзвенели и детские погремушки и школьный звонок, но долго еще бить колоко-



лу на «Ястребе» и на других кораблях, где плавать Кирюхе, и белугой реветь береговым ревунам в тумане, зовя корабли к земле, домой.

Как она сложится, эта долгая жизнь, сейчас и не думается, сейчас хватает счастья первого дня, до краев, с переплеском, а вперед даже на ночь заглянуть боязно... Пусть гости не расходятся, пусть свадьба не кончается...

Раньше подруги невесту наряжали, песни пели, а невеста плакала. Мама рассказывала... Ее наряжали...

Подумала и забыла. Нашла Кирину руку под столом, пожалала. Киря потерял подбородком о ее плечо, шепнул что-то на ухо — не расслышала. Знает, что хорошее...

Пойдут у них Кириллычи. Как все просто! А уже болит за них душа. Чтобы были самые красивые, самые добрые, самые сильные, самые честные... Глядите, Кириллычи! Солнце вам светить будет так же, а жить вы должны лучше, иначе зачем же мы жили? Зачем живут Алена с Кириллом? Говорят, жизнь — загадка, которую не разгадаешь, пока не проживешь. Тем-то и жить интересно. Но зачем же всем снова старые загадки разгадывать, когда новых тьма? Вон уже куда летают... Алена хочет счастья Кириллычам и чувствует, что сделает для этого все... А что? Ну, рыбу будет солить, план перевыполнять. Кирюхе рубашки штопать, стирать да гладить? Мало, мелко. Хочется Алене переделать мир. Проснуться с Кириллычами, а мир — без обмана, люди и забыли, что это такое. И без кулака. Никогда детей бить не даст.

Мир будет как новенький... Хорошо Кириллычам, да с чего Алене начать? Как все не просто.

С себя. «Я буду добрая, буду сильная, Кирю никогда не обману, никого не обману», — думает Алена.

Конец — делу венец, но с почина — вся причина. Гуляй, свадьба! Веселись, пляши, пей (разумеется, в пределах). А если и перешагнете, так трошечки. У нас, в Аю, немало украинских слов в ходу, потому что богато украинцев живет, и мне нравится их слово «трошки». Трошечки, чуть-чуть... Самую малость... Троха-кроха... Правда, похоже? Я вообще люблю слова. Иное раскроешь, будто ключ нашел. Бездна — это без дна... Совецание — это одно, а завещание — совсем другое. Две буквы переставил, а жизнь прошла...

— Кузя! — раздается с улицы еле слышно.

Кого-то из двух Кузь зовут.

— Вам какого: Первого или Второго? — спрашиваю я и балдею, почти потеряв всякий дар речи: взявшись за штакетник, передо мною стоит Рачок. Да, это он. Белый. Как лунь. Волосы нечесанные. Свидают на уши и на глаза, прикрывая узкий лоб. Раздавленный в далекой молодежной драке нос — лепешкой. На портретах куда приличней был, ретушеровали. А здесь без ретуши.

— Здравствуйте, — шепчет он.

Ему никто не отвечает. Люди не хотят прощать расчетливой подлости, а может, и хотят, да не могут. Сил нет. Не жаль тех порезанных сетей. Порежь он их от душевного взрыва, когда б его обогнали, это в конце концов простили бы ему. С отчаяния и не такого натворишь. Слепу. Душа, ведь она внутри, она слепая, хотя надо, само собой, умерять антиобщественные порывы и беречь колхозную собственность. И все же простили бы. Да Рачок-то был не слепой, а зрячий. Его отчаяние не шатало, его расчет подстегивал, не хотел он никого вперед себя пускать. Только с галошами плохо рассчитал...

И вот ему никто не отвечает.

— Телефон на почте надрывется.

Зачем выполз на солнечный свет, Рачок? Может, перед смертью посмотреть на чужое счастье? Может, в магазин за одинокой полбутылкой, а магазин рядом с почтой, он и услышал, проходя, как там колотится звонок междугородной связи. Подошел к свадьбе, преодолел себя... Он ведь все считает себя обиженным, Рачок-то...

И вот он уходит, скребя пятками по земле, которая одна его носит. Уходит, волоча длинные ноги в мятых штанах, как больные, белея старой головой и сгибаясь, становясь все меньше и меньше, и, хотя Марконя поддал музыки, все смотрят Рачку вслед и дольше всех Сашка, а Кузя-второй уже вскочил на мотоцикл и дернул ногой.

Новость, с которой он вернулся, заставляет сразу забыть Рачка.

— К нам едет кто? Угадайте, кто? — кричит Кузя-второй, бросив мотоцикл у калитки и вскочив на скамейку у стола, куда еще не вернулись плясуны, хотя музыка стихла.

— Инструктор Бибилова, — отвечает Зиновка, хоча.

Районный инструктор по художественной самодеятельности Бибилова приезжает на все свадьбы не гулять, а отбирать таланты. Уверяет, что на свадьбах почему-то и танцуют и поют люди, которые в кружок никогда не запишутся, а уж на сцену выйти — и не проси. С ее точки зрения, скромность не всегда украшает...

— Какая там Бибилова!

Председатель Рыбакколхозсоюза, — с надеждой говорит Илья Захарыч. У него к тому председателю сто вопросов.

— Карман шире!

— Духовой оркестр! — шутит Славка.

— Нет, нет, нет! — радостно возражает Кузя, которого распирает от нетерпения. — Летчик-разведчик! Витя Саенко!

Представляете себе, летчик, которого мы в глаза не видели, хотя разговариваем, считай, каждый день, едет к нам.

— Это я его позвал! — срываю голос, орет ликующий Кирюха. — На свадьбу! С «Нырка»! Скажи, Зиновка!

— Прекрасно, прекрасно, — бормочет пред, барабанив пальцами по столу, отыскивая глазами Сашку и как-то непонятно серея. К счастью, этого пока никто не замечает, и Гена Кайранский тянет восторженно:

— К-какой сюжет-жет!

Еще бы! Если где когда и встречалось начальство промысловой разведки с рыбацким начальством, то разве у третьего начальства, где и тех и тех распекали. Но чтобы простой летчик с простыми рыбаками, которым он рыбу показывает, да еще в неорганизованной форме... На свадьбе!..

— А вы говорите, танцы! — задирает руки над опущенной головой Горбова Ван Ваныч, как будто он был пророком, что берег пленку, не дал тратить на пустяки. — Летчик будет танцевать — это да! Какая свадьба! Его для нас послали, сняться! Голову даю! — Сима! — волнуется Алик. — Больше ни грамма! Сима!

— Работа, — понимающе отвечает Сима.

Кузе-второму с трудом удается объяснить, что звонила жена летчика, судя по голосу, такая резвая тараторочка, и просила встретить на верхней дороге, у автобусной остановки. Обязательно, если можно. А главное, проводить и, главное, не поздно... А то она будет волноваться. Летчики и высоко летают, а все же жены выше!

— Едем, Кузя! — обрывает его Славка Мокеев.

Встретим летчика, Кузя! Не тревожьтесь, Илья Захарыч...

И раньше Кузи он садится на маленький мотоцикл, сзади, придавив его (мотоциклик), как комара.

— Вперед, Кузнечик!

— Мамочки! — перехваченным голосом пищит Алена. — Здорово-то как!

Гостю уже готовят место рядом с молодыми.

— Свадьба врежется вот так! — торчком показывает большой палец Алик. — Гена!

— Пишу, — успокаивает его жестом Гена, приподняв ладонь, как вскидывают ее в знак приветия. — Илья Захарыч, я пишу вам несколько слов... Придется сказать...

— Прекрасно, прекрасно...

— Бригадный танец повторим, — воодушевляется Алик. — С летчиком! Понятно?

А бригада молча вылипилась на Сашку. И Сашка стоит бледный и такой холодный на вид, что, если ему измерить температуру, наверно, будет не больше тридцати. Сейчас Витя Саенко спросит, как взяли ту рыбу, которую он нашел вчера, а Сашка ответит... Ему и ответить нечего... Само собой все и всем станет ясно. Амба!

Здорово, Витя!

Здорово, Саша!

Жили, жили, и первый раз за всю историю новейшего лова предоставляется случай рыбаку отчитаться перед летчиком. Надо же, чтобы этот случай предоставился именно Сашке, именно сейчас...

И, когда Кузя-второй и Славка привозят простенького пёрнишку, светленького, худощавого, курносого, почти как сам водитель мотоцикла, то есть Кузя-второй, в форме гражданской авиации с особенно ярко начищенными пуговицами ради свадьбы и ради встречи с рыбаками, Сашка все стоит такой же холодный, а может быть, еще холоднее.

Горбому что? В конце концов он сказал: «Если храбрый, бей шапкой перед людьми». Горбов встает и, переждав встречные аплодисменты, кашляет и говорит:

— Это нам подарок...

— Большой подарок, — подсказывает Гена, протягивая микрофон.

— Большой подарок, — послушно повторяет Горбов и смотрит на Гену.

— Не волнуйтесь, мои слова вырежем, — обучает Гена, — ваши останутся. Техника!

— Можно подумать, что вы упали к нам прямо с неба, — повторяет за ним Горбов.

Стрекочет аппарат. Как на параде, стоит довольный народ.

— Так оно и есть! — продолжает Горбов, а Славка делает Сашке успокаивающие знаки. — Так оно и есть...

— Вы в небе, а мы на воде, — подсказывает Гена, — заняты одним...

— Так оно и есть, — запнувшись, топчется на месте Горбов. — Так оно и есть... Прошу за свадебный стол, короче говоря...

— Ни с места! — кричит Алик.

А Сима вдруг врывается между ними, между Горбовым и Саенко, которые стоят друг против друга, как на рапорте, врывается и наступает на Алену с Кирюхой, давно уже, едва подвезли Саенко, поднявшихся на ноги за столом. Алик, который пальцем показал Симе на молодых, теперь хватает летчика и преда за плечи и расталкивает, чтобы освободить дорогу оператору. Летчик понимающе трясет головой.

Сима выходит на крупный план. Он снимает Алену с Кирюхой. Не для семейной хроники, а для исто-

рии народа. Они так улыбаются, как еще не улыбались никогда. На всю катушку, совершенно одинаково, как близнецы, и это как чудо. Нет, правда, какое-то чудо происходит. И четыре глаза, как четыре прожектора. Счастливые люди могут запросто осветить мир во тьме.

Приседая, Сима быстро поворачивается, «смазывает» другие застольные лица и опять нацеливается на преда и летчика.

— Вы самый желанный гость, товарищ Саенко, — вслед за Геной говорит натренированный Илья Захарыч и рукой показывает гостю дорогу к столу, но тот вдыхает в себя побольше воздуха и бухает на всю свадьбу:

— А я не Саенко!

И Сима выключает аппарат. И Сашка поднимает голову. И Горбов улыбается вроде жениха Кирюхи. И Ван Ваныч убито шлепает отвисшей губой. И Алик шепотом спрашивает:

— Как?

— У Саенко, понимаете, зубы болят. В общем, это... он в поликлинике... в больнице... Мучается, бедняга. Жуть! А меня просил подъехать, значит, подскочить... Поздравить...

— Но вы тоже из промразведки? — вскрикивает Алик, по долгу не имея права терять ни самообладания, ни надежды, и наводит на него палец пистолетом.

— Я? Да.

— Летаете?

— Я? Нет. Я наземный.

Алик снова обморочно бледнеет, и Ван Ваныч наливает ему стакан кисленького «узвара» из большого стеклянного кувшина — их несколько, с плавающими сморщенными дольками сухих фруктов, стоит на столе, чтобы запивать жирную еду. Он быстро наливает, но пьет сам и, сразу потя, лезет за платком. А летчик уже стоит перед Аленой и Кирюхой.

— От промысловой авиации.

И ставит на стол среди гусей и маринованных овощей новенький радиоприемник «Спидола», транзисторную шкатулку из пластмассы под слоновую кость, которую до сих пор держал в бумаге под мышкой. Весь мир под мышкой.

— Вещь, — говорит Марконя.

Кирюха и Алена, поблагодарив промысловую авиацию, усаживают летчика рядом с собой, но Алик расслабленно просит:

— Извините, пожалуйста, граждане. Повторите подарок, если можно. На пленку! Гена. Подтянешь текст. Надо же хоть что-то... Извините... — И берется за горло. От расстройства у него пропадает голос.

А смотрите, как меняются люди! Извинился вдохновенный художник. И даже сказал: пожалуйста...

— Снимаем?

— Что делать, — вздыхает Алик и вяло машет рукой. — Прошу, пожалуйста...

— Это вам от промысловой авиации...

— Сашка! Сюда! — зовет Кирюха.

Сашку Таранца втискивают за стол рядом с новым гостем, и Киря наливает всем подряд, до кого дотягивается, а остальные наливают себе сами.

— Сашка, кто ты без промысловой авиации? — спрашивает издаലെка дед Тимка, демонстрируя свои передовые воззрения при пенсионном возрасте.

— Ноль без палочки, — отвечает Сашка.

— Нашей промысловой авиации ура! — возглашает тост дед Тимка.

И это не унижает любимого, страшного, бесконечного труда рыбаков, потому что его ничем, кроме предательства, унижить невозможно, и согласная с дедом свадьба от души горланит «ура» за своих воз-

душных друзей, а Горбов кричит и смотрит напротив, в открытый рот авиатора, и вместо одного зуба видит в нем щель с припухшей, еще окровавленной десной. Решился-таки герой на экзекуцию... Вырвал зуб Витенька...

И ты, Саенко! Уговорил тебя Славка, косматый черт, тоже продать душу сатане. Лишь бы не испортить великого дня свадьбы Аленке с Кирюхой. Свет не без добрых людей, говорят. Неточно. Много добрых людей на свете. Вся бригада пожалела своего товарища. Не Сашку, а Кирю. Летчик отрекся от своего имени. А Кузя-второй с ними на мотоцикле ездил, значит, уже и Кузя в заговоре. Вот как! Ну, этот не проболтается, этот парень скромный...

А Сашка Таранец жрет квашеную капусту. И Киря наливает всем снова.

— Давай выпьем,— говорит летчик своему соседу и чокается с ним.— Не думал я, что ты такая дешетка, Саша.

И улыбается прямо в глаза.

— Витя,— грустно и чуть слышно роняет Сашка.

— Будь здоров без докторов,— отвечает Саенко, звзякая чаркой, не хрустальной, но звонкой.

— Витя,— поставив рюмку, сипло спрашивает Сашка.— Отчего же ты не назвался? Сам себя опроверг.

Саенко держит водку во рту, раздув щеки пузырями, успокаивает ранку, глотает и говорит:

— Киношники настырные. Заставили бы позировать. Я с тобой, братишка, сниматься не хочу. А вы давать... так просили свадьбы не портить...

— Витя,— хрипит Сашка, схватив его за руку.— Выведи меня на чистую воду!

— Сам плавай,— говорит Витя,— где тебе лучше.

— Витя!

— Витя? — подхватывает Киря, наклоняясь к летчику.

— А мы тезки с Саенко,— объясняет Саенко, и Киря встает.

— За Витю Саенко!

## 16

**Н**о надо же и честь знать. И подумать о людях, которые из-за нас приехали в Аю, еще вчера никому из них не знакомое и лично, может быть, нужное со всеми нашими заботами, включая и свадьбу, как дырка в голове. Это нам кажется, будто главное нас, главное Аю (и лучше) нет места на свете. А что, например, оно Ван Ванычу?

А мы догулялись дотемна.

— Ничего,— успокоил Алика Славка, проводивший вместе с Кузей-вторым до автобусной остановки на верхнем шоссе Саенко, который так и не стал для всех нас самим собой.— Мы ведь рыбу-то привозим по ночам... Значит, у вас будет полная правда. Картинка жизни.

— На корабль! — скомандовал остатками голоса Алика.— Пожалуйста, побыстрее.

Ребята, кому сниматься, все уже были в робах, все хрустели ломким брезентом курток и хлопали, шагая, ботфортами из толстой резины. Сашка бесполезно стрелял глазами по сторонам, искал Тоню. Но ее не было видно. Как ушла, так исчезла, хотя вся свадьба, кроме самых дальних гостей, уехавших за светом, валила сейчас на берег. Сниматься.

Сашка чувствовал себя одиноким.

— Ну, видал, все и обошлось,— шепнул ему Славка, толкая в бок на ходу.— Саенко какой парень, а? Экстра!

— Да,— сказал Сашка.

— Все выше, и выше, и выше...— пропел рядом Марконя.— Нос выше! Как слышите? Прием.

— Свадьбу сыграли,— сказал Сашка.— Чего теперь притворяться?

— А старика ты жалеешь? Тебе хоть раз наш старик, наш пред, сделал плохое? Кому из нас он сделал плохое? А ты пикни, враз посадишь его в галошу,— рассудил Кузя-первый.

— Тоню не видели?

— Брось, Сашка,— подбодрил Марконя, врезав ему ладонью по плечу.— Брось думать о женщине в серьезную минуту. Баба с толку собьет, уму не научит.

— Начальство знает, что делает,— договорил Кузя-первый.— Начальству видней. Сказал преду? Слушай его и не горюй.

— Слышу хорошо,— ответил Сашка, будто они говорили по радио, шли рядом, а были далеко. Ему теперь всегда так жить...

— Веселей! — подогнал их Ван Ваныч.

Сзади в окружении стариков шел Гена. Старики все же раскопали где-то древний бинокль, той поры, когда по морю бегали не нынешние сейнеры, зеленые, крутогрудые корабли с белыми, как дачки, надстройками, с лебедками, жми рубильник — и руки в боки (на море так не бывает, то сеть зацепило, то вода за шиворот, то волна хлопбыть — и с ног, но все же!), а ходили тогда корыта-балиндеры, их выхлопные трубы бухали в небо, как зенитки.

Каждому старику Гена дал фразу для кино и сейчас проверял, как запомнили.

— Значит, вы?

— Так всегда и лови, сынок.

— А вы?

— Наше море не оскудеет.

— Ол райт. А вы?

— Таранец — молодец.

— Это есть у преда,— напомнил дед Тимка.

— Ах, черт! — сознался Гена.

— Давай ему другое.

— Ну, что бы вы сами хотели сказать? Смелее.

Как ни странно, старик, у которого отобрали фразу про молодца, от предложения быть смелее совсем оробел и не мог ничего придумать.

— Ну, скажите просто: «Ай да Сашка!»

— Ай да Сашка!

Вот уже свадьба на причале, и Сима занимается установкой света, а Горбов лезет на корабль.

— Куда вы, Илья Захарыч? — сипит Алика.— Вам совсем не туда.

Но Илья Захарыч не улавливает колебаний режиссерского голоса и взбирается на «Ястреб».

— Ван Ваныч! Куда он? Боже мой!

Ван Ваныч бросается за предом.

— Рыба пропала,— бормочет председатель и, швырнув крупную сельдь под ногу, еще долго жует губами, будто пробовал ее на вкус.

— Подумаешь! Сколько тут рыбы?

— Тонн семьдесят.

— Сколько?

— А то и восемьдесят. Вчера была первый сорт, а сегодня третий. Ни в план, ни в карман.

— Восемьдесят тонн? — все еще никак не переварит Ван Ваныч.

— А может, и чуть больше.

— Слава дорожке,— неуверенно шутит Ван Ваныч и, наклонившись, поднимает мягкую, отекшую слизью селедку.— Штук бы десять в авоську не помешало. Жареная селедка — еда!

— Ван Ваныч! — из последнего надрывается Алика. Да, картину снять трудно. Это я теперь вижу.

Но вот уже нацелены прожекторы, расставлены люди. Расчистили лопатами место, яму вырыли, и Сашка залез в рыбу на палубе. Кирюха занял позицию впереди всех, он будет бросать носовой причальный канат (конец, по-нашему). Роль Кирюхи заметно возросла, свадьба подействовала, красивая была свадьба. «Ястреб», взахлеб бурля винтом, отходит, чтобы взять разбег метров на пятьсот и вернуться к причалу, откуда будут ему махать платочками женщины.

Режиссер дает Сашке последние наставления, а Сашка, повесив голову на грудь, слегка кивает, будто носом клюет.

— Таранец!

Он поднимает свою цыганскую голову и видит Тоню.

Она стоит в луче прожектора в рост на бочке и смотрит на «Ястреб». Там, на берегу, вокруг бочек толпятся девчата, которые будут принимать рыбу, когда затарахтят транспортеры, и перележавшая на два сорта ниже сельдь польется скользкими ручьями по ленте, роняя дожди брызг и чешуи. Девчата в сапогах, в штанах и в фартуках, одним словом, при форме, как полагаются, и только одна Тоня в том же платье в обтяжку, с юбочкой врасхлест, которая кажется сейчас совсем коротенькой.

«Холодно же,— беспокоится Сашка,— осень».

А Тоня не движется. Какой-то прожектор высвечивает ее, рассматривая, словно в кино, пока «Ястреб» отходит, отходит, отходит...

Сердце у Сашки такое, что на нем живого места нет. А ведь сердце. Не отбивная. Сейчас «Ястреб» остановится. В машинном переключат ход. Взобьется море за кормой, и сейнер ринется к берегу, а ребята загорланят:

Ходили с аломаном мы  
В далекие места!

Ну, снимут и уедут эти гаврики, как будто и не приезжали. Ну, покажут разок по телевизору, никакого союзного экрана без Саенко не светит, это ясно, а в Аю и телевизоры не у всех есть, сами же они, рыбаки, бродяги, будут в море где-нибудь сети таскать и даже не увидят себя. И все забудется. В конце концов он преу сказал? Сказал. Ребята рыбу брали всерьез, мокли, сохли, они не виноваты. За что же они должны страдать?

А ему, Сашке, урок. Он его всегда будет вспоминать, когда, завидя впереди россыпь береговых огней и обрисованный ими двор рыбного цеха, ребята хрипло начнут:

Ходили с аломаном мы  
В далекие места.

Значит, он никогда ничего не забудет.

«Уедем отсюда, Тоня,— мысленно зовет ее Сашка.— Уедем. Зачем-то ведь ты вчера пришла на чердак? Теперь мне еще хуже. Я один уеду. Только ты жди меня. Ты жди меня. Я ничего никому не скажу. Пусть Горбову будет хорошо, и ребятам хорошо, и всему Аю хорошо. А я теперь один, и мне одному легче. А будет совсем легко. Выбрался наверх, на дорогу, как Саенко,— и фюйть! В другой мир. Сама дорога— уже другой мир. Хочешь — налево, хочешь — направо. До свиданья, дорогие хаты! «Откуда, парень?» «Из Аю». «Что за место такое? Не слышали. Почему деру дал?» «А что мне в этом Аю?» «А что тут особенного? Мокрые с утра до ночи руки, шершавые от чешуи? Ветры? Да обрыв, с которого видны сейнеры. Качаются на рейде, как в колыбели... Белый глаз буйка вспыхивает в темноте

моря. Перемигиваются на воде блески, которые молодой месяц просыпал и не знает, как собрать...»

Сашка уже не шепчет, а думает.

«Уезжаю!» — решает он и выбирается из рыбы, как будто прямо сейчас шагнет за борт на дорогу. Сашка ходит среди ребят, режиссерской рукой расставленных на борту в живописных позах, и говорит:

— Вы все добрые. Вам хорошо. Думаете, прячете меня за своей спиной? Это вы за моей спиной прячетесь.

— Сашка, лезь в рыбу! — кричит Марконя, поправляя зюйдвестку.

— Не полезу.

— В чем дело? — спрашивает Кирюха, который еще ничего не знает.

— Ну, хорошо! — кулаком грозит Славка сверху, со спардека, поставленный туда с гитарой в руках.

— Вам хорошо, а я один мучаюсь за всех! — чуть не плачет Сашка.

— Выдержишь.

— Да, Сашка. Ты теперь не человек, а знамя.

— В чем дело? — не понимает Кирюха.

— Да чего с ним валандаться? — кричит Марконя, осмелевший от хмеля. — Поставить на место. Живо! А то сам виноват, а на других размахался. Нет, верно, Сашка!

«Почему я надеюсь на других? — спрашивает себя Сашка.— Почему выручат, другие подскажут, а я? Я же для себя могу больше всех. Всех, вместе взятых. Эх!»

— В чем дело? — пристаёт Кирюха.

— В чем дело? — озверело кричит с причала Ван Ваныч. — Почему вы нарушили весь порядок?

— Стоп! — шипит еле-еле Алик. — Живой я отсюда не уеду.

«Ястреб» стучается о причал, и все на нем умолкают, но нет назначенных поз, и Алик так и говорит Горбову:

— У вас никакого порядка нет!

Сашка смотрит на людей, своих аютинцев, которых должен взять да подвести, и, барахтаясь, лезет в рыбу:

— Сейчас, сейчас!

— Повторить подход! — шепчет Алик.

— Повторить подход! — трубят Ван Ваныч, приставив ко рту ладони.

— Гена! — мучительно просит Алик. — Можешь ты эту девушку с бочки переставить сюда? Пусть она поздравит бригадира. Они же танцевали вместе... Я должен помнить! Я один за всех должен помнить! Я! Я! Я!

И опять осаживает в море «Ястреб», удаляется, делает разворот и летит на прожекторы, как мотылек на свет. Берет свою пятисотметровку. Вторая попытка.

— Эта рыба, Киря, считай, ворованная, — говорит Сашка жениху, сегодня ставшему мужем.

— Если ты такой герой, — кричит бригадиру сверху Славка-гитарист, — почему ты всем не сказал?..

— Он же Горбову сказал, — защищает Сашку Марконя.

— Что Горбову! — смеется Славка, покидая спардек. — Нагадить на все море, а ввинтиться на ушко — это мы мастера. Нет, скажи народу.

— Попробуй, — усмехается Сашка. — Я вот лично боюсь.

— Ну, тогда и молчи.

«Не будет бригадира Таранца, — думает Сашка. — Уже нет никакого бригадира».

— Сто-о-оп! — Алик поднимает над собой руки, уже не крест-накрест, а просто так, сдается. — Опять?

— Опять? — спрашивает Ван Ваныч и кашляет.



— Где ж... этот... который с гитарой? Неужели это так трудно — стоять на месте?

— Какая разница? — спрашивает Славка. — Меня с гитарой и в Аю не видели, а тут сразу по телевизору.

— Встаньте на свое место!

— Для чего?

Алик что-то верещит, но Славка мучительно морщится, не слыша.

— Для колорита! — вякает Ван Ваныч, как пере-водчик.

— Объясняю...

— Нечего объяснять, товарищ Егорян! — обрывает его Ван Ваныч. — Вы снимайте, а вы — на место!

— Кадр строится... Я один знаю, как строится кадр! Всем стоять на местах! — шепотом рыдает Алик.

— Ребята, — вмешивается Горбов. — Можете вы дать людям покой? Люди свадьбу справили, люди устали. Люди спать хотят. Люди — это люди.

Славка лезет на спардек, но, как только сейнер разворачивается в море и разбегается для третьей попытки, Славка снова слезает на нижнюю палубу и объявляет:

— Лично я сниматься не буду.

— Ага! — говорит Сашка. — Вот человек понял. Быть тебе бригадиром, Славка.

— С одной стороны, по совести говоря, надо бы сниматься, — опешив, рассуждает Славка, — но, с другой стороны, мне стыдно, особенно перед Саенко.

— А я сниматься буду! — вдруг протестует Ки-рюха. — Не для себя, а для детей. Моя свадьба!

— Рыбу же Горбов берет... Деньги даст... Тарахте-ли-барахтели...

— Заткнись, Копейка!

— Вопрос решен, — сказал Сашка. — Не единоглас-но, так единолично. Хотя и Славка поддерживает...

Когда «Ястреб» подошел к причалу, было такое впечатление, что он пустой. Рыбаки сидели за белой палубной надстройкой, на крышке трюма, и без-молвно курили.

— Что такое? — еще по-хозяйски спросил Ван Ва-ныч, но уже и в его голосе слышалось ощущение чего-то непоправимого.

Сашка прыгнул с палубы на причал и, помедлив, сказал:

— Кина не будет.

— Почему? — насмешливо спросил Ван Ваныч, как спрашивают капризных детей.

Сашку обступили люди, и тогда он спокойно и внятно, ничего не пропуская, не торопясь, объяснил всем про выпел и про себя.

— Ну и что? — вдруг прорезался голос у Алика, он и сам не поверил, как вышло почти совсем ясно, будто выскочила из горла хрипушка. — Что такого? А вам бы сказали? Чего из себя строить святых? Идеала мы еще не достигли. Жизнь!

— Вот именно, — сказал Сашка. — Она.

И пошел прочь. Люди расступились и дали ему дорогу.

— Ай да Сашка! — сказал старик, которому надо было это сказать совсем по другому случаю.

Сима опустил аппарат.

— Интересное кино.

А наши, аютинские, сомкнулись за Сашкой, и стоя-ли, и ждали, что скажет пред Алику и другим го-стям из большого автобуса, который называется «лихтваген», то есть вагон света. Но что преду бы-ло говорить? Он молчал, опустив голову в мореход-ной фуражке, как будто она была чугунная, эта са-мая фуражка, и давила. И написанной речи у него сейчас не было.

— Верните бригадира на сейнер! — крикнул Алик и опять охрип. — Вер-ни-те...

Тогда пред поднял голову и втянул ноздрями чи-стый вечерний морской воздух, со вкусом, с голо-дом, как будто давно не вдыхал его, и свел брови треугольником, и печально пошевелил губами в ус-мешке. Он заговорил тихо:

— Ничего...

Наш Горбов неожиданно улыбнулся и потер паль-цем висок. Какие-то мысли стучались странные. Про-то, что много хотелось сделать, да не все удалось на практике, потому что человеку дана короткая жизнь... Про молодых... «Первый плюну тому в лицо, кто скажет, что молодежь пошла плохая. Ведь кто отрицает молодежь? Старые дураки, которые боят-ся себя унижить. Пустомели. Сколько земля крутит-ся, столько сокрушаются, что молодежь хуже ста-риков. Послушать, так жизнь давно бы должна упасть к нулю. А она лезет в гору. Нет, молодежь хорошая...»

Ничего этого он не сказал, а только спросил:

— Молодые люди! Зачем вам липа?

Он поднял голову, и, как однажды Кузя-второй, все увидели, что лицо у него не строгое, а старое.

— Сматываем удочки, — засуетился Ван Ваныч.

И они пошли с причала на берег, к своему лихт-вагену, сматывая по дороге шнуры. Дед Тимка по-смотрел им вслед, перевернув старый бинокль, и в стеклах сразу отскочили маленькие и смешные фи-гурки.

У лихтвагена они остановились и неловко посмот-рели друг на друга. Впрочем, Алик не смотрел. Он стоял, вскинув голову к горам, которых сейчас не было видно.

— По-моему, братцы, — смущенно покашливая, сказал Гена, — надо бы извиниться... Чтобы не уехать дураками... Что скажешь, Алик?

— Провокатор! — ответил Алик со слезами на глазах. — Ненавижу!

— А ты, Симочка?

— Э! Мое дело — фокус наводить.

— Врешь! Скучно тебе? Оттого и скучно, что стыд-но. Разговаривать отучился. Баба!

Сима снял с плеча тяжелый аппарат и передал Ван Ванычу. Я думал, он сейчас двинет Гене по морде, но он зашагал к причалу, показывая свою широкую, как у рыбака, спину.

— Ты куда? — оторопел Ван Ваныч.

Сима оглянулся через плечо, бросил:

— Извиняться.

— Тут уже есть местное население! Хватит!

И Ван Ваныч показал на Кузю-второго, который стоял поблизости и смотрел, честное мое слово, как ребенок, готовый попросить: «Дяденьки, не уез-жайте!»

Когда Ван Ваныч на рассвете принес преду командировочные удостоверения для отметки, тот сказал примирительно:

— Погода к рыбе. Остались бы. Или вам без сол-нышка никак не снять?

У нашего преда сто болячек — и давление, и пе-чень, и просто-напросто годы, в которых он сознать-ся себе не хочет, — почему и сваливает все на раз-ные, как он сам говорит, «нервы и консервы». Ле-читься ему надо. Но главный его доктор — рыба. Как повалит она, как наплет на наш аютинский бе-рег, так он хмурит брови над картой моря, ни дать ни взять полководец, строит оборону, переходит к атаке, а потом и к преследованию рыбных полчищ. До хвори ли тут? После недолгого случайного тепла резкая смена погоды быстро сбивает рыбу в косяки.



— Оставляйтесь, не пожалеете. Это будет настоящее кино!

— Еще не известно, чем оно у вас кончится,— отвечает Ван Ваныч.— Нам нужна действительно картинка. К празднику. А у вас тут жареным пахнет...

А мне вот лично, кажется, это глупо... Что-то есть именно в Сашкиной истории праздничное. Да?

— Мы ученые,— говорит Ван Ваныч,— во всех водах крещенные. А здесь уж не вода. Здесь тырь, пырь — нашатырь.

— Извините,— улыбнулся Горбов, надевая картуз с клеенчатым козырьком.— Что есть, то есть.— Он дышит на печать и приколачивает ее к командировкам.— Спасибо, что заехали.

— Не стоит.

— Жаль, что спешите.

Ни предчувствие выговора, ни отъезд киношников не может испортить хорошего настроения Горбова: рыба пошла.

А в это время в лихтвагене Кузя-второй прощается с Геней.

— Приезжайте,— зовет он.

— На свадьбу? — отвечает Гена в своей полусерьезной манере.

Гена к жизни относится чуть иронически, и Кузе-второму это нравится, потому что так легче наблюдать за другими, ни на что не претендуя.

— Сняли бы картину про Сашку. Интересно.

— Кому?

— Всем.

— Не смонтируется.

— А почему вы так говорите про живых людей?

— Профессионально, старик! Так же, как у вас сеть сыпят, а не кидают, а люди не умирают, а отдают концы. На это как раз не стоит обижаться...

И Кузе тревожится. И не хочется, чтобы уезжал веселый и грустный Гена.

— А что вы теперь будете делать?

— Я? — смеется Гена, окутываясь дымом.— Одно скажу — мыльных пузырей надувать больше не буду. Отдаю концы.

Кузя опять не понял его. Кузя ему завидовал: ведь в глазах Кузи он был самым удачливым человеком, которому дано счастье заниматься любимым делом. Кузе до смерти хотелось быть на него похожим, и еще долго он ходил по Аю с приклеенной к губе сигаретой, с блокнотом и карандашом в руках, из-за чего продавщица рыбкооп решила, что он работает в комиссии народного контроля. Гораздо позже Кузя понял, что Гена испытывал разочарование в себе. И Кузя пожалел его, потому что от маленьких разочарований рождаются большие разочарования, так, как от плохого настроения кажется плохой вся жизнь.

А пока...

— Пока, старик! Ты славный малый! — кричит ему из окна автобуса Гена Кайранский уже на ходу.

Видите, и Гена Кайранский, писатель, бросил Кузе памятные слова. Автобус накрылся дорожной пылью и больше уже не появлялся. Исчез, как чудное виденье.

Настоящий писатель на этом поставил бы точку, но я не могу. Потому что я никакой не писатель, а между прочим, если хотите знать, и есть не кто иной, как местный аютинский телеграфист-телефо-

нист Кузя-второй. И хотя я Второй, а пишу первый раз.

Ну, вот...

Утром низким потолком залегли в небе облака, подул ветер, взбил волну. Она все висела над берегом, шумя на месте и как бы не падая. (Простите, сначала я должен дать природу.)

Стучали моторы в баркасах, увозя в прекрасную холодную даль добытчиков кефали и ставриды, сельди и хамсы. На рейде качались сейнеры, как тени. Акробатами взбирались на них по веревкам наши аютинские мужчины, чтобы плыть в близкие беспокойные широты.

«Ястреб» уводил в море новый бригадир, Славка Мокеев. Прощай, гитара! Так решило ночью колхозное правление. Теперь и в табеле над столом преда, и в районной сводке, и, возможно, на доске почета против «Ястреба» будут писать от руки: бригадир Вячеслав Мокеев. Но для нас он навсегда останется Славкой.

Сашка Таранец сказал, что ему лучше уйти с сейнера, чтобы не смущать нового бригадира, не лезть с советами. В море, как на войне,— единоначалие.

— А кто тебя возьмет? — спросил Горбов.

— Скажу тому спасибо,— потупясь, обронил Сашка.

Но все промолчали.

Утром шел Горбов к берегу провожать баркасы и увидел, как Тоня обнимала Сашку под деревом у рыбного цеха. Хотел пройти мимо, но вдруг повеселел, гикнул:

— Вы чего обнимаетесь? Уже не надо! Кино уехало!

Сашка кутал Тоню краем своей куртки. Похоже, они оба не ночевали дома. Она так и была в платьишке, а он в робе. Похоже, глаз не смыкали... Сейчас следили, как уходят баркасы от причала, отсюда им было видно. Отсюда все море как на ладошке, смотри — не насмотришься, дыши — не надышишься, хоть задохнись.

Вот уж и последний, самый последний баркас. И кто-то машет шапкой...

— Э-ге-гей!

Обернулся Илья Захарыч:

— Сашка! Дядя Миша... Тебя... Беги!

— Бегу! — сказал Сашка, погрел ладонь о Тонину руку или ее погрел своей ладонью и побежал, а она осталась смотреть, как он заметался между бочками, между ваннами с рассолом, вырвался на причал, скачками вдоль узкоколейки для разгрузочных тележек, под лентой транспортера пробежал и, не останавливаясь, боком прыгнул в баркас, на чьи-то руки и ноги.

И баркас сразу отвалил.

А Тоня пошла не к поселку, а на обрыв, к Медведю, откуда еще долго видно корабли. Она шла одна над морем, обняв себя за бока, пряча под мышками ладони, потому что ветер дул все норовистей, а она шла и пела для себя:

Не надейся, рыбак, на погоду,

А надейся на парус тугой...

Вот какие живучие песни! Парусов-то в море давно не видно, а песни про паруса поют.



## Борис Слуцкий



На стремительном перегоне  
спрыгну с поезда, и в вагоне  
досчитаются: нет одного,  
но подумают — ничего.  
Спрыгну с поезда. Лесом. Пёхом.  
Буреломом, чертополохом  
проторю к нежилому жилью  
незаметную тропку свою.  
Там широкая русская печка  
и забытая кем-то свечка,  
а к стене прибит календарь,  
что показывал время встарь.  
Слева, справа, спереди, сзади  
тишина держит дом в осаде.  
По-над домом дымит тишина,  
и под домом зарыта она.  
Там, в тиши, спокойно додумаю  
свою самую главную думу я,  
свежим воздухом подышу,  
книгу главную напишу.



Поэзия — дырка от бублика,  
жилеткины рукава.  
Поэзия — республика,  
где запрещено дважды два.  
Поэзия — граната,  
взрывающая здравый смысл;  
а все-таки врать не надо,  
а надобны чувства и мысль.

### Ботинки Маяковского

47-й номер:  
огромные, как сапоги.  
Ботинкам Маяковского  
не подобрать ноги.

Ботинки Маяковского  
носить не смог никто.

Кроме того, осталось  
его пальто.

Кроме того, остался  
его пример,  
но больше человеческого  
его размер.

В маленькой квартирке  
маленький музей:  
вещи Маяковского,  
книги его друзей.

Чашечки Маяковского  
на полочках стоят.  
Сколько меду и яду  
чашечки таят!

Кроме того, ботинки.  
Кроме того, пальто.  
Чашу Маяковского  
не осушил никто.

### Большой масштаб

Масштабы штаба генерального,  
масштабы карты полушарий,  
а после — карты неба звездного  
своим масштабом поражали,

своим размахом, махом крыл своих,  
своим

не лесом, а тайгою,  
своим

не боем, а войною,  
своим

не снегом, а пургою.

Как яхонты или как лалы,  
как звания или чины,  
так вдохновляло, впечатляло  
величие величины.

Внушали гордость или радость  
и преданность, навеки — верность,  
в бескрайнем — самая бескрайность,  
в безмерном — именно безмерность.

Три измерения, и каждое  
дается с щедростью такой!  
С извечной, неизбывной жаждою  
впивает космос род людской.



Мнения переплетчика,  
скажем, о переплете  
могут быть глубоки  
так же, как мнение летчика  
о ночном полете  
вдоль великой реки,  
так же, как мнение смазчика  
о качестве смазки,  
так же, как мнение мальчика  
о качестве сказки.

Знает водитель наледь.  
Пахарь знает пажить.  
Каждый что-нибудь знает.  
Пусть он об этом скажет,  
пусть он об этом выскажется —  
и, наверное, сложится  
плод ума и терпения —  
народная энциклопедия.



Ракетчики, подводники, танкисты.  
Теперь что ни солдат — прибор.  
Продолжены людские кисти:  
солдаты глубже моря,  
выше гор.  
До рукопашной дело не доходит.  
Единоборствовать машины не дают.  
Солдаты ездят.  
Очень редко ходят.  
Солдаты мыслят, а не просто бьют.

Только воздух,  
только небо синее —  
единственное место на земле,  
где — баш на баш —  
порой сойдутся сильные,  
золу с золой  
смешав в одной золе.



Прогрели, как звук, и ударили в уши.  
Просверкнули, как свет, поразили глаза.  
Это кто прогрел, просверкнул!  
Наши души.  
Наши принципы, комплексы и тормоза.

Хорошо быть протоном в потоке  
искусства,  
быть частицею, элементарною пусть,  
чтобы глаз твой  
и слух твой,  
твой голос  
и вкус твой  
вызывали всеобщую радость и грусть.

Хорошо хоть словечком, хоть оборотом,  
встрять в язык  
и произноситься народом.

### Читальня на нашей улице

Ваяющие  
мало наваяли.  
Паяющие  
больше напаяли.

Покуда все газеты, все журналы  
переберу в читальне до листка,  
сосед мой погружен в анналы  
известий радиокружка.

Я думаю: куда идти и с кем,  
кого избрать мне в критики и в спутники!  
А мой сосед зарылся в груды схем.  
Он изучает винтики и шпунтики.

Здесь, в комнате, уже почти родной  
[как на работу он с работы ходит],  
и отпуск свой провел очередной  
и каждый вечер за столом проводит.

Пока по макромиру я брожу,  
он в микромире разберется с толком.  
Глядишь: моторчик с переменным током  
стоит в его пристройке к гаражу.

Нет, мне его высмеивать нельзя:  
ваяющие мало наваяли.  
Паяющие больше напаяли.  
Потомки разберутся, где стезя,  
где просто блажь,  
его или моя ли.



Из — целую жизнь буримой — скважины  
пошла не нефть, пошел кипяток:  
каленный, крутой, варящий заживо,  
бьющий, обугливающий, как ток.

А что! Кипяток ни на что не сгодится!  
Он оживляющая водица,  
не хуже нефти может согреть  
и все снега с земли стереть.

Я отказываюсь от нефти.  
Я приноравливаюсь к кипятку.  
А вы глаза на меня не гневьте.  
Я больше вашего строки толку.



Меня переписали знатоки  
и вызубрили, пользуясь тетрадкой,  
теперь мне нужно, чтобы дураки  
мурлыкали меня с улыбкой сладкой.

Теперь меня интересует песенка,  
поскольку это интересный жанр,  
складной и портативный, словно лесенка.  
Приставь и полезай хоть на пожар.

Пускай перезабудутся слова,  
до времени погаснув и состарясь,  
была бы та мелодия жива,  
сбережена про черный день, на старость.

## Константин Ваншенкин



Неверно, будто жизнь всего одна.  
Сказать такое — стать лжецом невольным.  
Я был мальчишкою с мячом футбольным,  
Солдатом стал, когда пришла война.

Естественно, была меж нами связь,  
Но в новой жизни, озарен пургою,  
Я был другим и жизнью жил другою,  
Уже и дальше новым становясь.

И стал поэтом я в своей стране.  
Еще какую выкажет причуду  
Судьба! И кем еще я в жизни буду,  
В той новой жизни, неизвестной мне!..

### Закат

Уже темно и глухо было в кронах,  
Но ниже, где дороги поворот,  
Под купами старинных лип и кленов  
Лучей вечерних бреющий полет.

Как часть того же самого спектакля,  
Внутри, в дому, буквально на глазах  
Серебряно высвечивалась пакля  
Меж бронзовыми бревнами, в пазах.

И шаркала подошвами старуха  
В проеме растворенного окна,  
Угадывая лишь посредством слуха,  
А так была невидима она.

Чай на столе, три сросшиеся сайки,  
И обжигал не хуже кипятка  
Томящий голос молодой хозяйки,  
Протянутая к чайнику рука.

И жмурился и встряхивал кудрями  
Убитый через сутки наповал  
Тот лейтенант московский с кубарями,  
Что так недолго здесь квартировал.

## К портрету

Той давней, той немислимой весной,  
В любви мужской почти не виноватая,  
У низенькой земляночки штабной  
Стоишь ты, фронтовая, франтоватая.

Теперь смотрю я чуть со стороны:  
Твой тихий взгляд, и в нем оттенок вызова,  
А ноги неестественно стройны,  
Как в удлиннном кадре телевизора.

Кудряшки — их попробуй накрути! —  
Торчат из-под пилотки в напряжении.  
И две твои медали на груди  
Почти в горизонтальном положении.

В тот промелькнувший миг над фронтом  
тишь.  
Лишь где-то слабый писк походной рации.  
И перед объективом ты стоишь,  
Решительно исполненная грации.



Мы помним факты и события,  
С чем в жизни сталкивало нас,  
В них есть и поздние открытия,  
Что нам являются подчас.

Но вдруг мы видим день весенний,  
Мы слышим смех, мы ловим взгляд...  
Воспоминая ощущений —  
Они нам душу бережат!

И заставляют сердце падать  
Или взмывать под небеса,  
И сохраняет их не память,  
А руки, губы и глаза.

### Гале

Не только чувства, благородства  
И изощренности письма,  
Но и разительного сходства  
Добиться хочется весьма.

В наброске первом же рабочем  
Поймать его прищуром глаз.  
Да и заказчик, между прочим,  
Лишь это свойство ценит в нас.

А ведь, как выяснилось, важно  
Другое. Бросим ли упрек  
Тому, кто просто и отважно  
Буквальным сходством пренебрег!

Что нам претензии модели,  
Когда осталось полотно  
И сквозь столетние метели  
Нас потрясает все равно!

### Дельфины

Один из самых сладостных даров,  
Который люди ждут от жизни этой, —  
Явление из неведомых миров  
Иных существ рокошущей ракетой.  
Свиданье средь лугов, накоротке,  
Меж нами только зыбкая граница,



И на каком-то среднем языке  
 Безумное желание объясниться.  
 Но тишина стоит со всех сторон,  
 И никаких оттуда проявлений.  
 А мы! Лишь ближний космос покорен,  
 А дальний — для грядущих поколений.  
 И вдруг! Как откровенье и порыв,  
 Как знак и как сигнал об Океане,  
 Дельфины, нашу душу покорив,  
 Явились, как морские марсиане.  
 Явились в наше сердце и жилье.  
 О, как мы рано во всезнайки метим!  
 Прости мне, брат, невежество мое,  
 Мою жестокость, связанную с этим.  
 Открытый нами заново дельфин!  
 А прочие, что все еще безвестны!  
 Из голубого космоса глубин,  
 Из круто уплотняющейся бездны.  
 Я здесь, признаться, вовсе ни при чем,  
 Но почему-то сердце бьется гордо,  
 Когда всплывает за моим плечом  
 Его доброжелательная морда.  
 Ко мне он обращается, трубя,  
 Прислушиваясь, жадно ждет ответа.  
 Как важно, чтобы поняли тебя!  
 Кому-кому, а мне знакомо это.  
 Мне без него уже не обойтись.  
 Подзвездны и подводные палаты...  
 Скорей на рыб похожи, чем на птиц,  
 Летательные наши аппараты.

□□□



## Евгений Храмов

### Июль сорок второго года

Июль сорок второго года:  
 еще не слышен Сталинград,  
 но танки генерала Гота  
 в Донской излуине хрипят.

И даже самой ранней ранью  
 ложится тень во всю длину  
 на наш поселок под Казанью,  
 на Волгу и на всю Страну.

Я вспоминаю о бомбежках,  
 воронках посреди двора

и как сладка была в лепешках  
 картошки мерзлой кожура.

Но с недосыпа, с недоеда  
 на нормированных харчах  
 предощущение победы  
 росло в измученных очах.

И верилось не столько маршам  
 из рупора над проходной,  
 а матерям и сестрам старшим,  
 не отоспавшимся с ночной.

И убедительней, чем речи  
 о том, что немец изнемог,  
 звучали тоненькие плечи  
 девчонок, полюющих горох.

Июль сорок второго года,  
 приди под своды наших дней,  
 но не страданиями народа  
 и не слезами матерей.

Не воем минным и фугасным,  
 не похоронкой в каждый дом,  
 а тем пронзительным и ясным,  
 что верую в себя зовем.

☆

За двести целковых в сезон  
 на три с половиною месяца  
 сданы нам и зной, и озон,  
 и ветра в листве куролесица.

Теперь начинается день  
 не тем, что картошка разварится,  
 а тем, что гривастая тень  
 к нам в окна раскрытые валится.

Теперь начинается ночь  
 не нудной сиделкой-бессонницей,  
 а тем, что цикадам невмочь  
 от жаркого полдня опомниться.

О, жить бы нам так же легко  
 с пожитками нашими утлыми,  
 как пьет этот луг молоко  
 сырыми и теплыми утрами!

Забить бы расчеты и спесь,  
 быть щедрым до боли и трепета,—  
 так лес отдает себя весь  
 объятьям гортанного щебета.

И пусть никогда и нигде  
 для нас эти дни не теряются.  
 Так облако в темной воде  
 всем светом своим повторяется.

☆

Как днем припоминают сон,  
 как мучаются: «Где же это...»,  
 как — из кармана давний сор,  
 а в нем клочок того билета  
 на вход в консерваторский зал  
 [счастливым случаем уступлен],  
 где гений, светел и насуплен,  
 своим искусством потрясал,  
 так вспоминаешься ты мне:  
 случайно, призрачно, бессвязно,  
 в лесу, на улице, во сне,  
 невозвратно,  
 неотвязно...

Людмила Кунецкая

# 30 ЛЕТ любви и дружбы

(Семья В. И. Ленина)

Однажды, уже после смерти Владимира Ильича, прислали Надежде Константиновне на просмотр пьесу о Ленине, где автор очень уверенно писал, что, когда к Владимиру Ильичу в Шушенское, в сибирскую ссылку, приехала Надежда Константиновна, она стала его помощницей и они вместе перевели Веббов — большой труд об английских профсоюзах. Прочтя пьесу, Надежда Константиновна искренне возмутилась: «Подумайте только, на что это похоже! Ведь мы молодые тогда были, только что поженились, крепко любили друг друга, первое время для нас ничего не существовало. А он — «все Веббов переводили».

Просматривая воспоминания самой Надежды Константиновны, родных и близких, хорошо знавших Ленина и Крупскую, нельзя не поражаться глубокому их взаимопониманию, теплоте супружеских взаимоотношений. Любовь, большое уважение друг к другу они пронесли через всю жизнь.



Впервые они встретились в 1894 году на квартире инженера Р. Э. Классона, где собиралась революционная питерская молодежь. Предлогом для собрания послужило празднование масленицы. Надежда Константиновна уже слышала о Владимире Ильиче от товарищей, причем рассказы были противоречивые. Восхищались образованностью, широтой взглядов молодого волжанина, его глубоким знанием работ Маркса и Энгельса. Но вместе с тем говорили: он настолько серьезен, что художественной литературой ему заниматься некогда, романов и стихов он вообще не читает.

На «блинах» у Классона внимание Владимира Ильича привлекла очень обаятельная, умная учительница воскресной школы. В юности Крупская была изящна, хороша собой: большие серо-зеленые глаза, пушистая пепельная коса до пояса... Шутя, Надежда Константиновна говорила, что цвет глаз и волос у нее «петербургский».

Первая же встреча показала общность взглядов, интересов и стремлений этих двух молодых людей.

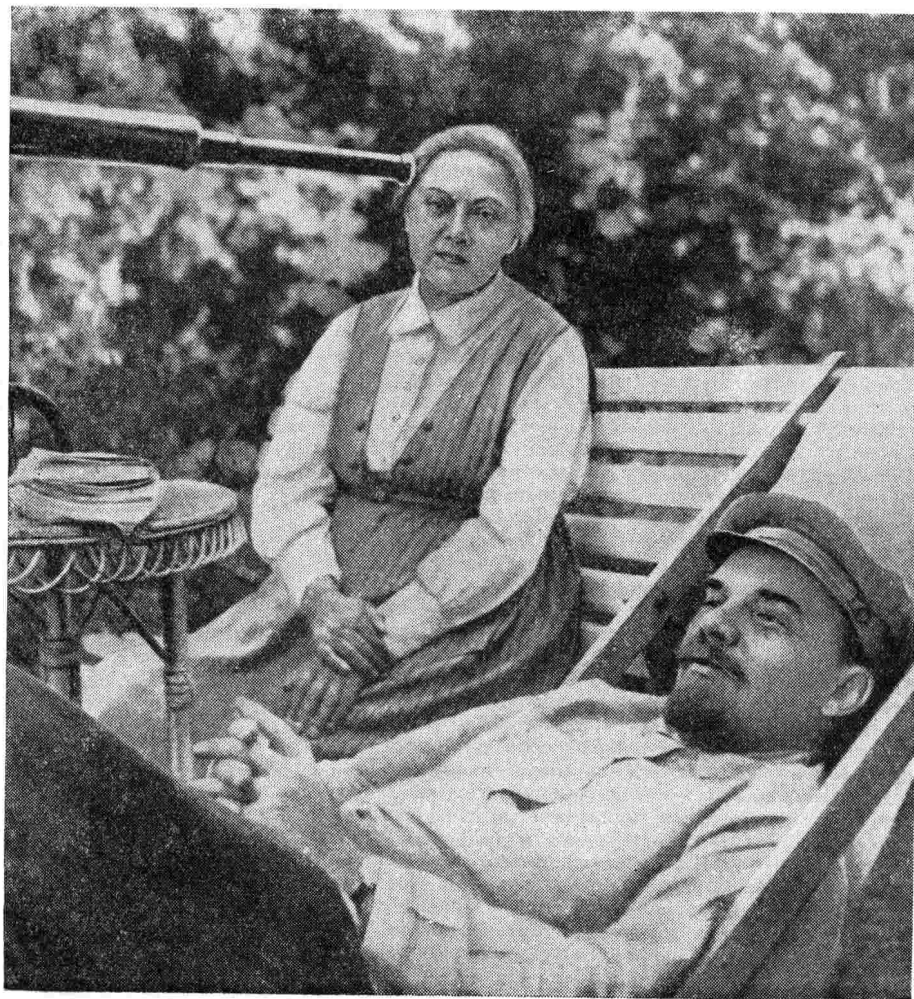
В то время они оба уже вели революционную работу. Встречи стали чаще. Надежда Константиновна рассказывала Владимиру Ильичу о своей воскресной школе, о рабочих, которые там занимаются, о положении на фабриках, где трудились ее ученики. Вскоре выяснилось, что у них много общих знакомых не только среди интеллигенции, но и среди рабочих: некоторые ученики Надежды Константиновны, такие, как Бабушкин, Грибакин — впоследствии видные революционеры, — посещали и кружок, которым руководил Владимир Ильич. «Я жила в то время на Старо-Невском, в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. Я была в то время влюблена в школу, и меня можно было хлебом не кормить, лишь бы дать поговорить о школе, об учениках, о Семяниновском заводе, о Торнтоне, Максвелле и других фабриках и заводах Невского тракта. Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, рисовавшей быт, жизнь рабочих, по отдельным черточкам старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, за что можно ухватиться, чтобы лучше подойти к рабочему с революционной пропагандой».

Много лет спустя Надежда Константиновна писала о Ленине: «Он никогда не отделял личное от общественного. Это у него сливалось в одно целое. Никогда не мог бы он полюбить женщину, с которой бы он расходился во взглядах, которая не была бы товарищем по работе».

В 1895 году Владимир Ильич тяжело заболел воспалением легких. Оторванный от семьи, от горячо любимой матери, в маленькой комнате, которую он тогда снимал, Владимир Ильич особенно остро почувствовал заботу, теплоту и внимание, которыми окружила его Надежда Константиновна. Она почти ежедневно навещала его и преданно за ним ухаживала.

В декабре этого же года на них обрушился удар — арест почти всех руководителей и активных членов «Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса». Больше года Влади-

Ленин  
и Крупская  
в Горках, 1922 г.



мир Ильич просидел в тюрьме, но все это время они с Надеждой Константиновной регулярно переписывались, и, когда весточка от нее задерживалась, в записках к товарищам из тюрьмы Владимир Ильич неизменно спрашивал, не арестовали ли Надежду Константиновну. Ленин сидел в одиночной камере, свидания с родными и знакомыми ему не разрешались, но так хотелось увидеть родное, милое лицо хотя бы издали! Во время прогулок Владимир Ильич заметил, что из окна тюремного коридора виден уголок Шпалерной улицы. В первой же своей зашифрованной записке он попросил Надежду Константиновну прийти на Шпалерную улицу в 2 часа 15 минут дня. Скромная и застенчивая, Надежда Константиновна позвала на эту прогулку свою приятельницу, но та только рассмеялась в ответ: «Нет, уж ты иди одна. Ведь он тебя хочет видеть, а вовсе не меня». Их любовь уже не была секретом для друзей. Три дня ходила Надежда Константиновна на Шпалерную и простаивала там часа

по полтора, но, очевидно, Владимир Ильич не точно указал место — был очень огорчен, что ему так и не удалось увидеть Надежду Константиновну.

Последовавший вскоре арест Крупской не прервал переписки. Надежда Константиновна еще сидела в тюрьме, когда Владимир Ильич должен был уехать в Сибирь, в ссылку. Перед отъездом он передал через Елизавету Васильевну (мать Надежды Константиновны) зашифрованное письмо, в котором писал о своей любви, а потом, уже из Шушенского, прислал подробное письмо, где просил Надежду Константиновну быть его женой и звал к себе.

Надежда Константиновна ответила на предложение согласием, после чего пришлось им подавать в полицию прошение о разрешении Крупской, как невесте ссыльного Ульянова, отбывать свои три года ссылки в Шушенском, а не в Уфе. Полиция разрешила, и Надежда Константиновна вместе со своей матерью отправилась в утомительное трехнедельное путешествие.



**П**отянулись годы ссылки. Несмотря на тоску по кипучей городской жизни, по непосредственной революционной борьбе, несмотря на постоянный полицейский надзор, на отсутствие свежих газет, книг, годы эти были счастливыми. Ленин и Крупская не остались одиноки, для сибирских просторов сто верст не расстояние. А в Минусинском округе жило много друзей, товарищей по борьбе: Кржижановские, Лепешинские, Старковы, Валеев и многие другие. Пользовались каждым удобным случаем, чтобы собраться вместе.

Владимир Ильич очень увлекался охотой — места вокруг удивительные. И сейчас, когда ходишь по окрестным лесам, дорогу то и дело перебегают зайцы, пугливые косули. А тогда дичи было куда больше... На лесных озерах гнездились многочисленные утки и гуси, было много рыбы. Все ссыльные стали здесь завзятыми охотниками. Не столько радовали охотничьи трофеи, сколько увлекало общение с первобытной природой. Почти в каждом письме из Шуши и Надежда Константиновна и Владимир Ильич пишут об охоте, которая давала возможность отдохнуть от напряженной творческой работы. Владимир Ильич завел себе щенка и старался его подна- таскать для охоты.

Надежда Константиновна так описывает один из весенних вечеров: «...Закат. На громадной весенней луже в поле плавают дикие лебеди. Или — стоишь на опушке леса, бурлит речонка, токуют тетерева. Владимир Ильич идет в лес, просит поддержать Женю<sup>1</sup>. Держишь ее, Женюха дрожит от волнения, и чувствуешь, как тебя захватывает это бурное пробуждение природы».

В такие вечера хотелось говорить о чем-то прекрасном, читать стихи. Уже здесь, в Шушенском, узнала Надежда Константиновна, как глубоко лиричен, как хорошо знает русскую и зарубежную поэзию Ленин. Говорили о Пушкине и Некрасове, Чернышевском и Добролюбова. Много рассказывал Владимир Ильич о своей семье, о горячо любимой матери, о рано умершем отце.

Еще до того, как они поженились, Надежда Константиновна познакомилась со всей семьей Ульяновых, она органически вошла в эту семью, где все жили одними интересами. Владимир Ильич из Шушенского в каждом письме рассказывает матери о Надежде Константиновне, он рад, что между ними установились теплые отношения и что Мария Александровна видит в его будущей жене свою дочь.

Мать и отец Владимира Ильича, горячо любя друг друга, были искренни, честны и справедливы в своих взаимоотношениях. Ленин, строя собственную семью, имел перед глазами замечательный пример своих родителей. Когда Владимир Ильич и Надежда Константиновна решили пожениться, они договорились никогда друг друга ни о чем не спрашивать и не скрывать, если их отношения друг к другу изменятся. Полное доверие — вот основа, на которой они построили свою совместную жизнь.

Ни Владимир Ильич, ни Надежда Константиновна не собирались оформлять свой брак церковным путем, но через самое короткое время пришел приказ полицмейстера: или венчаться, или Надежда Константиновна должна покинуть Шушенское и следовать в Уфу, по месту своей ссылки. «Пришлось

проделать всю эту комедию», — говорила Надежда Константиновна.

Владимир Ильич в письме к Марии Александровне от 10 мая 1898 года так обрисовывает создавшееся положение: «Н. К., как ты знаешь, поставили трагико-комическое условие: если не вступит немедленно (sic!) в брак, то назад в Уфу. Я вовсе не расположен допускать сие, и потому мы уже начинаем «хлопоты» (главным образом прошения о выдаче документов, без которых нельзя венчать), чтобы успеть обвенчаться до поста (до петровок): позволительно же все-таки надеяться, что строгое начальство найдет это достаточно «немедленным» вступлением в брак?! Приглашаю теснцев (они уже пишут, что ведь свидетелей-то мне надо) — надеюсь, что их пустят.

Привет всем нашим.

Целую тебя крепко. Твой В. У.».

В той глуши, где они жили, нельзя было достать обручальных колец, но среди ссыльных был мастер на все руки — Энгберг. Из обыкновенного медного пятак он выпилил жениху и невесте обручальные кольца: тоненькое и маленькое — Надежде Константиновне, помассивнее — Владимиру Ильичу. Только однажды надели они эти кольца, во время венчания, но берегла этот драгоценный сувенир Надежда Константиновна до конца жизни, и много лет спустя, когда Владимира Ильича уже не было рядом с ней, она с нежностью смотрела на эти кольца, так много говорившие ей о Шушенском, о далекой юности, о большой, неумирающей любви. Незадолго перед своей смертью передала Крупская эти кольца в Центральный музей В. И. Ленина, где они хранятся до сих пор...



**Н**о не только любовью были наполнены годы ссылки. Оба много работают. Владимир Ильич заканчивает здесь фундаментальное исследование «Развитие капитализма в России», а Надежда Константиновна пишет свою первую книжку «Женщина-работница». И сейчас в комнате Надежды Константиновны в кремлевской квартире сохраняется второе издание этой брошюры 1905 года. На сером переплете переплетено рукой Надежды Константиновны зачеркнуто: «Автор — Н. Саблина» — и вверху написано: «Н. Крупская». И на обложке и на титуле экслибрис, который ставил на своих книгах Владимир Ильич в годы эмиграции: «VI. Oulianoff». На некоторых страницах пометки Крупской, сделанные, очевидно, когда книжка готовилась к переизданию.

Здесь, в Шушенском, привык Владимир Ильич все свои работы прежде всего прочитывать жене, слышать ее объективное и взыскательное мнение. «Надюша», говорил он, — мой самый первый и мой самый строгий критик». В одном из писем к матери Ленина Надежда Константиновна пишет: «...последнее время он по уши ушел в свои рынки и пишет с утра до вечера. Первая глава уже готова, мне она показалась очень интересной. Я изображаю из себя «беспонятного читателя» и должна судить о ясности изложения «рынков», стараюсь быть как можно «беспонятнее», но особенно придираться ни к чему не могу».

Срок ссылки Ленина кончался раньше, но из Шушенского выехали вместе. Ни одного дня не мог Владимир Ильич оставаться в этой глуши, вдали от общественной жизни, от борьбы. Он вез Надежду

<sup>1</sup> Охотничья собака Владимира Ильича. — Автор.



Константиновну в Уфу. Ненадолго Владимир Ильич задержался в центральных районах России. Повидался с матерью, с сестрами и братом, собрал совещание единомышленников, за короткое время проделал гигантскую работу по объединению марксистских кружков, а затем выехал за границу для налаживания печатания «Искры». Так начались годы эмиграции. Все месяцы, что Крупская жила в Уфе, они активно переписывались. Жила Надежда Константиновна на углу Тюремной и Жандармской улиц, и Владимир Ильич шутя говорил, что это самые «подходящие» для нее улицы.

К сожалению, переписка этого периода не сохранилась. По условиям конспирации письма приходилось уничтожать. Зато сохранились письма Владимира Ильича к матери; из них видно, с каким великим нетерпением ждет он к себе Надежду Константиновну: «Теперь уже не так далек и Надин приезд, — через 2,5 месяца ее срок кончается, и тогда я устроюсь совсем как следует». В следующем письме: «До срока Наде осталось уже меньше 2-х месяцев...»; через три недели опять: «Скоро конец Надинского срока (24. III по здешнему, — а по вашему 11. III). На днях пошлю прошение о выдаче ей паспорта». И так в каждой весточке из эмиграции домой, в Россию.

Очень сложен был путь каждого письма, не менее сложна была и первая поездка Надежды Константиновны за границу к Владимиру Ильичу. Письма Ленину она писала в Прагу на имя господина Модрачека и была твердо убеждена, что это точный конспиративный адрес Владимира Ильича. Поэтому уверенно направилась в столицу Чехословакии, а там, прямо с вокзала, на квартиру к Модрачекам. Позднее она с большим юмором описывала этот эпизод: «Дверь отворит беленькая чешка. Я твержу: «Модрачек, герр Модрачек». Выходит рабочий, говорит: «Я Модрачек». Ошеломленная, я мямлю: «Нет, это мой муж». Модрачек, наконец, догадывается: «Ах, вы, вероятно, жена герра Ритмайера, он живет в Мюнхене, но пересылал вам в Уфу через меня книги и письма». Пришлось ехать в Мюнхен, где история повторилась. Нужный дом оказался пивной, господин Ритмайер — ее владельцем. А Владимир Ильич жил в Мюнхене под фамилией Мейера...

Наконец они встретились, чтобы уже никогда не расставаться. Теперь они вместе и в Швейцарии, и во Франции, и в Англии, и в Польше. Во многих городах пришлось им побывать, встречаться с сотнями разных людей, и всюду Ленин был в центре работы по созданию и сплочению боевой партии пролетариата, а рядом с ним везде и всегда жена, друг, соратник — Надежда Константиновна.

Чуткая и мягкая, она стремилась оградить мужа от всех мелких житейских невзгод, скрасить его редкие минуты отдыха, — и он платил ей той же заботой, той же нежностью. Однажды с одним из старых членов партии Владимир Ильич предпринял поездку в пригород Парижа. Ехали по цветущему лугу. Вдруг Владимир Ильич сошел с велосипеда и стал рвать ромашки, набрал огромный букет и прикрепил его к раме велосипеда. В ответ на удивленный взгляд товарища Владимир Ильич сказал: «Это для Надежды Константиновны. Она их очень любит».

Когда Владимир Ильич уж очень устал от напряженной работы, он укладывал запачканные мешки и вместе с Надеждой Константиновной уходил далеко в горы.

«Деньжат у нас было в обрез, — рассказывала Крупская, — и мы питались больше всухомятку — сыром и яйцами, запивая вином да водой из ключей, а обедали лишь изредка. В одном социал-демокра-

тическом трактирчике один рабочий посоветовал: «Вы обедайте не с туристами, а с кучерами, с шоферами, чернорабочими: там вдвое дешевле и сытнее». Мы так и стали делать... И Владимир Ильич с особенным удовольствием шел обедать в застольную, ел там с особым аппетитом и усердно похваливал дешевый и сытный обед. А потом мы одевали наши мешки и шли дальше. Мешки были тяжеловаты: в мешке Владимира Ильича уложен был тяжелый французский словарь, в моем — столь же тяжелая французская книга, которую я только что получила для перевода. Однако ни словарь, ни книга ни разу даже не открывались за время нашего путешествия; не в словарь смотрели мы, а на покрытые вечным снегом горы, синие озера, дикие водопады».

Такие прогулки они совершали постоянно, стараясь держаться подальше от проторенных маршрутов, от скучающей разноплеменной толпы. Находили особое удовольствие, открывая новые красоты; туристами были умелыми, и не все могли за ними угнаться.

Увлекались они и велосипедными прогулками. Объездили окрестности Парижа, Женевы, Лондона. Владимир Ильич всегда старался остановиться в пансионе, а не снимать комнату, чтобы освободить жену от хозяйственных забот.

Почти все большевики, что жили тогда за границей, были ровесниками, их объединяли не только общие политические взгляды, но и общие вкусы, увлечения. Часто собирались вместе на маленьких эмигрантских квартирах, и тогда по улочкам сонной Женевы или рабочего Парижа плыли звуки русских народных и революционных песен, звучала музыка Чайковского, Скрябина. Среди товарищей было много талантливых людей: Инесса Арманд и Кедров играли на фортепьяно, Красиков — на скрипке, Гусев прекрасно пел. Старая большевичка М. Эссен рассказывала: «Вспоминаются вечера, которые мы проводили у Ленина. Владимир Ильич обладал довольно приятным, несколько глуховатым голосом и очень любил попеть в хоре и послушать пение. Репертуар наш был довольно разнообразен, начинали обычно с революционных песен: «Интернационала», «Марсельезы», «Варшавянки» и других. С большим чувством пели «Замучен тяжелой неволей», «На старом кургане в широкой степи». Нравились Владимиру Ильичу песни Сибири: «Ревела буря», «Славное море, священный Байкал» — и песнь о Степане Разине «Есть на Волге утес»...

Утомившись и перепев любимые революционные песни, приступали к слушанию сольных номеров. Замечательно пел С. И. Гусев. У него был сочный голос, и пел он, не жалея сил. Ленин слушал с удовольствием и романсы Чайковского «Ночь», «Среди шумного бала», «Мы сидели с тобой у заснувшей реки», и песнь Даргомыжского «Нас венчали не в церкви», и арии тореадора из «Кармен».

Очень часто Владимир Ильич и Надежда Константиновна гостили у Семашко, Бонч-Бруевича, Луначарского. И если в семье были дети, они неизменно отнимали Ленина у взрослых. Ребята сразу же чувствовали в нем друга, тянулись к нему. И не ошибались. Сколько души вкладывал Владимир Ильич в игры с ребятами, с какой искренней серьезностью вникал во все их детские дела, с каким удовольствием покупал им подарки!

Надежда Константиновна, живя в эмиграции, усилительно изучала постановку школьного дела в разных странах. У нее был большой педагогический талант, вполне развернувшийся на родине после Октябрьской революции.

Годы, проведенные в эмиграции, были заполнены плодотворнейшим трудом.



Вдали от родины Ленин вел труднейшие бои с меньшевиками и социал-предателями всех мастей.

В конечном успехе этой борьбы есть заслуга и Надежды Константиновны. Огромная партийная переписка, бесконечная шифровальная работа — Надежда Константиновна не знала усталости. Но ее здоровье ухудшалось, начались приступы базедовой болезни. Особенно тяжело было в 1913 году, когда они жили в Кракове. Специалисты уверяли, что Надежде Константиновне поможет горный воздух, и летом они переезжают в деревню Поронино, недалеко от Кракова. В этот период по инициативе Ленина стал выходить в Петербурге журнал «Работница», и одним из его организаторов была Надежда Константиновна.

Начало империалистической войны застало их в Галиции. Владимира Ильича арестовывают по вздорному обвинению в шпионаже и сажают в тюрьму в местечке Новый Тарг. Ежедневно Надежда Константиновна ездит к нему на свидание из Поронино, энергично добивается его освобождения. Ленина выпустили из тюрьмы, но Галицию пришлось покинуть.

Известие о Февральской революции застаёт Ленина и Крупскую в Швейцарии. Они не колеблются ни минуты, их место в России. С большим трудом, при помощи австрийских социал-демократов, удалось добиться разрешения на проезд русских эмигрантов через Германию. Знаменитый запломбированный вагон, нельзя выйти ни на одной остановке, — правительство кайзера боится беспорядков, митингов. Тесно прижавшись друг к другу, стоят у окна Крупская и Ленин, смотрят на пробегающие пейзажи, и кажется им, поезд идет так медленно, что никогда не кончится чужая земля.

Много ли в жизни таких счастливых минут, как эта встреча у Финляндского вокзала?! Как счастлива Надежда Константиновна — и прежде всего за Ленина: ведь к этой минуте он шел долгими годами ссылки, эмиграции, революционной борьбы! Сквозь радостные слезы Крупская видит, как сотни рук поднимают Владимира Ильича и ставят на броневик. А он, взволнованный, бросает в людское море великие слова о социалистической революции...

Потом были напряженнейшие месяцы перед Октябрем: наступление Временного правительства, снова подполье. После июльских событий Ленин живет в Разливе. Когда осенью Владимир Ильич перебрался в Финляндию, Надежда Константиновна стала получать от него письма. Наконец Ленин сообщил, что она может к нему приехать. Ехала Крупская по паспорту Агафьи Атамановой, пограничной жительницы, имеющей право перехода через финляндскую границу около Сестрорецка. Сохранилась фотография, с которой на нас из-под платочка работницы смотрят такие знакомые глаза Надежды Константиновны. На губах чуть заметная улыбка.

В конспиративном письме Владимир Ильич нарисовал точный план, как добраться от вокзала к дому, чтобы ни к кому не обращаться по дороге. Все обошлось благополучно, если не считать, что письмо, когда его проявляли на огне, обгорело и Надежда Константиновна едва не заблудилась.

В бурные дни и ночи Великого Октября Надежда Константиновна была в гуще событий. На вид спокойная и уверенная, она очень волновалась за Владимира Ильича. Он совсем не спал, почти ниче-

го не ел. Когда Надежду Константиновну спрашивали, как выглядел в эти дни Ленин, она рассказывала только об одном: Ленин был счастлив, что революция рабочих и крестьян свершилась и победно шествовала по стране.

✱

В марте 1918 года столица Советской республики была перенесена из Петрограда в Москву. Владимир Ильич — глава первого в мире государства рабочих и крестьян. Тяжелое время для молодой республики: голод, холод, интервенция, разгоралась гражданская война. В тот напряженный период Ленин работал по 12—18 часов в сутки, темп работы был «бешеный», как говорил сам Владимир Ильич.

Семья обосновалась в небольшой квартирке, непосредственно около Совнаркома. Когда сейчас идешь по этим комнатам, невольно отмечаешь: ничего лишнего, никаких украшений, и все-таки уютно. Каждый имел свою комнату, так как и дома все много работали.

«Десятилетиями партия видела две женские фигуры около Ленина. Жену. Сестру», — вспоминает Михаил Кольцов. Большая дружба и любовь связывали Владимира Ильича и Марию Ильиничну. Очень живая, с исключительно цельным и напористым характером, прямая и отзывчивая Маняша, как ее называли близкие, была общей любимцей.

В кремлевской квартире ей по настоянию Ленина была отведена самая большая и удобная комната. Работала Мария Ильинична сверх всякой меры и сил, возвращалась домой часто ночью: Владимир Ильич постоянно беспокоился, не очень ли «перестала» Маняша на работе...

Очень любил Владимир Ильич, когда вся семья собиралась за обедом. Если он приходил домой первым, тотчас звонил в Наркомпрос Надежде Константиновне, просил ехать непременно обедать домой. Зная напряженную редакционную работу в «Правде», Владимир Ильич звонил Марии Ильиничне и лукаво спрашивал, собирается ли она вообще обедать сегодня. И когда все собирались, непременно возникали беседы, непринужденные, а подчас и шуточные.

Мария Ильинична вела домашнее хозяйство семьи Ленина: покупала продукты, одежду, белье, обувь. Ну, а самое главное, заботилась о Владимире Ильиче, стараясь, чтобы он отдыхал днем, а в воскресные дни была инициатором загородных поездок.

Тридцатого августа 1918 года Мария Ильинична была больна, но когда Владимир Ильич зашел к ней проститься перед тем, как поехать на митинг в Замоскворечье, стала проситься с ним. «Ни под каким видом, сиди дома», — ответил он и ушел. Сестра первой узнала о беде: покушении эсерки-террористки Каплан на Ленина. Забыв о своей болезни, она хлопотала около тяжело раненного брата. Шофера Гиля послали встретить Надежду Константиновну. Взглянув на его лицо, Крупская поняла все, спросила лишь: «Вы скажите только: жив Ильич или нет?» И, услышав, что жив, бросилась домой.

В маленькой прихожей, в комнатах много людей, пройти надо было несколько метров, но «этот путь мне показался целой вечностью», — писала Крупская позднее. «Я вошла в нашу спальню. Ильичева кровать была выдвинута на середину комнаты, и он лежал на ней бледный, без кровинки в лице. Он увидел меня и тихим голосом сказал минуту спустя: «Ты приехала, устала. Поди ляг». Слова были несус-

разны, глаза говорили совсем другое: «конец». Я вышла из комнаты, чтобы его не волновать, и стала у двери так, чтобы мне его было видно, а меня не видел бы».

Потянулись дни болезни Владимира Ильича. Опять не спали Мария Ильинична и Надежда Константиновна, чутко прислушиваясь к каждому шороху в комнате Владимира Ильича. Когда Ленин стал выздоравливать, переехали в Горки. Здесь Владимир Ильич вскоре смог приступить к работе.

Но здоровье самой Надежды Константиновны тоже было подорвано. Осенью 1919 года начался тяжелый рецидив базедовой болезни, и пришлось ей лечь в Сокольники, в лесную школу вместо санатория. Ей там помогала сама окружающая обстановка, дети быстро стали ее друзьями. Нередко навещался Владимир Ильич, и вся школа с нетерпением ждала его приезда. Именно здесь, в лесной школе, среди детей, встретили Надежда Константиновна и Владимир Ильич 1919 год.

После революции Ленин и Крупская были все время вместе. Только однажды они расстались на два месяца, когда в июне 1919 года Надежда Константиновна поехала по Волге и Каме на агитационном пароходе «Красная Звезда».

«Перед отъездом мы долго толковали с Ильичем,— вспоминала Крупская,— как и что надо делать, чем помогать населению, на каких вопросах больше всего останавливаться, во что особенно вглядываться. Ильича самого тянуло поехать, да нельзя было работы ни на минуту бросить. Накануне отъезда проговорили всю ночь, поехал Ильич провожать нас на вокзал, заказал регулярно писать ему, разговаривать с ним по прямому проводу».

Долго хранила Крупская те два письма, которые она получила от Владимира Ильича во время поездки. Полны они большой заботы, беспокойства о здоровье Надежды Константиновны.

«Дорогая Надюшка. Очень рад был получить от тебя весть. Я уже дал одну телеграмму в Казань и, не получив на нее ответа, послал другую в Нижний...»

Крепко обнимаю, прошу писать и телеграфировать чаще. Твой В. Ульянов.

АВ: Слушайся доктора: ешь и спи больше, тогда к зиме будешь вполне работоспособна».

Очень занятый, Владимир Ильич сообщает, что читает те письма, которые приходят в ее адрес, и старается сделать, что возможно. Несмотря на то, что поездка была тяжелой, вернулась Надежда Константиновна окрепшая и посвежевшая. Семья опять была вместе.



**Н**адежда Константиновна вызывала неизменное уважение окружающих. Очень хорошо о Крупской тех лет сказала замечательная немецкая революционерка Клара Цеткин: «Ее соединяла с Лениным самая искренняя общность взглядов на цель и смысл жизни. Она была правой рукой Ленина, его главный и лучший секретарь, его убежденнейший идейный товарищ, самая сведущая истолковательница его воззрений... Наряду с этим она имела свою особую сферу деятельности, которой она отдавалась всей душой,— дело народного образования и воспитания».

Было бы оскорбительно и смешно предполагать, что т. Крупская в Кремле играла роль «жены Ленина». Она работала, несла заботы вместе с ним, пеклась о нем...»

Однажды английские журналисты провели интервью с Надеждой Константиновной, а затем в одной

из газет Великобритании появилась большая статья «Первая леди». Автор был поражен скромностью Крупской, он подробно описывает ее непритязательную одежду, полное отсутствие всякой позы и вместе с тем полную достоинства сдержанность. Владимир Ильич очень смеялся над изумлением автора и с тех пор любил шутя называть жену «первой леди».

Известная журналистка Луиза Брайант, жена Джона Рида, неоднократно встречавшаяся с Лениным во время своего длительного пребывания в нашей стране, писала в своих воспоминаниях: «Ленин обоим женой и охотно говорит о ней. Как-то я сказала, что мне хотелось бы с ней познакомиться, он заметил: «Да, обязательно, она вам понравится, это очень умная женщина».

Всем членам семьи Ульяновых была чужда сентиментальность. Большие чувства не требуют особых внешних проявлений. Каждый, кто приходил в их дом, чувствовал себя свободным и открыто. В. А. Карпинский выразил мысли всех, знавших семью Ленина, сказав однажды, что здесь царила особая атмосфера чистоты, невозможна была никакая пошлость... Ленин в высшей степени обладал чувством юмора, в его доме ценили и понимали шутку, но никого и никогда бы не обидели. Ульяновы не любили прикрывать правду красивыми словами и подслащивать пилюлю.

Была у Крупской и Ленина хорошая традиция: отмечать день рождения Ильича только вдвоем. Обычно апрель в Подмоскovie теплый, распускаются первые листья, на проталинах цветут подснежники. Двадцать второго апреля уходило куда-нибудь в лес, вспоминали прошлое, но гораздо чаще говорили о будущем: оно казалось совсем близким, его прекрасное здание выросло перед мысленным взором,— и они были творцами этого здания.

Они прошли вместе весь путь до конца. Тридцатилетний путь любви и дружбы... Когда не стало Владимира Ильича, и Надежда Константиновна и Мария Ильинична продолжали жить в кремлевской квартире, работали, Крупская приступила к воспоминаниям о Ленине. Не раз сожалела она о том, что не вела дневника, что не стенографическая у нее память.

К сожалению, она не успела закончить своей работы, но со страниц этой книги, переведенной на многие языки мира, встает прекрасный образ Ленина — вождя, борца, человека. Надежда Константиновна свято берегла все, что было связано с его жизнью, с памятью о нем. Только она могла, прощаясь с Лениным, сказать проникновеннейшие слова: «Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого он не говорил сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту».

Эту свою любовь Владимир Ильич передал созданной им партии, коммунистам всего мира.

...Когда Владимир Ильич произносил: «Моя семья»,— он имел в виду Надежду Константиновну и Марию Ильиничну. Маленькая семья. Но какая огромная дружба, всепобеждающая любовь, какая общность мыслей, стремлений, чувств связывала ее, была ее основой! Михаил Кольцов писал по этому поводу: «У нас так много толковали, чесали языки о коммунистическом быте, о семье рабочего и партийца, вычисляли, через сколько сотен лет придет проектируемый быт. Но вот смотрите, коммунистический быт уже среди нас! Семья Ленина. Это так же изумительно, как Ленин. Это так же просто, как Ленин».

Виктор  
Ульянов



## У ЛЕНИНА В ГОРКАХ

Виктор Дмитриевич Ульянов — племянник Ленина — после смерти матери с трех лет жил и воспитывался в семье Владимира Ильича. Сейчас он научный работник, живет в Москве. По просьбе редакции журнала «Юность» В. Д. Ульянов поделился воспоминаниями о детских годах, проведенных в Горках.

**В** Москву меня привезли зимой 1921 года. Мне тогда еще не исполнилось четырех лет.

До этого я рос в деревне Кравцово, Серпуховского уезда, Московской губернии. Мой отец, Дмитрий Ильич Ульянов (брат Ленина), до революции жил там под надзором полиции. Когда умерла мать, меня забрала к себе Анна Ильинична. Привез нас в Москву шофер Владимира Ильича — Гиль.

В деревне мне редко приходилось видеть незнакомых людей, поэтому в детстве я был очень застенчивым.

Когда я впервые увидел Владимира Ильича, то от смущения залез под диван. Стоило больших трудов выманить меня оттуда. Но вскоре я крепко подружился с Владимиром Ильичем. Он любил слушать деревенские частушки, которых я знал тогда очень много. Стоило ему попросить меня спеть что-нибудь, я «заводился», как долгоиграющая пластинка, и меня уже трудно было остановить. Слушая частушки в моем исполнении, Владимир Ильич хохотал до слез.



**В**есной 1922 года Владимир Ильич серьезно заболел. Врачи потребовали, чтобы он прервал работу и уехал в Горки под Москвой на отдых. Летом он много гулял, купался, ходил в лес по грибы, иногда даже на охоту. Здоровье Ленина улучшилось, но враги Советской России распускали тревожные слухи о болезни Владимира Ильича. Эти слухи очень волновали рабочих и крестьян нашей страны, напряженно следивших за состоянием здоровья Ленина. Чтобы опровергнуть эти слухи и успокоить трудящихся, газета «Правда» прислала в Горки своего фотокорреспондента, который должен был сделать несколько снимков Ильича на отдыхе.

Было это в августе, лето кончалось. Фотокорреспондент В. Лабода приехал рано. Утро было прохладное, Владимир Ильич почему-то захотел сняться вместе со мной. Я капризничал, не желая надевать свитер, и смирился только тогда, когда увидел, что и Владимира Ильича заставляют потеплее одеться.

Первый снимок был сделан, когда мы с Владимиром Ильичем шли из дома по направлению к его лю-

бимой аллее. Владимир Ильич держал меня за руку, мы оба улыбались, довольные друг другом.

Затем фотокорреспондент попросил всех нас сесть на скамью и приготовился к съемке, но я решительно запротестовал. В Горках я дружил с дочкой рабочего Верой, она в это время стояла около нас. Я потребовал, чтобы и Вера снималась с нами. Фотограф пытался втолковать мне, что ему надо снять Владимира Ильича с родными, но я не желал слушать никаких объяснений, считая, что если снимаются все, то должна сниматься и Вера. Владимир Ильич и Надежда Константиновна поддерживали меня. Счастливая Вера села рядом с нами. Только тогда я успокоился. Нас сфотографировали, но снимок был испорчен. Я выглядел на нем сердитым и, как говорят, зареванным. Но фотограф сделал несколько снимков, и из них можно было выбрать получше.



**Л**ейнин любил собирать ягоды и грибы. Они росли не только в лесу, их было много и в большом парке. Владимир Ильич часто брал меня с собой, и мы вместе с ним собирали их недалеко от дома.

Грибы я хорошо собирал. Тогда я был ненамного выше их, мои глаза были ближе к земле и видели лучше, чем глаза взрослых. Владимир Ильич щедро хвалил меня за каждый найденный гриб. Это заставляло меня еще более ретиво искать их.

Вот только с ягодами мне не везло. Не то, чтобы я их хуже видел, но ведь грибы сырыми не едят, а ягоды как-то незаметно для себя я отправлял в рот. Когда надо было возвращаться домой, моя кружка всегда была пуста. Тут уж хвалить меня было не за что. Да я и не ждал похвалы, а с завистью «пожирал глазами» наполненную ягодами кружку Владимира Ильича. В таких случаях он лукаво смотрел на меня и, добродушно смеясь, отдавал мне свою кружку. Я, конечно, быстро уничтожал ее содержимое. Домой мы всегда возвращались с пустыми руками.

Нам уже перестали доверять собирать ягоды к чаю. А зачем собирать ягоды к чаю, когда их можно и так есть?





**В** те годы, когда Владимир Ильич жил в Горках, в стране было очень голодно. Война, сначала империалистическая, а потом гражданская, вконец разорила наше государство. Не хватало хлеба и овощей. Рабочие начали разводить огороды, сажать картофель, используя каждый клочок земли.

У нас в Горках на большой клумбе, где раньше цвели розы, росли помидоры. Я их очень любил, и мне их давали, но, конечно, помидоры, которые мне удавалось сорвать самому, пусть даже полужелтые, казались мне куда вкуснее. Но рвать помидоры мне было строго-настрого запрещено.

Чтобы обмануть бдительность Анны Ильиничны и Марии Ильиничны, я начинал «охоту» за помидорами издали. Я уходил на другую сторону дома и, ползая по траве, пригибая как можно ниже голову, осторожно подбирался к клумбе. Беда заключалась в том, что мне, как страусу, казалось тогда, что, если спрячешь голову, тебя никто не увидит. Поэтому я не беспокоился об остальных частях тела, которые резко выделялись на зеленом фоне травы. Если меня обнаруживали прежде, чем я успевал обогнуть дом и пробраться к клумбе, то я уверял, что ползаю по-пластунски, как меня учили сотрудники из охраны Ильича. Но женщины никак не одобряли эти военные занятия и строго отчитывали меня. Они, конечно, прекрасно понимали цель моих «пластунских» упражнений. Когда же Владимир Ильич с балкона второго этажа видел, как я, пряча голову в траве, ползу к заветной клумбе, он лишь громко смеялся. Но все равно это тоже срывало мою «охоту».



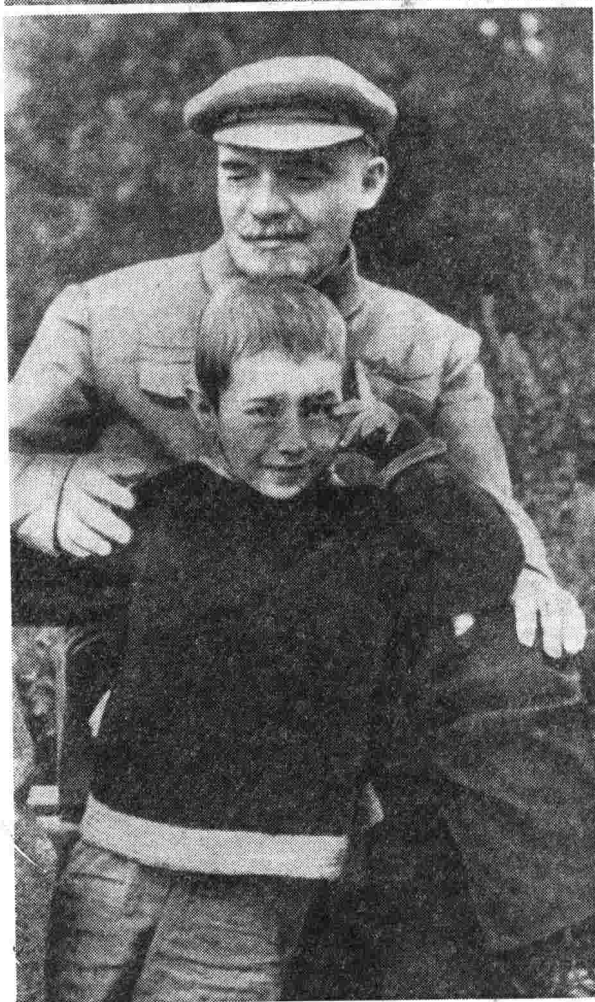
**В** Горки ежедневно привозили газированную фруктовую воду. Ее называли шипучкой, потому что она шипела, когда ее наливали в стаканы. Приготовлялась она, кажется, с сахарином, и, наверное, поэтому ее считали вредной для детей. Я как-то попробовал ее, и мне она показалась совсем не вредной, а очень вкусной. Ведь в то время не было сладостей, не было конфет, пирожных, сахар и то не всегда был. Я не мог спокойно смотреть, когда взрослые пили шипучку, а мне не давали.

Однажды за ужином, глотая слюны, я с жадностью смотрел, как взрослые пили воду. Чаша моего терпения лопнула, и я устроил бунт за столом. Средства у меня были ограниченные. Свой протест против несправедливых порядков, установленных взрослыми, я мог выразить только ревом. Тогда Владимир Ильич молча поставил передо мной полную бутылку шипучки.

— Надо было видеть, — рассказывала потом обо мне Мария Ильинична, — с каким победоносным видом посмотрел он на всех под одобрительный смех Ильича.



**В**ладимир Ильич часто брал меня с собой купаться. Он очень хорошо плавал, а речка Пахра, протекающая у Горок, узкая. Там развернуться хорошему пловцу было негде. Впрочем, мне тогда эта речушка казалась большой и полноводной, и я с удовольствием в ней «плавал» тоже по-пластунски — животом по отлогому песчаному дну. Конечно, мне казалось, что я плаваю не хуже Владимира Ильича. Он, бывало, на середине реки ляжет на спину и плывет без движения по течению.



О снимках этих подробно рассказывается в тексте. На верхнем — рядом с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной вы видите маленького Виктора и дочку рабочего Веру. Нижняя фотография была сделана тогда же, в августе 1922 года, когда Виктору Ульянову было пять лет.



На этом снимке Владимир Ильич — с кошечкой, которую, по предположению автора воспоминаний, Ленин, возможно, получил в подарок от Камо.

Однажды он влез в воду и поплыл, держа высоко над водой газету. Доплыв до середины, он лег на спину и стал читать ее. Когда после купания он вылез на берег, газета была совсем сухая. Ни один уголок ее не намок. Хотя мне было тогда всего пять лет, но после этого случая я окончательно признал несомненное превосходство Владимира Ильича в плавании.

☆

**В**се, наверное, видели фотографию Владимира Ильича с кошечкой на руках. Владимир Ильич очень любил животных.

Был такой знаменитый профессиональный революционер Камо. Во время первой русской революции он был организатором боевых дружин в Закавказье. За революционную борьбу царские суды четыре раза приговаривали его к смертной казни, но Камо всегда удавалось накануне казни бежать из тюрьмы.

Камо очень любил Владимира Ильича Ленина. То ли в 1919, то ли в 1920 году вот этот самый храбрец Камо и привез из Баку кошечку. Вез он ее почему-то за пазухой. В дороге она исцарапала ему всю грудь. Камо все стерпел, довез кошечку до Москвы и подарил Ленину. Об этом мне рассказывала Надежда Константиновна Крупская.

Не знаю, та ли самая кошечка снята на фотографии или другая.

☆

**В**ладимир Ильич, наверное, совсем не умел сердиться на детей. Все мои шалости, за которые мне немало влетало от Анны Ильиничны и Марии Ильиничны, у Владимира Ильича вызывали лишь добродушный смех.

Как и все мальчишки, я любил играть в войну.

Стрелял я из самодельного лука. Стрелы мастерил с острым наконечником, вставляя в них, уж не помню как, тонкие гвозди острием вперед.

Как-то утром, когда я с азартом упражнялся в стрельбе, посылая стрелы во все стороны, где, по своей фантазии, пританислись белогвардейцы, на балкон вышел Владимир Ильич. Наблюдая за моими военными упражнениями, он весело рассмеялся. Совсем по-другому отнеслась к этому Мария Ильинична. Она не только разоружила меня, но и крепко отчитала.

☆

**Л**енин всегда относился к детям с трогательным вниманием. Он не подлаживался, а разговаривал с ними просто, как с равными. Это и располагало к нему всех ребят, живших тогда в Горках.

Однажды я вместе с другими ребятами играл в аллее парка. Мы лепили из мокрого песка кораблики. Владимир Ильич тогда был болен и на прогулку выезжал в кресле-коляске, которую сам передвигал. В коляске были сделаны такие приспособления, которые позволяли самому ее передвигать. Когда Владимир Ильич появился в начале аллеи, мы ждали, что он обязательно раздавит наши кораблики, но Ленин осторожно объехал их и поехал дальше. Тогда мы решили построить «корабли» поперек всей аллеи так, чтобы Владимир Ильич никак не мог их объехать. Мы не жалели труда, нам очень интересно было посмотреть, как коляска раздавит «корабли». Но Владимир Ильич, возвращаясь, доехал до наших сооружений и свернул на траву, хотя это и было тяжело для него. Он не хотел огорчать нас. Уважая всякий труд, Ленин не хотел разрушать и наши песочные бастионы.

☆

**З**имой 1924 года в Горках была устроена елка для детей. Мне тогда было уже семь лет. Я впервые получил ответственное задание — принимать и занимать гостей до начала праздника.

Большая елка, ярко украшенная самодельными игрушками, цепями из разноцветной бумаги, стояла в самом большом зале дома, который назывался «Зимний сад». Игрушки и все украшения к елке долгими зимними вечерами мастерили, рисовали, клеили Надежда Константиновна, Анна Ильинична и Мария Ильинична. Ребят на елку пришло много. Пришли все дети рабочих, живших тогда в Горках, и ребята из деревни. Я носился с ними по всем комнатам, привел в библиотеку, достал старые русские и иностранные журналы, показывал и объяснял, как умел, яркие картинки. Потом мы водили хороводы вокруг елки, танцевали, затеяли шумные, веселые игры. Мария Ильинична играла на пианино, Анна Ильинична и Надежда Константиновна ходили в хороводах вместе с нами.

В разгар веселья к нам приехал в кресле на колесах Владимир Ильич. Он с интересом глядел на наши игры. Потом Мария Ильинична и Надежда Константиновна принесли корзину с подарками. Ленин с удовольствием стал раздавать подарки.

На следующий день я заболел корью. Меня увезли из Горок в Москву. Не прошло и месяца после праздника елки, как Владимира Ильича не стало. Я еще не оправился от болезни, но, уступая моим настоятельным просьбам, меня взяли с собой в Колонный зал Дома союзов. Там я вместе со всеми попрощался с Владимиром Ильичем Лениным.



Григорий Медынский

# ...ТАКОВО ЭТО «Я»

*Из дневника и писем Ф. Э. Дзержинского.*

**Д**елай жизнь с товарища Дзержинского... Сколько раз в разных контекстах и по разным поводам слышали мы и употребляли сами эти хрестоматийно привычные слова. Но вот передо мной книга, которая, словно прожектором, осветила эти такие привычные слова, и они вдруг засверкали каким-то новым светом: Феликс Дзержинский «Дневник заключенного. Письма» (изд-во «Молодая гвардия», серия «Тебе в дорогу, романтик!»).

Книга меня захватила. Я не мог оторваться, прежде чем не прочитал ее до конца, а прочитав, я захотел рассказать о ней читателю нашего журнала.

Однако, испробовав несколько вариантов, я почувствовал, что просто переложить и просто рассказать о ней невозможно: слишком многими гранями она поворачивается к читателю, слишком много в ней того, о чем нужно бы и говорить и думать, думать. А главное, я почувствовал, что за всем этим стоит могучая личность, человек необыкновенного богатства души, и мне захотелось, чтобы и читатель ощутил эту личность во всей ее широте, глубине и высоте, во всех ее, так сказать, трех измерениях и плюс — в четвертом — в ее развитии и устремлении. Пусть это будет своего рода психологический портрет, выполненный методом литературной мозаики. А портрет не фотография. Его нельзя нарисовать без проникновения в сущность того человека, которого или о котором пишешь. И тогда, в поисках этой сущности, я натолкнулся на слово, которое я сам сначала не сразу принял, — поэзия.

Большой государственный деятель, революционер, одиннадцать лет проведенный в тюрьмах, ссылке, на каторге, а потом сам ставший на страже революции, «железный Феликс», чекист самого сурового, беспощадного времени, — при чем здесь поэзия? Тюремный дневник, тюремные в подавляющем большинстве своем письма — какая же это поэзия?

Вопросы, неразрешимые до тех пор, пока не понят до конца смысл самого этого слова — «поэзия». Стихи? Рифмы? Ритмы? Но ведь в прозе Михаила Пришвина и Константина Паустовского куда больше поэзии, чем в иных самых изысканных зарифмован-

ных строчках. А в поэзии камня Ферсмана, в «Жизни растения» Тимирязева? А в астрономических очерках, к сожалению, теперь полузабытого Фламмарiona? А многолетние наблюдения и исследования Дарвина в «Происхождении видов» — разве не пронизаны они поэзией больших научных догадок, обобщений и выводов? А математика, физика, как будто бы самые точные, сухие науки: «дважды два — четыре», «параллельные линии не пересекаются». И вдруг — «Воображаемая геометрия» Лобачевского, по которой наша обычная «употребляемая геометрия» оказывается только ее «частным случаем». Разве в этом научном прозрении нет поэтического взлета мысли? Или в периодической системе Менделеева, или в теории относительности Эйнштейна? Я уж не говорю о «Коммунистическом Манифесте» — подлинной поэме строгого научного мышления.

Рифмы и ритмы — это «техника», это форма поэзии, а мироощущение и мироотношение — ее душа. По ней мы отличаем Пушкина от Лермонтова, Некрасова от Тютчева, Есенина от Маяковского, и из нее уже рождаются ритмы каждого из них, и те же самые рифмы и ритмы никак не трогают нас в стихотворных опусах лишенных поэтической души их эпигонов.

Мироощущение и мироотношение. Оно захватывает и выражает всего человека, не только логику, систему знаний и мыслей, заключений и обобщений, а всего человека, весь его жизненный настрой — его чувства и побуждения, стимулы мысли и стимулы действия, стимулы жизни, даже если все это не подкрепляется и не оплодотворяется законченными мировоззренческими построениями. И тогда рождается новая, нет, не новая, а просто еще не очень привычная и недостаточно исследованная разновидность поэзии — поэзия жизни.

Разве жизнь Николая Островского или подвиг Зои Космодемьянской не несут в себе этого поэтического начала, сами по себе, независимо от их литературного воплощения? Вот в этом смысле я и прилагаю слово «поэзия» к жизни Дзержинского, как она отражена в этой книге, — поэзия жизни. А суть ее — «я» и «мир».

«Я» не может жить, если оно не включает в себя всего остального мира и людей. Таково это «я».

В этой философски-поэтической формуле весь Дзержинский: я в мире, и мир во мне, вне этой связи нет жизни для моего «я». Конечно, это формула достаточно зрелой, вполне законченно зрелой мысли, но истоки ее лежат в каких-то глубинных, я бы сказал, подсознательных или, во всяком случае, досознательных впечатлениях, фактах, явлениях или процессах жизни.

«Деревня, кругом леса, луга, поля, речка неподалеку, кваканье лягушек и клекот аистов. Вся эта тишина и прекрасная музыка природы по вечерам, и утречком роса на траве, и вся наша крикливая орава малышей, и звучный, далеко слышный голос мамы, созывающий нас из леса и с реки домой, к столу, и этот наш круглый стол, самовар, и весь наш дом, и крыльцо, где мы собирались, и наши детские огорчения, и заботы мамы... Сколько улыбок любви окружало нашу юность и детство».

Это — Держиново, небольшое фамильное имение отца (в теперешней Минской области), детство, светлые воспоминания, отложившиеся в глубинах сознания. Воспоминания глубоко поэтической, на мой взгляд, натуры, умеющей видеть, и чувствовать, и чутко отзываться на все впечатления бытия. И, казалось бы, что еще надо? Вырастет в такой семье, в такой поэтической обстановке, в любовной нравственной атмосфере крепкой, дружной семьи хороший человек, добрый семьянин, продолжатель этих добрых семейных традиций. И, может быть, об этом писала ему сестра Альдона, когда он в первый раз оказался в Ковенской тюрьме, выданный предателем за 10 рублей награды. Но не таково это «я».

«Ты называешь меня «беднягой» — крепко ошибаешься... Я гораздо счастливее тех, кто «на воле» ведет бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать: тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы первое, иначе и существовать не стоило бы».

«Где-то там, далеко-далеко, я вижу солнышко. Для нас с тобой оно различно, но будем о нем всегда помнить, и тогда боль наша утихнет, и тепло зальет наши сердца, ибо мы поймем смысл и цель наших страданий».

Разве это не поэзия?

Остается неразрешенным и, может быть, неразрешимым пока вопрос: почему? Почему же из всей немалой семьи он один выбрал эту овечью поэзию, но такую трудную и гордую дорогу жизни?

В самом деле, а почему? И, пожалуй, не подыщешь здесь другого ключа, кроме единственного — крайней чуткости, тонкости, богатства натуры, то есть в конечном счете ее внутренней поэтичности. Она сквозит уже в тех детских огорчениях и заботах, о которых вскользь упоминалось выше. Это крайне обостренные, резкие реакции на обиду, наказание и особенно на несправедливость, с одной стороны, и на ласку, доброту — с другой.

«Я (в ответ на какое-то наказание. — Г. М.) давай кричать вовсю и плакать от злости, а когда слез не хватило, я залез в угол под этажерку с цветами и не выходил оттуда, пока не стемнело; я отлично помню, как мама нашла меня там, прижала к себе крепко и так горячо и сердечно расцеловала, что я опять заплакал, но это уже были слезы спокойные, приятные и уже слезы не злости, как раньше, а счастья, радости и успокоения. Мне было тогда так хорошо!»

Вообще мать, мама занимает исключительное место в детских впечатлениях Дзержинского и всегда вызывает самые светлые, самые чистые воспоминания.

Вот она дала ему свежую булочку и кусок сахара, вот она учит его читать, а он, опершись на локти, лежит на земле и читает по складам, а вот вечерами, при свете лампы, под шум леса она говорит с детьми о жизни, о преследованиях и издевательствах, которые терпит народ.

«Помню ее рассказы о том, какие контрибуции налагались на население, каким оно подвергалось преследованиям, как его дожимали налогами... И это было решающим моментом. Это повлияло на то, что я впоследствии пошел по тому пути, по которому шел, что каждое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилием надо мною лично. И тогда-то я вместе с кучкой моих ровесников дал (в 1894 году) клятву бороться со злом до последнего дыхания. Уже тогда мое сердце и мозг чутко воспринимали всякую несправедливость... испытываемую людьми, и я ненавидел зло».

Поэзия обогащается нравственным началом, в котором тоже есть своя поэзия.

Пройдут годы, и добрые семена, зароненные в этих душевных беседах под шум леса, произрастут и дадут могучие всходы. («Я возненавидел государство, так как полюбил людей... Люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь».) Образ матери, как в знаменитом романе Горького, еще больше вырастет и возвысится до большого и тоже поэтического обобщения.

«Я благословляю свою жизнь и чувствую в себе и нашу мать и все человечество. Они дали мне силы стойко переносить все страдания. Мама наша бесценна в нас. Она дала мне душу, вложила в нее любовь, расширила мое сердце и поселилась в нем навсегда».

Мать и все человечество...

Человечество вошло в его душу через другие, более широкие двери, через ту «кучку ровесников», вместе с которой он «дал клятву бороться со злом до последнего дыхания», через рабочие кружки, которыми он руководит в г. Вильно, и главным образом, конечно, через социал-демократическую партию, в ряды которой он вступает учеником еще седьмого класса гимназии и примыкает к ее левому крылу. Это сразу же определяет весь его жизненный путь, и через год, по политическим соображениям не закончив гимназию, он уходит из ее восьмого, выпускного класса, потому что, как он потом пишет в своей автобиографии, «за верой должны следовать дела».

В этой фразе тоже весь Дзержинский, его основная черта характера: цельность, устремленность, последовательность, единство слова и дела. Недаром он с такой силой бичевал впоследствии лицемерие.

«Злым гением человечества стало лицемерие: на словах любовь, а в жизни — беспощадная борьба за существование, за достижение так называемого «счастья», «карьеры»... «Я ненавижу всякую фальшь и лицемерие...» «Я думаю, что всякая фальшь — худшее зло...» «Один говорит «люблю» — и это лишь фраза для него, ибо он говорит, но не чувствует, это — никчемное фарисейство, это тот яд, который отравлял всю нашу жизнь с самого детства. Другой же говорит «люблю» и находит отзвук в человеческих душах, ибо за этим словом выступает человек с чувством, с любовью».

И именно таким человеком с чувством и с любовью выступает Дзержинский со страниц этой книги, человеком, который, по его собственным словам, живет в полном согласии с самим собой и с велениями своей души и своей совести — совести к тому же абсолютно безупречной и чистой, кристальным человеком, которому веришь также душою и совестью и который захватывает тебя всего этим пото-

ком высоких и благородных чувств. И когда он говорит свое «люблю», это не обывательская сентиментальность и не религиозное лицемерие и всепрощение, с которыми он ведет самую жестокую, неприемлемую войну. Слово «люблю» для него немыслимо без слова «делаю». «Мне противна болтовня, а работать, работать так, чтобы чувствовать, что живешь, живешь не бесполезно».

Таково это «я». В тюрьме, на свободе, в ссылке, в заграничных поездках по делам партии и снова в тюрьме оно растет и крепнет, оно жадно впитывает все впечатления, и радости, и боли бытия, оно изучает, чувствует, оно «бьется в такт с жизнью», непрерывными усилиями оно формирует себя. В тюрьме он читает, пишет, учится или учит других, когда можно; когда нельзя — мечтает, думает, анализирует себя, товарищей, даже уголовников, даже предателей, даже жандармов. В ссылке он знакомится с действительностью земств, со строительством железной дороги и опять думает и размышляет над тем, к чему это ведет и приведет: «Вместе с дорогами проникнет сюда и клич свободы, как призыв, как бич, страшный для них клич — «Света и хлеба!», а тогда — тогда померимся силами!»

В коротких перерывах между «отсидками» он много ездит по партийным делам и поручениям — то он в Париже, то в Швейцарии, то в Берлине, в Варшаве, в Кракове, и везде он «такой же, как всегда», «беспокойный дух», он «рвется к делу» и делает, делает это большое революционное дело.

Это жизнь как натянутая тетива, всегда в напряжении, в работе, в борьбе, в неослабевающем внутреннем усилии. Хотя, может быть, это и не совсем так, не то слово, потому что усилие предполагает какое-то преодоление, иногда, может быть, даже насилие над собой. Для Дзержинского никакого такого насилия нет, это стало его натурой, потребностью души, частью и условием его бытия.

Так поэтическое мироощущение дополняется нравственным мироотношением, которое чем дальше, тем больше становится определяющим началом, нравственным началом всей его жизни. Ведь сущность нравственности заключается не в простых запретах, не в статьях закона, не в христианских заповедях — «не убий», «не укради», «не прелюбы сотвори», — не в каре, которая грозит за их нарушение, будь то тюремный срок или бессрочные мучения ада. Это нормативная этика, которая сознание ответственности подменяет страхом перед ответственностью и вытекающим из него наказанием. Страх — это барьер против преступлений или поступков, а не против преступных или безнравственных желаний; подлинная нравственность заключается в воспитании именно желаний, стремлений, побуждений, мотивов и целей, то есть чтобы поведение человека стало выражением всей его личности, его свободы, воли и всей его концепции отношений с людьми и миром. И вот такую органическую цельность личности, целей и действий мы и видим у Дзержинского.

«Я живу со дня на день, а взор мой, как обычно, устремлен вдаль, и мечты гонят меня по свету».

«Никто меня к этому не понуждает, это лишь моя внутренняя потребность... Лишь одна пружина воли, которая толкает меня с неумолимой силой».

«Любовь зовет к действию, к борьбе».

Любовь... Припомним то, что он сказал о своей матери: вложила любовь, расширила сердце, дала душу, — те высшие духовные ценности, по которым сам Дзержинский меряет себя. И вот мы читаем его письма на протяжении всех этих многих лет, до самой революции и после революции, и нас поражает незыблемость и нерушимость этих духовных основ его личности, его основной нравственной позиции.

«Я хотел бы написать... о могуществе любви».

«Где есть любовь, там нет страдания, которое могло бы сломить человека. Настоящее несчастье — это эгоизм. Если любить только себя, то с приходом тяжелых жизненных испытаний человек проклинает свою судьбу и переживает страшные муки. А где есть любовь и забота о других, там нет отчаяния». «Любовь — творец всего доброго, возвышенного и сильного, теплого и светлого».

Но нет, это не сентиментально-обывательская и не пассивно-христианская любовь, не умиление. Это любовь, неотделимая от ненависти, от страсти, от борьбы, потому что только в этом и выражается подлинная любовь — активная, действующая и действенная.

«Я видел и вижу, что почти все рабочие страдают, и эти страдания находят во мне отклик, они принуждали меня отбросить все, что было для меня помехой, и бороться вместе с рабочими за их освобождение».

«Но, чтобы достигнуть поставленной цели, такие, как я, должны отказаться от всех личных благ, от жизни для себя, ради жизни для дела... эти страдания тысячекратно окупаются тем моральным самосознанием, что я исполню свой долг».

Вот о какой любви идет речь.

«Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни».

«Мое сердце ищет сердца, в котором нашелся бы отклик. Ведь жизнь наша, в общем, ужасна, а могла бы быть прекрасной и красивой. Я так этого желаю, так хотел бы жить по-человечески широко и всесторонне! Я так хотел бы познать красоту в природе, в людях, в их творениях, восхищаться ими, совершенствоваться самому, потому что красота и добро — это две родные сестры. Аскетизм, который выпал на мою долю, так мне чужд. Я хотел бы быть отцом и в душу маленького существа влить все хорошее, что есть на свете, видеть, как под лучами моей любви к нему развился бы пышный цветок человеческой души... Пути души человеческой толкнули меня на другую дорогу, по которой я и иду. Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает для нее свою жизнь».

Не правда ли, это как симфонии Чайковского, когда в одном трагическом и неразделимом аккорде переплетаются страстные ноты мрака и света, скорби и гнева, боли, и радости, и восторга, и необыкновенных сверхчеловеческих усилий, рожда в то же время из себя призывные звуки надежды и побеждающего могущества? И вся жизнь Дзержинского — это могущество человеческого духа, исполненного горячей и самоотверженной любви к народу, к человечеству и к человеку.

Да, к человечеству и к человеку. И об этом он спорит со своей сестрой Альдоной, которая пишет ему, имея в виду всех его соратников, что «чувство ваше сильнее ко всем вообще, нежели к отдельным людям».

«Не верь никогда, будто это возможно, — отвечает он ей. — Говорящие так — лицемеры: они лишь обманывают себя и других. Нельзя питать чувство только ко всем вообще: все вообще — это абстракция, конкретной же является сумма отдельных людей. В действительности чувство может зародиться лишь по отношению к конкретному явлению и никогда — к абстракции. Человек только тогда может сочувствовать общественному несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретному несчастью каждого отдельного человека».

Это — очень важное теоретическое, я бы сказал, философское положение, помогающее нам понять и определить сущность нашего, социалистического гуманизма. Это особенно нужно иметь в виду тем, кто в борьбе с так называемым «ложным», абстрактным гуманизмом, с его отвлеченностью, неисторичностью, всепрощением, забывает при всем том, что гуманизм все-таки не может не быть человеческим. Отрица-

ние или забвение этого ведет к отрицанию и забвению таких понятий, как доброта, человеколюбие, сочувствие, сострадание, альтруизм и т. д. и т. п. А отрицание таких человеческих понятий отдаст их в руки религии, с которой они оказались связанными в ходе исторического развития, и обедняет, огрубляет и оказанивает самое понимание гуманизма, лишая его души.

Пример Дзержинского, так же, как, кстати сказать, Маркса и Энгельса, Ленина, Горького, говорит об обратном и утверждает подлинную суть нашего социалистического гуманизма, для которого забота об общем неотделима от заботы о частном, отдельном человеке. Но это понимание гуманизма предполагает и другую его, не менее обязательную сторону: «научиться самому любить и понимать, а не только быть любимым и понимаемым». В этом направлении он даже оговаривает свое необычайно высокое и, казалось бы, всеобъемлющее чувство любви, но любви такой, которая «не превращает любимое существо в идола». Дзержинский восстает и предупреждает против узости, ограниченности любви, переходящей тогда в свою противоположность.

«Любовь, которая обращена лишь к одному лицу и которая истощивает в нем всю радость жизни, превращая все остальное лишь в тяжесть и муку, — такая любовь несет в себе яд для обоих».

«Нужно... чтобы любовь не связывала, а развязывала, обогащала жизнь любимого, заставляла его жить всей своей душой, широкой и богатой».

Нет, любовь — это дело большое, и сложное, и тонкое, и всеобщее, всеобщий долг человеческих душ, и без этого трудно наладить жизнь.

«Одному трудно урегулировать свою жизнь, но ведь можно обязать друг друга взаимно следить за этим, и тогда легче будет это сделать, и много сил и нервов будет сэкономлено, и сама работа будет нетруднее, и переживания будут гораздо сильнее».

Конечно, это — дело будущего; но это будущее будет. А пока:

«Теперь такое время. Солнце так низко, что зло бросает свою тень очень далеко, и она заглушает все более светлые тона. Но пройдет это время, а тогда и те, которые знают теперь лишь муки эгоизма, познают более широкий мир и поймут, что существует более широкая жизнь и более глубокое счастье».

Но это будет, будет, а пока не опуститься бы, выдержать все до конца.

«...Жизнь может меня лишь уничтожить, подобно тому как буря валит столетние дубы, но никогда не изменит меня. Я не могу ни изменить себя, ни измениться. Мне уже невозможно вернуться назад».

А ведь все это он пишет в тюрьме, и в его описании встают все ужасы этого «мертвого дома». Он понимает: «Мы подвергаемся каре не для исправления, а для устранения». И их устраняют. «Их уже взяли. Под окнами прошли солдаты... Повели на место казни двоих осужденных». «Конец краю не видно смертным казням». «Вешают одновременно до трех... Когда их больше, вешают троих, остальные тут же ожидают своей очереди и смотрят на казнь товарищей».

«Пилат, обтесывают доски. Это готовят виселицу». — мелькает в голове, и уже нет сомнений в этом. Я ложусь, натягиваю одеяло на голову... Это уже не помогает. Я все больше и больше укрепляюсь в убеждении, что сегодня кто-нибудь будет повешен. Он об этом знает. К нему приходят, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал... и ведут его и смотрят, как хватается его плач, смотрят

на его предсмертные судороги и, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают труп, как зарывают падаль».

Ужас! Иногда этот ужас, и тишина, «жизнь без жизни» гнетет и пронизывает душу. «Бессилие убивает», «Я устал... Нет у меня сейчас желания броситься в водоворот жизни». Но характерно, что даже в эти трудные моменты жизни он не взывает о помощи, не просит ни о деньгах, ни о вещах, ни о свиданиях. Наоборот, через всю переписку идет один и тот же лейтмотив: «не приезжай, не утруждай себя», «мне не так плохо, у меня все есть», «не беспокойся обо мне, я все выдержу и вернусь, хочу вернуться и вернусь, не смотря ни на что». «Мне только недостает красоты природы» и «мне грустно, если из-за меня грустят мои друзья».

«Когда я вижу жизнь других людей, то мне стыдно становится, что нередко мои личные заботы отнимают у меня столько мыслей, чувств и сил».

«А все-таки грустно и тяжело. Смертельно утомила меня эта жизнь». «Грусть какая-то проникает в душу. Но это не грусть узника. И на воле иногда такая грусть незаметно овладевала мною, грусть существования, тоска по чему-то неуловимому, но вместе с тем необходимому для жизни, как воздух, как любовь».

Что это? Слабость? Уныние? Безнадежность? Отчаяние? Нет, это — полнокровие человеческих чувств, живое человеческое «я» со всеми его нюансами, переливами и борениями. Это — скрытое упорство жизни! «Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом», — пишет он. «...Бессилие убивает и опошляет души».

«В человеке столько сил... и жизнь влила в него столько светлого и радостного, что оно может пересилить все — даже ужас смерти».

«Выдержу ли я?.. Мною овладевает ужас, и из груди вырывается крик: «Не могу!» И все же я смогу, необходимо смочь, как могут другие, как смогли многие вынести гораздо худшие муки и страдания».

«Пока теплится жизнь и жива самая идея, я буду землю копать, делать самую черную работу, дам все, что смогу... Нужно свой долг выполнить, свой путь пройти до конца. И даже тогда, когда глаза уже слепые и не видят красоты мира, душа знает об этой красоте и остается ее слугой. Муки слепоты остаются, но есть нечто высшее, чем эта мука, — есть вера в жизнь, в людей, есть свобода («свобода!» — это в X павильоне Варшавской цитадели. — Г. М.) и сознание неизменного долга».

В скрытом и страшном огне бессилия перегорело все, перекипело, переплавилось, и вот из этой переплавки рождается чистая сталь души. «Отчаянье мне чуждо», и я «не заламываю рук».

«Если мыслью и чувством сумеешь понять жизнь и собственную душу, ее стремления и мечты, то само страдание может стать и становится источником веры в жизнь, указывает выход и смысл всей жизни... Боль человека, если она открывает глаза на боль других людей, если она приводит к поискам причины зла, если она соединяет его сердце с сердцами других страдающих... если дает человеку идею и твердость убеждений — такая боль плодотворна... И сегодня из этих страданий человечества скорее, чем когда-либо, может прийти царство любви и всеобщей справедливости, мечта о которой выпестована в жестокой борьбе...». «Мне так страшно хочется жизни, действий, движения».

Поистине: так закалялась сталь, закалялась в десятилетиях борьбы и жизни таких исполинов, как Феликс Дзержинский, чтобы потом горячим, обжигающим потоком влиться в души корчагинского поколения. И как бы в предчувствии этого в самые страшные годы реакции после подавления революции 1905 года Дзержинский делает в своем дневнике гордую и мужественную запись:



«Сегодня — последний день 1908 года. Пятый раз я встречаю в тюрьме Новый год (1898, 1901, 1902, 1907); первый раз — одиннадцать лет назад. В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнение в правоте нашего дела. И теперь, когда, может быть, на долгие годы все надежды похоронены в потоках крови, когда они распяты на виселичных столбах, когда много тысяч борцов за свободу томится в темницах или брошено в снежные тундры Сибири, — я горжусь. Я вижу огромные массы, уже приведенные в движение, расшатывающие старый строй... Я горд тем, что я с ними, что я их вижу, чувствую, понимаю и что я сам многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно... И, тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы так, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня органическая необходимость... так как знаю, что это нужно для того, чтобы разрушить другую огромную тюрьму, которая находится за стенами этого ужасного павильона».

Таково это «я», могучее, глубоко поэтическое и высконравственное «я», охватывающее силою своего вдохновения и красоту мира, и красоту идеи, и борьбы, и страдания, и красоту подвига, объединяющее в себе «это чувство красоты с сознанием необходимости стремиться к тому, чтобы человеческая жизнь стала столь же красивой и величественной».

Так поэзия, оплодотворенная нравственным началом, выливается в революционное устремление к совершенству и совершенствованию.

«Почти всегда красота природы (в звездную летнюю ночь лечь на краю леса, что-то тихо шепчущего, и смотреть на эти звезды; в летний день лечь в сосновом лесу и смотреть на колеблющиеся ветви и на скользящие по небу облака; в лунную ночь на лодке выехать на середину пруда и вслушиваться в тишину... и — столько, сколько этих картин красоты природы вызвала во мне мысли о нашей идее. И от этой красоты, от этой природы никогда не следует отказываться».

Это пишет человек, только что приговоренный к каторжным работам. А часто ли мы, не имея за спиной ни приговоров, ни каторжных работ, даже и борясь за идею, смотрим на звезды и вслушиваемся в тишину? И не теряем ли мы от этого что-то большое-большое, интимное и святое, что обогащает душу, и все ее помыслы, и ощущения, и цели? Не живаем ли мы ее до каких-то служебных, деловых, вообще функциональных масштабов, вернее, рамок, которые и масштабами-то нельзя назвать, и не обедняем ли мы этим сами себя? А вот человек сидит в тюрьме, «у пропасти ужаса», «предела жизни», «когда небо безоблачно и вечером заглянет ко мне за решетку звездочка и как будто что-то говорит тихонько... — тогда на душе у меня так хорошо, так тихо, как будто сам я ребенок еще чистый и без лжи славлю жизнь, не помня о себе и своих мучениях... И песнь жизни живет в сердце моем».

Вот это и есть внутренняя жизнь души, когда она решает в себе, в своих чистых, но никому не видимых глубинах главные, определяющие вопросы бытия, и от этих решений будет зависеть вся судьба человека.

Но человек не замыкается в себя и в свою святость, и в чистоту, и в догму.

«Борьба со злом теперешней жизни... и с тем злом, которое есть и во мне самом. Ибо нет людей абсолютно добрых, и я к ним не принадлежу». Он смотрит кругом, всматривается, вдумывается, постигая жизнь, всю, такую, какая она есть, в ее реальности, в ее вечном движении, в ее гармонии, и во всех ее противоречиях, во всей ее плоти и правде.

«Вечером, когда я при свете лампы сидел над книгой, я услышал снаружи тяжелые шаги солдата. Он подошел к моему окну и прильнул лицом к стеклу...»

— Ничего, брат, не видно, — сказал я дружелюбно.

— Да! — послышалось в ответ. Он вздохнул и секунду спустя спросил: — Скучно вам? Заперли (последовало известное русское ругательство) и держат.

Эти несколько грубых, но сочувственных слов вызвали во мне целую волну чувств и мыслей. В этом проклятом здании, от тех, чей самый вид раздражает, нервнует и вызывает ненависть, услышать слова, напоминающие великую идею, ее жизненность и нашу связь, узников, с теми, кого в настоящее время заставляют нас убивать! Какую колоссальную работу проделала уже революция! Она разлилась повсюду, разбудила умы и сердца, вдохнула в них надежду и указала цель. Этого никакая сила не в состоянии вырвать! И если мы в настоящее время, видя, как ширится зло, с каким цинизмом из-за жалкой наживы люди убивают людей, приходим, иной раз, в отчаяние, — это ужаснейшее заблуждение. Мы в этих случаях не видим дальше своего носа, не сознаем самого процесса воскресения людей из мертвых».

А вот пример такого «воскресения из мертвых» — предсмертное письмо революционера накануне казни:

«Настоящий момент — момент застоя в нашем движении, и в этот момент я хочу сказать вам несколько слов со своей теперешней трибуны — из камеры смертников: за работу, товарищи! Пора! Давно пора! Пусть совершаемые теперь преступления побудят вас усилить борьбу, которая не может прекратиться!»

Вот в соседнюю камеру посадили Ганку, восемнадцатилетнюю девушку. Живая, как ребенок, она не может переносить суровость тюремного режима, поет, шумит, ругается с жандармами. Рассерженный жандарм обозвал ее «стервой», и тогда Дзержинский в знак солидарности тоже стал кричать и стучать в дверь. Вот у нее пошла кровь горлом, ее хотят класть в лазарет, а она отказывается. Вот ее вызывал начальник и предложил ей на выбор: предать — и тогда ее приговорят к пожизненной каторге, или ее повесят. Она расхохоталась ему в лицо и выбрала виселицу, а потом через стену сообщила соседу, что, когда ее поведут на казнь, она будет петь «Красное знамя». Все заключенные ее полюбили и, проходя мимо ее камеры, говорят: «Здравствуйте» или «Спокойной ночи». Ожидающие казни в предсмертных порывах к жизни объясняются ей в любви. А вот она сама стучит через стенку своему соседу, Дзержинскому: «Я вас очень люблю». «Дорогое дитячко! — мысленно отвечает ей сосед. — Отдаленный от тебя мертвой стеной, я чувствую каждое твоё движение, каждый шаг, каждый порыв души. Неужели же ей так и суждено умереть в полном одиночестве, и никто не приласкает ее, никто ей приветливо не улыбнется?» «Я привязался к этому ребенку, и мне жаль ее, как собственное дитя»... «Вот так мы рядом живем, словно какие-то родные и друзья из непонятной сказки. И я не раз проклиная себя, что не меня ждет смерть».

И вдруг... вдруг она, эта Ганка, общая любимица, оказалась предательницей. Ведь это тоже нужно и пережить, и понять, и осмыслить. «Почему она предавала?.. Сегодня я обо всем этом уведомил других. Я обязан был это сделать. Возможно, что вначале она попытается защищаться, бороться хотя бы за щепотку доверия. Но заслуженный удел ее — позор, самый тяжелый крест, какой может выпасть на долю человека».

Почему она предала? Дзержинский пытается постигнуть и это, он хочет «выявить зло», ибо «зло должно обнаружиться, чтобы погибнуть». Но «зло исчезает чрезвычайно медленно». А потому «необ-



ходимо собирать и сообщать людям не простую хронику..., а давать картину их жизни, душевного состояния, благородных порывов и подлой низости, великих страданий и радости, несмотря на мучения; воссоздать правду, всю правду, заразительную, когда она прекрасна и могущественна, вызывающую презрение и отвращение к жертве, когда она сломлена и опустилась до подлости». Нужно дать всю сложность «борьбы, падений и подъема духа... и находящихся в заключении героев, а равно и подлых и обыкновенных людишек».

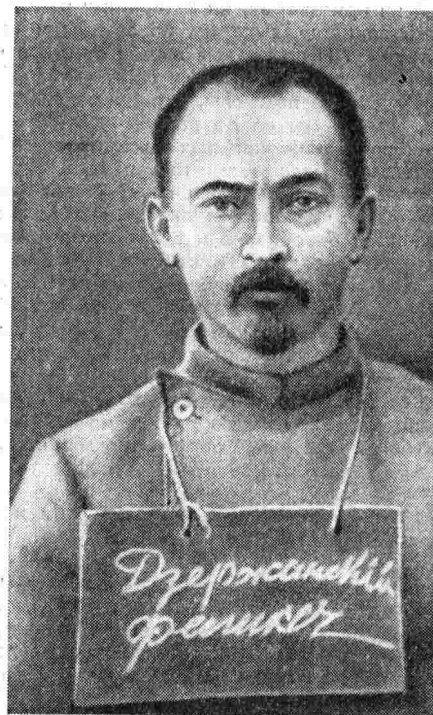
Вот почему — хотя сам же он, когда в камеру к нему с целью склонить к предательству зашел полковник, «весь задрожал, словно почувствовал, что по мне как бы ползет змея, опоясывает меня и ищет, за что зацепиться, чтобы овладеть мной», — вот почему Дзержинский в то же время вглядывается, вдумывается, стараясь понять, и в рабочего-слесаря, а потом предателя Вольгемута, приведшего на виселицу 30 человек, и в печального, удрученного солдата, у которого дома, в деревне, семья сидит без хлеба, а он здесь караулит и ведет на казнь тех, кто его защищает, и даже в простых уголовных преступников: «Я стараюсь изучить этих людей, их жизнь и преступления, узнать, что толкнуло их на совершение преступлений, чем они живут».

Крайне интересен его анализ и другого зла, зла без видимых преступлений, но с неизбежным и тоже часто трагическим падением и гибелью человеческих душ, анализ, не потерявший, на мой взгляд, своего значения и для нашего времени, когда порою рост материального благополучия без соответствующего роста духовной и — что далеко не однозначно! — духовной культуры ведет к росту и усилению мещанства, скрывающегося под внешне «интеллигентной», «культурненькой» видимостью.

«В настоящее время интеллигентская среда убийственна для души. Она влечет и опьяняет, как водка, своим мнимым блеском, мишурой, поэзией формы, слов, своим личным чувством какого-то превосходства. Она так привязывает к внешним проявлениям «культуры», к определенному «культурному уровню», что когда наступает столкновение между уровнем материальной жизни и уровнем духовной жизни, потребности первой побеждают, и человек сам потом плюет на себя, становится циником, пьяницей или лицемером. Внутренний душевный разлад уже никогда не покидает его».

Так высокопоэтическое отношение к жизни переплетается с глубоким изучением и осмысливанием самой суровой ее и даже низкой прозы.

«Чувство красоты охватывает меня, я горю жаждой познания и (это странно, но это правда) развиваю это чувство здесь, в тюрьме. Я хотел бы охватить жизнь во всей ее полноте». И именно эта полнота жизни, синтез поэзии и познания, дает ему возможность — это тоже странно, но это тоже так! —





На снимках  
Феликс Дзержинский  
в разные периоды жизни.  
На стр. 56 — верхний  
ряд (слева напра-  
во): 1. Детство. 2. 1895  
год — год вступления в  
революционное движение  
(публикуется впервые).  
3. Тюрма. 4. Эмиграция  
(в Швейцарии). 5 (вни-  
зу): Каторга. На стр. 57 —  
вверху (слева): 1917 год.  
Первые дни после осво-  
бождения из тюрьмы  
(публикуется впервые).  
Справа — Председатель  
ВЧК (публикуется впер-  
вые). Средний ряд:  
слева — срочное задание,  
справа — прогулка (пу-  
бликуется впервые); вни-  
зу — на отдыхе (публи-  
куется впервые).





внутренне осветить и этим самым понять прозу («Если есть так много предателей, то не потому ли, что у них не было друзей, что они были одиноки, что у них не было никого, кто прижал бы их к себе и приласкал»), и осмыслить поэзию. («Я не жил никогда с закрытыми глазами. Я никогда не был идеалистом. Я познавал сердца человеческие, и мне казалось, что я чувствую каждый удар этих сердец».) Одно оплодотворяет другое. Оно и в чтении книг, которые он глотает «как очумелый», постигает и жадно впитывает все — «разные эпохи, людей, природу, королей и нищих, вершины могущества и падения».

«Все и всех понимать и всегда видеть добро и ненавидеть зло. Понимать и страдания и боль — как свои, так и других, и иметь в душе гордость пережить все, что выпадает в жизни на твою долю. А самое великое счастье в жизни человека — это те чувства, которые ты можешь дать людям и люди тебе — твои близкие и далекие, тебе подобные...» «Я — это тысячи и миллионы».

Так в едином, взаимно оплодотворяющем синтезе высочайшей поэзии и обыденной прозы завершается необычайное создание человеческого духа, которое раскрывается нам в этой книге.

«Столько воспоминаний, столько красок, звуков, света, движения, — все это слилось как будто в воспоминание о музыке, слышанной когда-то и пережитой. Радость жизни... В суровую, подчас ужасную, жизнь поэзия вплетается через пламенную мысль. Мрак впитывает свет, как сухой песок впитывает влагу, а свет, проникая туда, где темно и холодно, и греет и озаряет. И вот в то время, как слова признанной поэзии отражают то, что сейчас уже умерло, что уже является ложью, родилась новая поэзия — поэзия действия, неизменного долга человеческих душ, отрицающая всякие трагедии, безвыходные положения, беспросветное отчаяние. Она отнимает трагизм даже у смерти и невыносимого страдания и окружает жизнь ореолом не мученичества, а безграничного счастья самой жизни, настоящей, своей».

Вот она, подлинная поэзия жизни, та самая, которая вначале только чувствовалась, угадывалась, просвечивала сквозь контуры сурового портрета и которая теперь нашла развернутое и точное словесное выражение: поэзия действия, неизменного долга человеческих душ, поэзия, открывающая человеку широкую дорогу к безграничному счастью нравственно высокой и осмысленной жизни.

И не потому ли именно ему, его благородному и справедливому сердцу, его стерильным рукам, Ленин вверил защитительный меч революции?

«Часто, когда думаю о тех, которые не имеют даже самых необходимых вещей, меня охватывает стыд и гнев на себя и тех, которые помнят о моих нуждах, забывая о других».

Не потому ли?

«Нет радости, как при общей трапезе, а тяготит проклятие, как на пиру, утаенном от твоего брата, который находится по соседству от тебя, но с которым ты не имеешь права жить по-братски, хотя и знаешь, что он рядом с тобой и что у него ничего нет».

Не потому ли?

«Я не сектант, знаю, что невозможно было бы жить и работать, не создавая этих разделяющих стен, но каждый, кто присвоил себе наше имя, имя революционного социал-демократа, чтобы не презирать себя, должен добиваться того, чтобы стен этих было как можно меньше, чтобы они не были совершенно непроницаемы».

Не потому ли, что — как сам он говорил — «за верой должны следовать дела».

Ленин не ошибся в своем выборе.

«Объяснить тебе всего я в письме не могу, — подводя итоги своим многолетним спорам с сестрой, пишет Дзержинский в 1919 году, уже будучи председателем Чрезвычайной Комиссии. — Одну правду я могу сказать тебе — я остался таким же, каким и был, хотя для многих нет имени страшнее моего».

Любовь сегодня, как и раньше, — она все для меня, я слышу и чувствую в душе ее песнь. Песнь эта зовет к борьбе, к несгибаемой воле, к неутомимой работе. И сегодня, помимо идеи — помимо стремления к справедливости, — ничто не определяет моих действий. Меня ты не можешь понять. Солдата революции, борющегося за то, чтобы не было на свете несправедливости... На нас двинулся весь мир богачей. Самый несчастный и самый темный народ первым встал на защиту своих прав и дает отпор всему миру... Алдона моя, ты не поймешь меня, поэтому мне трудно писать. Если б ты видела, как я живу, если б ты мне взглянула в глаза — ты бы поняла, вернее, почувствовала, что я остался таким же, как и раньше».

А раньше вот что он писал в одном из первых писем все к той же сестре Алдоне:

«Не сердись на меня за мои убеждения, в них нет места для ненависти к людям. Я возненавидел богатство, так как полюбил людей».

И пусть для кого-то нет имени страшнее его, так как диалектика жизни, ибо нельзя утвердить добро, не искореняя зла. Но сущность добра остается. Об этом мне рассказала Ядвига Генриховна, племянница Дзержинского, в доме которой он жил после переезда Советского правительства в Москву, — о его исключительной простоте и скромности, и ласковости, о его любви к природе, о внимании к детям, даже случайным встречным, о его беседах с ними, о его умении беседовать с ними и о его потаенной мечте: «когда кончится горячка», уехать в деревню и стать учителем. И, видимо, отзвуки этой мечты мы находим в последнем письме к жене во время поездки на Украину: «Я вижу здесь новых людей, проблемы здесь ближе к земле и приобретают больше черт конкретности... Я охотно переехал бы в провинцию на постоянную работу».

А другой человек, работавший под руководством Дзержинского, рассказывал мне, как тот едва не расстрелял его за то, что он во время национализации купеческого склада игрушек, которые валялись на полу и по которым ходили, положил в карман какую-то куклу.

— Как ты смел? Как у тебя могла подняться рука?

А вот письмо, где в ответ, видимо, на сообщение сестры о конфискации родного, овечьего такими воспоминаниями Дзержинского и соответствующие просьбы всесильный председатель ЧК пишет, как полагает Дзержинскому — стражу государственной совести:

«Ценности были конфискованы согласно нашим законам... Я знаю, что эта конфискация фамильных ценностей огорчит тебя, но я не мог иначе поступить, — таков у нас закон о золоте».

И в этом — та цельность и чистота души, единство слова и дела, идеи и жизни, которые, пройдя через все муки и страдания и приведя его к власти — такой власти, когда «нет имени страшнее моего», — остались той же цельностью и чистотой, тем безупречным и, как золото, не поддающимся коррозии нравственным началом, при котором и власть, не отделяемая от ее нравственного основания, как в свое время и тюрьма, и каторга, и ссылка, и вся жизнь, является служением народу, — «жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом».



«Физически я устал, но держусь нервами, и чуждо мне уныние. Почти совсем не выхожу из моего кабинета — здесь работаю, тут же, в углу, за ширмой, стоит моя кровать».

Это то же самое, как и ленинская комната в Смольном, и ленинская квартира в Кремле, — выражение того стиля, истинно пролетарского стиля, и работы, и жизни, и общего облика, и внутреннего и внешнего, который получил название «ленинский», скромность, простота, не допускающие и мысли о какой-либо ложной, внешней и чуждой помпезности, строгость к себе, доступность и внимание к людям, мысль о людях, органическая, воспитанная годами революционной борьбы, бескорыстие, самоотверженность и вдохновенность.

«Некогда думать о своих и себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время — это одно непрерывное действие... Мысль моя заставляет меня быть беспощадным, и во мне твердая воля идти за мыслью до конца».

«Я нахожусь в самом огне борьбы... Я выдвинул на пост передовой линии огня, и моя воля — бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным».

Таково было время. Мы его знаем по «Железному потоку» Серафимовича, по «Тихому Дону» Шолохова, по «Любови Яровой» Тренева — беспощадное, раскаленное время, и не потому ли, еще раз повторяю, именно Дзержинского, рыцаря и поэта революции, и его совесть, Ленин выдвинул на этот «пост передовой линии огня»? Не потому ли Ленин посылает его всюду, где трудно, где плохо, где грозит провал, развал, катастрофа, — на фронт, чтобы расследовать причины поражения, на борьбу с Махно, на искоренение бюрократизма на железных дорогах, где засели «негодяи и дураки», — всюду, где нужно «бороться за жизнь»? И он всюду едет, все делает («Я живу теперь лихорадочно. Сплю плохо, все время беспокоят меня мысли — я ищу выхода, решения задач»). Он совершенно измотан («в зеркале вижу злое, нахмуренное, постаревшее лицо с опухшими глазами»), но он недоволен, ему все и всего мало. «Я собою недоволен. Вижу и чувствую, что мог бы дать больше, чем даю».

Таким же он остается и до конца своих дней: суровый и беспощадный в анализе и в бичевании бюрократизма и других язв и болячек жизни, он так же беспощаден и к себе, к своей работе, к тем областям строительства, которыми он непосредственно руководит. И все это вызывает в нем не унылый скептицизм, разлагающий и мысль и волю, а новый прилив внутренних сил и энергии.

Это борьба за настоящее. Но есть еще будущее — дети. И когда в стране разразилась катастрофа — голод 1921 года, — нужно было спасать детей. Я помню это время, я сам тогда работал на этом громадном размахе фронте, когда тысячи и тысячи детей из Татарии, Чувашии, из всего пораженного несчастьем Поволжья были вывезены в более благополучные места, получили приют, и привет, и необходимое воспитание в детских приемниках, распределителях и детских домах. Тоже горячее было время и трудное.

И во главе этого дела опять становится Дзержинский, тот самый Дзержинский, имя которого для многих, повторяю, было страшнее всех. Но это был Дзержинский, в душе которого, как мы видели, несмотря ни на что, как прежде, звучала песнь любви и который тогда еще, в то самое, страшное «прежде», сидя в Седлецкой тюрьме, написал своей сестре Альдоне: «Ведь дети — это будущее!».

Было ему тогда 24—25 лет, о своей семье ему некогда было и думать, и, несмотря на это, он пишет:

«Я страстно люблю детей... Я никогда не сумел бы полюбить женщину, как их люблю, и я думаю, что собственных детей я не мог бы любить больше, чем не собственных... В особенно тяжкие минуты я мечтаю о том, что я взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо. Я живу для него, ощущаю его около себя, он любит меня той детской любовью, в которой нет фальши, я ощущаю тепло этой любви, и мне страшно хочется иметь его около себя. Но это лишь мечты».

В письмах к сестре Альдоне он подробно расспрашивает о ее детях, как они растут, развиваются, чем интересуются, какие вопросы задают, много ли шумят и дерутся, держит ли она в строгости или дает много свободы.

Ответ сестры вызвал у него, видимо, большие вопросы, и в последующих письмах он возвращается к ним еще и еще.

«Как здоровье твоего Рудольфика?.. Смотри, воспитай его так, чтобы он ставил выше всего честность: такой человек во всех жизненных обстоятельствах чувствует себя счастливым».

«Будьте зорки! Ибо вина или заслуга детей в огромной степени ложится на голову и совесть родителей».

«Надо воспитывать в детях любовь к людям, а не к самому себе. А для этого самим родителям надо любить людей».

«Любовь проникает в душу, делает ее сильной, доброй, отзывчивой, а страх, боль и стыд лишь уродуют ее...»

Ребенок воспринимает горе тех, кого любит. На его юную душу влияет малейшая, казалось бы, мелочь, поэтому надо остерегаться при детях быть самим безразличными, раздражительными, ссориться, ругаться, сплетничать и, что всего хуже, поступать вразрез со своими словами: ребенок это заметит, и если даже не запомнит, то все же в нем останется след, и из этих следов, из этих впечатлений детства сформируется фундамент его души, совести и моральной силы. Силу воли тоже надо воспитывать. Избалованные и изнеженные дети, любящие прихоти которых удовлетворяются родителями, вырастают выродившимися, слабовольными эгоистами. Ибо любовь родителей не должна быть слепой... Удовлетворение всякого желания ребенка, постоянное пичканье ребят конфетами и другими лакомствами есть не что иное, как уродование души ребенка. И здесь нужна в качестве воспитателя та же разумная любовь, которая во сто крат сильнее слепой любви».

Об этой нравственной ответственности и нравственной роли взрослых в воспитании детей, о крайностях ласки и строгости, о разумной, мудрой любви он говорит особенно настойчиво:

«Посмотрите на себя самих, на окружающих вас людей, на их жизнь: она проходит в постоянной борьбе совести с жизнью, заставляющей человека поступать вопреки совести, и совесть чаще всего уступает. Почему это так? Потому что родители и воспитатели, развивая в своих детях совесть, обучая их тому, как они должны жить, указывая, что хорошо, а что плохо, не выращивают вместе с тем и не развивают в них душевной силы, необходимой для свершения добра». И даже больше: «ослабляют силу этих будущих людей и сами противодействуют воспитанию совести в своих детях».

«Запугиванием можно вырастить в ребенке (да и не только в ребенке. — Г. М.) только низость, испорченность, лицемерие, подлую трусость, карьеризм. Страх не научит детей отличать добро от зла; кто боится боли, тот всегда поддается злу... а совесть их будет молчать... исправить может только такое средство, которое заставит виновного осознать, что он поступил плохо, что надо жить и поступать иначе».

В 1910 году, после побега из ссылки, Дзержинский женится на видной революционной деятельнице. Но в следующем же году была арестована Софья Сигизмундовна и в тюрьме родила сына Ясика. Теперь

платоническая прежде любовь к детям приняла у Дзержинского личное, отцовское и очень нежное выражение, хотя видеть сына ему не пришлось до семилетнего возраста.

Мальчик сначала воспитывается у друзей Феликса Эдмундовича, а затем, когда Софья Сигизмундовна совершает побег из ссылки за границу, он переходит к ней. И теперь редкое письмо Дзержинского, приговоренного в это время к каторжным работам, обходится без упоминания Ясика и подробных, очень интересных бесед о его воспитании.

«Ясик мой, мой!.. Деточка, такая любимая, источник силы и уверенности и необходимости борьбы за жизнь. Отвлеченные, общие идеи приобретают плоть и силу и еще больше связывают с общей жизнью». «...Моя тоска, моя мысль и надежда, и когда я вижу его глазами души, мне кажется, что я вслушиваюсь в шум моря, полей, лесов, в музыку собственной души».

«Любовь к ребенку и всякая великая любовь становится творческой и может дать ребенку прочное, истинное счастье, когда она усиливает размах жизни любящего, делает из него полноценного человека, а не превращает любимое существо в идола».

В основе этих бесед лежит, как мы видим, все тот же размах жизни, размах мысли и гражданских чувств, отличающих всю философию и поэзию жизни самого Дзержинского. Это те же основные его и любимые мысли «объединения жизни и идеи», «стремления к свету и красоте», об «идее, вытекающей из глубины души», о любви и доверии, о ласке, вливающей в душу ребенка «сокровища, из которых он, когда вырастет, сам должен будет щедро дарить другим», такой ласки, которая «даст ему силы и умение страдать, чтобы в будущем ничто не сломило его»; о матери, которая должна «охранять душу ребенка от грязи современного общества» и в то же время объяснить ему первопричины зла и давать моральную силу, обязательную для каждого человека; о смелости и мужестве, о значении убеждений, об отвращении и омерзении ко лжи и торговле своей совестью, и о многом, многом другом, что перечислить просто невозможно, и все это, огоривается Дзержинским, «вытекает не из моего фанатизма или догматизма, а из заботы о богатстве души нашего Ясика, о том, чтобы он приобрел способность к великим, глубоким переживаниям».

«Не тепличным цветком должен быть Ясь. Он должен обладать всей диалектикой чувств, чтобы в жизни быть способным к борьбе во имя правды, во имя идеи. Он должен в душе обладать святейшей более широкой и более сильной, чем святое чувство к матери или к любимым, близким, дорогим людям. Он должен суметь полюбить идею — то, что объединит его с массами, то, что будет озаряющим светом в его жизни... Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным наказом: «Так тебе следует жить, и таким ты должен быть»».

Таково это «я», бесконечно богатое, многогранное, охватывающее и вмещающее в себя всю красоту мира и его трагедийность, и боли, и нужды, и радости, и внутренний закон, «моральный наказ» человека, и его святыню, и низины его падения, и его устремления, усилия, и то, что он есть, и то, чем он может и должен быть. Благородное, человеческое «я», которое во всю нравственную высоту встает со страниц этой книги, кому в пример, кому в укор, а кому в поучение. И теперь «юноше, обдумывающему житье», да и не только юноше, но иной раз и тому, кто учит его «сделать бы жизнь с ко-го», — мне хочется с полным правом и основанием сказать: «Делай ее с товарища Дзержинского». Най-

дутся, конечно, люди, которые в ответ скажут: «Да, были люди в наше время!.. Но ведь это было «то» время. А теперь?»

Но что значит время?

Дзержинский, беседуя в письме с женой о воспитании сына, сознает: «Формировать душу Ясику будут не наши взгляды, не наша вера, а его жизнь и действительная жизнь окружающей его среды, те страдания и радости, которые будут переживать в его среде его близкие и товарищи».

Это говорит материалист, проследивший также и развитие капитализма в России, наблюдающий влияние этого на жизнь и настроение масс и понимающий значение условий бытия и всего хода жизни. «Условия жизни изменятся, и зло перестанет господствовать, и человек станет человеку самым близким другом и братом, а не как сегодня — волком».

Конечно, в действительности все оказалось куда более сложным, чем представлялось в то время, но значение внешних и экономических и социальных условий для жизни и воспитания человека не подложит никакому сомнению. Но тот же самый Дзержинский в других письмах по самым различным поводам и в разных связях много раз говорит и всей жизнью своей подтверждает значение и роль идеального, нравственного начала.

«Социализм должен перестать быть только научным предвидением будущего. Он должен стать факелом, зажигающим в сердцах людей непреодолимую веру и энергию».

Говоря о противоречиях жизни, их разрешении и синтезе, он требует, «чтобы этот синтез, будучи пролетарским, был одновременно «моей» правдой, правдой моей души. Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, идти в тюрьму ради свободы». «Такова воля души, воля, которая двигает и толкает вперед жизнь и дает силу».

Сказано хорошее слово, которое забывают многие, позволяющие себе гнуть и ломаться перед условиями жизни, перед бедами и несчастьями бытия, — «воля души», воля, которая двигает жизнь.

«Когда я думаю о всех тех несчастьях в жизни, которые подстерегают человека... снова моя мысль говорит мне, что в жизни надо полюбить всем сердцем и всей душой, то, что непреходяще, что не может быть отнято у человека».

Религия, продолжает дальше свой анализ Дзержинский, давала это «непреходящее» в вере в бога, «в мысли о загробной жизни и загробной справедливости».

«Для земной жизни эта мысль бесплодна, ибо она не движет жизнь вперед, а лишь освещает и увековечивает все несчастья... Но существует иная мысль, вытекающая не из лживого отрицания земной жизни, а из любви и привязанности к этой жизни, — мысль о победе на земле, а не о расплате за грехи, о вечных карах и возмездии за гробом. Любовь к страдающему угнетенному человечеству, вечная тоска в сердце каждого по красоте, счастью, силе и гармонии толкает нас искать выхода и спасения здесь, в самой жизни, и указывает нам выход. Она открывает сердце человека не только для близких, открывает его глаза и уши и дает ему исполинские силы и уверенность в победе. Тогда несчастье становится источником счастья и силы, ибо тогда приходит ясная мысль и освещает мрачную дотле жизнь. С этих пор всякое новое несчастье не является более источником отчаяния от жизни, источником апатии и упадка, а лишь вновь и вновь побуждает человека к жизни, к борьбе и к любви. И когда придет время и наступит конец собственной жизни, — можно уйти спокойно, без отчаяния и не боясь смерти».

Но нет, не о смерти думает Феликс Дзержинский — не таково это «я». «Жизнь длинна, а смерть коротка, так чего же ее бояться?» Смерть — это момент, можно даже сказать, момент жизни, если понимать ее не в индивидуальном, не узко личном, а в широком, общем плане — старое умирает, освобождая место нарождающемуся новому, но жизнь вечна. И именно в этом, в самих закономерностях жизни ищет он и находит истоки и обоснование своего исторического, а вместе с тем и личного, такого покоряющего, оптимизма: «Жизнь даже тогда радостна, когда приходится носить кандалы».

«Все движется вперед: путем печали, страданий, путем борьбы совести, борьбы старого с новым, путем смертей, гибели отдельных жизней... из этого всего вырастает чудесный цветок, цветок радости, счастья, света, тепла и прекрасной жизни», а совсем не «лопух», как в свое время у тургеневского Базарова, что вело к безрадостно-нигилистическому бессмыслию жизни.

И человек, с этой точки зрения — «человек, как и все живое, — вечно в движении, вечно в нем что-то умирает и рождается. Каждый момент его — это новая жизнь, проявление скрытых сил, возможностей: жизнь текуча, и в этом ее красота. Всякое желание и попытка остановить ее, увековечить момент счастья или несчастья — это смерть для жизни, рабство».

Вот она, та новая философия жизни и поэзия жизни, которая утверждалась тогда, в то решающее, предгрозовое время, поднимающее руку на все, даже на бога, извечно считавшегося основой и владыкой мира. Жизнь без бога. Она когда-то пугала Достоевского, а за ним многих и многих других тем, что в человеке, лишенном бога, исчезнет нравственное начало, и чувство любви, и все высшее, что якобы внушено человеку религией. И Лев Толстой не представлял себе нравственности вне бога. И вот жизнь без бога. Иные, даже многие, даже очень многие, и действительно склонны делать из этого свои, прямолинейно-упрощенные выводы: значит, жизнь для себя, лови момент, бери от жизни все, живешь один раз. Но есть, оказывается, и другой вывод: можно жить без бога и любить людей, и не просто, не платонически, не на словах любить, а бороться за них, за их благо и счастье, жить для них и даже страдать и жертвовать собой. А если это может один, почему не может другой? Почему одни устанавливают высокие образцы и критерии жизни, другие их опошляют и растрачивают? Почему одни во имя высоких нравственных требований отказываются от своих явных жизненных, даже классовых интересов, другие ради материальных благ и житейского благополучия готовы пожать все самые высшие законы совести? Как вообще усилить роль и влияние нравственного начала в жизни? Что для этого нужно? От чего и от кого это зависит? Как нужно построить жизнь, работу, воспитание и самовоспитание, чтобы обязательность нравственных требований стала потребностью каждого? А ведь только это является идеалом, конечной целью и в конце концов даже условием коммунистической перестройки мира и человека в ее подлинном, наиболее совершенном виде.

Таковы практические вопросы, вытекающие из того мироощущения и мироотношения, которые показал и доказал своей жизнью Дзержинский.

Нет, нравственное начало — это не закон бога, стоящего над человеком и тем самым угнетающего и унижающего его. Нравственное начало — это порождение самого человека, его, поднявшегося на громадную высоту духа, его «святая», его «сол-



Ф. Э. Дзержинский.  
1926 г.

нышко», те его внутренние законы и критерии, по которым он сам регулирует свое поведение и свою жизнь. Однако в религии оно, это нравственное начало, приобретает мистическую оболочку, отлетающую тогда, когда человек осознает себя человеком, хозяином и творцом своей жизни и своей судьбы.

«Силы духа у меня хватит еще на тысячу лет, а то и больше», — пишет Дзержинский сестре, имея за спиной всего 24 года.

«Страдания тысячекратно окупаются тем моральным самосознанием, что я исполняю свой долг... Помни, что в душе таких людей, как я, есть святая искра... которая дает счастье даже на костре».

«Якутские морозы мне не так страшны, как холод эгоистических душ, поэтому я предпочитаю Сибирь рабству души».

И всей своею натянутой, как струна, жизнью Дзержинский доказал правоту и неизбежность этих своих нравственных принципов.

«Не жизнь меня, а я жизнь поломал, не она взяла все из меня, а я брал все от нее полной грудью и душой!»



И в этом он видел счастье. И счастье он определял по своей высокой и покоряющей формуле: «Счастье — это не жизнь без забот и печалей, счастье — это состояние души».

А потому каждый получает такое счастье, которого он достоин, какого уровня, какого роста его идеалы, цели и стремления. И Дзержинский выбирает из них счастье самого высокого роста:

«Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какого он может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды. Тогда человек перестает бояться смерти... только тогда он научится по-настоящему любить жизнь. Лишь тогда человек будет ходить по земле с открытыми глазами и все увидит, услышит и поймет, только тогда он выйдет на свет из своей узкой скорлупы и будет ощущать радости и страдания всего человечества и только тогда будет действительно человеком».

И пусть эти слова будут живым укором тем, кто, не в меру плоско, «матерчато» понимая материализм, путает «бытие» с «бытом», «жизнь» с «существованием» и считает, что все дело человека — просто жить, не принимая всерьез, оставляя для «дураков» такие понятия и «возвышенные стремления», как «совесть», «святость», «святая искра», «нравственное сознание», «поэзия дела и неизменного долга человеческих душ» — те понятия, без которых немыслимо было и немыслимо теперь, да и вообще никогда, никакое движение вперед. А такие люди, как Дзержинский, даже в то дикое время, определяли его подлинную нравственную атмосферу.

Поэтому не будем прятаться за слепое, безликое слово «время». Будем сами делать это время.

Очень хорошо сказал об этом Расул Гамзатов:

Ты перед нами, время, не гордись,  
Считая всех людей своею тенью.  
Немало средь людей таких, чья жизнь —  
Сама источник твоего свечения.  
Будь благодарно озарявшим нас  
Мыслителям, героям и поэтам.  
Светилось ты и светишься сейчас  
Не собственным, а их великим светом.

Это особенно важно теперь, это особенно важно для тех, кто всерьез задумывается над извечным вопросом: делать жизнь с кого? Некоторые в этих поисках сбиваются с прямого пути и, попадаясь на соблазнительные формулы того вульгарного, «матерчатого» материализма, о котором я упомянул выше, забывают о роли самого человека как творческого начала в жизни. Так получилось у одного моего юного корреспондента, который прислал мне целый социально-философский трактат на 30 страницах, построенный на таких положениях:

«Человек — производное общества, его продукт... С железной необходимостью бытие определяет сознание... Поэтому преступник не виноват, что он развился уродливо... в этом виновато общество».

Конечно, мораль не может быть односторонней, и несомненная ответственность личности перед обществом теснейшим образом связана с другой стороной этого диалектического единства — ответственностью общества: как и в какой степени оно обеспечивает условия развития и творческой работы личности для проявления тех умственных и нравственных потенций, которые личность в себе несет. Но личное и общественное начало нельзя отрывать и противопоставлять друг другу. Достоевский очень

правильно сказал, что человек вовсе не «органный штифтик» и не «фортепьянная клавиша», на которые, как наши пальцы, механически действуют обстоятельства. Такое вульгарное понимание взаимоотношений личности и общественных условий жизни нередко оказывается попыткой некоего философского обоснования всякого рода пассивности, индивидуализма, нравственной распущенности и безответственности и в конечном счете, как это ни странно, даже преступности. Нет, человек не «продукт». Да, его глазами на мир смотрит все общество, его история. Но он и не простая арифметическая частица или дробь, он элемент общества, его активная действующая сила, единственная сила, несущая в себе заряд того нового качества, которое он привносит в мир, — заряд Человечности. Как в зеленом листе, этой чудесной и ничем не заменимой лаборатории, солнечный луч и мертвый газ превращаются в живую жизнь, так и в личности совершается такое же чудо превращения биологического в психическое, животного в человеческое, чудо рождения моральных ценностей, из которых в конце концов складывается нравственная атмосфера общества. И потому человек не может не отвечать за то, какие именно моральные начала — со знаком плюс или со знаком минус — несет он в общество, является ли он лучом, светящим во тьме, фактором общественного роста и прогресса или фактором разложения, как он выполняет свое человеческое назначение.

Пусть даже один человек оставляет после себя доброе дело, другой — злое. Добро и зло — ведь они, как бакены, намечающие фарватер реки. С одной стороны, зеленые, с другой — красные, и по ним прокладывается маршрут человеческой жизни — и личной и общей. И по тому, каким огнем мерцаешь ты на пути корабля человечества, красным или зеленым, и определяется твое место в жизни. Одни — люди пассивного, слепого, потребительского сознания, берущие мир таким, каков он есть, ничего не изменяя в нем и ничего не вкладывая в него, а только используя его. Но есть, к счастью, и другие — тоже отражая то же бытие, они делают из этого свои, творческие выводы и что-то привносят, как-то воздействуют и куда-то направляют его, это бытие, в той или иной области, в той или иной степени, в меру своих сил и возможностей. Это — активное, творческое, подлинно человеческое и в конечном счете революционное сознание. И чем выше будет эта творческая, преобразующая роль таких людей, тем больший след они оставят в жизни.

В Ленинграде, на кладбище Александро-Невской лавры, на памятнике-надгробии известного лингвиста академика Н. Я. Марра высечены его собственные великодушные слова:

«Человек, умирая индивидуально соматической смертью, не умирает общественно, переливаясь своим поведением и творчеством в живое окружение, общественность. Он продолжает жить в тех, кто остается в живых, если сам жил, а не был мертв».

Вот те мысли, которые вызвало во мне чтение этой волнующей книги, книги об исполинском человеке, прожившем вдохновенную и самоотверженную жизнь и погибшем на посту, можно сказать, в бою, после речи на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б). Человеке, оставшемся для нас вечно живым.

Очень советую прочитать эту книгу и подумать над нею.







В. Костин

## В. ПОИСКАХ НОВЫХ РЕШЕНИЙ

**Р**азнообразный и интересный выставочный сезон прошедшего года закончился в декабре седьмой выставкой работ молодых московских художников. Она была отмечена духом исканий и продемонстрировала несомненные сдвиги в творческих устремлениях молодежи.

Прежде всего следует сказать о решительном отказе от документализма в изображении фактов и явлений действительности, который нередко сопутствовал первым шагам молодых художников в прошлые годы. Участников выставки менее всего можно упрекнуть в академической холодности и иллюзорности — этих неизбежных спутниках поверхностного отображения.

Молодые авторы настойчиво ищут современные художественные средства для выражения своей мысли.

Однако сразу хочется сказать, что эти поиски далеко не всегда продиктованы желанием найти художественно ясное выражение большой жизненной идеи, нередко они лишь плод довольно поверхностных увлечений искусством современных западных художников.

В лучших работах выставки художники находят пластически свежее образное решение своей темы. Такова, в частности, уже репродуцированная ранее в «Юности» картина П. Никонова «Штаб Октября».



А. ФИЛИПОВ.

Орленок (скульптура).

Смольный».<sup>1</sup> Автор воссоздает историческое событие, изображая вооруженных рабочих и солдат, окруживших В. И. Ленина, который склонился над картой Петрограда. Ритм композиции, наклон фигур, развитие цвета и сила контрастов — все привлекает внимание к центру холста, к фигуре Ленина. Чисто живописными и пластическими средствами Никонов передает и жизненный драматизм сцены и торжественную приподнятость события.

В трех работах другого талантливого художника — Виктора Попкова, уже выступавшего на крупнейших московских выставках, — очевиден отход от иллюстративной трактовки сюжетов, свойственной некоторым его прежним работам. В воспроизводимой сегодня на нашей вкладке картине «Двое» Попков менее всего подчеркивает жанровую сторону сцены, он стремится передать эмоциональную сущность образов юноши и девушки, контраст их фигур, человеческих характеров.

Некоторая суровость образов характерна для многих работ, представленных на выставке. Она возникает из стремления молодых авторов запечатлеть и передать мир в его сложности, противоречиях. Рядом с просветленными, красочными бытовыми карти-

<sup>1</sup> Журнал «Юность» № 8 за 1966 год.

нами из жизни нашей молодежи в деревне, на далеких стройках, во время отдыха, рядом с такими радостными произведениями, как «Деревенская красавица» И. Орлова, «Солнце, воздух и вода» и «В новом районе» А. Априля, как скульптура «Орленок» А. Филиппова, зритель встречает на выставке и иные, более строгие и контрастные реалистические решения. В картинах В. Орловского «Новые дома», А. Окорокова «Материнство», И. Пчельникова «Художник», казалось бы, обыденные бытовые сюжеты



Н. НЕДБАЙЛО.

Плес (рисунок).

полны напряженного ритма, а в иных случаях — даже монументальности.

Правдивы, но суровы образы и некоторых других произведений — изображение легендарного Чапаева в картине Э. Жареновой, например, или экспрессивная группа Н. Матвеевой из обожженного дерева под названием «Помни!» — о страданиях людей в годы фашистской оккупации. Сдержанной строгостью отличается скупой по цвету, почти графический «Деревенский натюрморт» И. Обросова, густой, черно-синий сибирский пейзаж «Старая мельница» А. Чубарова и резко контрастный, напряженный по цвету и композиции пейзаж О. Лощакова «Владивосток». К этому же кругу произведений относится лаконичная по живописи серо-голубая «Чайная» Н. Смирновой.

В связи с появлением на выставке большого числа работ подчеркнуто сурового характера, хочется напомнить молодым художникам о том, что русское искусство всегда утверждало высокие, светлые идеалы, находя разрешение даже самых драматических сюжетов в духе глубоко оптимистического, жизнеутверждающего миропонимания.

Знакомясь с экспозицией, видишь большое разнообразие манер, художественных средств, стилей и чувствуешь в то же время настойчивое стремление к утверждению каждым автором своей творческой индивидуальности.

Действительно, оригинальны дарования почти всех упоминавшихся авторов, особенно наиболее сложившихся из них: И. Обросова и А. Априля, Э. Жареновой и О. Лощакова, П. Никонова и В. Попкова. Несомненно, своеобразен, например, и лирический талант Ю. Купермана, графические листы которого проникнуты тонким ощущением интимного мира лю-

дей и природы. Интересная индивидуальность угадывается в как бы растворенных солнечным светом пейзажах О. Прокофьева, а также в вылепленных будто на одном дыхании портретах совсем юного скульптора Р. Мурадяна, достигающего острой характеристики незначительными нюансами скульптурной формы.

Одновременно с тенденцией к утверждению глубоко личного, неповторимого своеобразия в творчестве молодых художников наблюдается сегодня увлечение приемами искусства 20-х годов, во многом экспериментального, сделавшего в свое время немало значительных художественных открытий, но подчас шедшего ложными путями.

Нельзя сказать, что освоение искусства 20-х годов протекает всегда глубоко и органично. Иногда молодые авторы просто подражают форме и духу произведений тех лет, не внося принципиально нового художественного содержания в свои работы. Таков, например, пейзаж Маркова «Дорога на Фералонто». Однако чаще художники используют средства и приемы, получившие в 20-х годах широкое распространение, для выражения новых идей и замыслов. В этом отношении интересна картина В. Кононенко «Митинг», где элементы кубистической формы сочетаются с живыми, но несколько огрубленными образами.

В некоторых других произведениях кубистические влияния отразились в композициях, имеющих декоративно-монументальное решение («Красная кухня» Дервиз).

Есть и еще одна тенденция, ясно проявившаяся на выставке. Я имею в виду тягу некоторых авторов к отвлеченной символике и декоративной стилизации. Такова, например, большая композиция из меди «Бегущая по волнам» А. Бурганова или триптих Е. Струлева «Солнце скрылось за бугор», напоминающий по манере остро ироничную лубочную картину.

Но особенно плодотворных результатов достигают художники, стремящиеся к простому и ясному поэтическому выражению действительности. Наиболее серьезных успехов на этом пути добились, в частности, скульпторы О. Комов, Ю. Чернов и Т. Соколова, каждый по-своему раскрывающие в портретах и композициях глубокое понимание натуры и чувство пластики.

Очень интересна работа О. Комова «Пушкин и Пушкин», воспроизводимая сегодня нашим журналом. Сюжет, казалось бы, ставший уже традиционным, многократно использованный и в живописи и в графике, приобретает у скульптора новый, более глубокий смысл. Лаконизм средств, простота образного решения скульптурной композиции сосредоточивают все внимание зрителя на напряженном внутреннем мире героев. Для портретных скульптур молодых сегодня вообще очень характерны решительный отказ от холодной академической иллюстративности, стремление к глубокому постижению духовного мира человека.

Разнообразие направлений, линий, тенденций в искусстве молодых художников все же не оставляет у зрителя беспокойного ощущения пестроты. Экспозиция, за исключением буквально нескольких работ, оказалась объединенной общим духом искательства и решительного отказа от натуралистических, изживших себя форм и средств изображения жизни. Именно эта поглощенность новыми задачами, это желание найти свежие и выразительные образы реальной действительности, при всех существенных недостатках, о которых говорилось выше, и, в общем, естественных для молодежи увлечениях, ошибках и влияниях и создают ощущение цельности и новизны экспозиции.

Исполнилось восемьдесят пять лет Корнею Ивановичу Чуковскому, замечательному русскому писателю, чьи книги были и остаются верными спутниками многих поколений советских читателей.

Поразительно многогранен его добрый и мудрый талант! Поэт, сказочник, прозаик, блистательный переводчик, литературный критик, завоевавший признание и известность еще в начале нашего столетия, тонкий исследователь мастерства А. П. Чехова, Н. А. Некрасова, У. Уитмена — таков далеко не полно очерченный круг его творческих интересов и пристрастий. Талант Корнея Чуковского не стареет, не меркнет с годами — в этом читатель «Юности» может еще раз убедиться, прочитав в нашем журнале главу из новой книги писателя, написанной молодо, увлеченно, как и все выходящее из-под пера Корнея Чуковского.

Редакция «Юности», миллионы читателей журнала поздравляют Корнея Ивановича с восьмидесятипятилетием и желают ему здоровья, новых творческих радостей!



Корней Чуковский

## ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

*И милость к падшим призывал.*

Однажды я спросил Илью Ефимовича Репина, какое впечатление произвел на него Чехов при первом знакомстве.

Репин ответил, что молодой Антон Павлович, которому в ту пору было около двадцати семи лет, показался ему уравновешенным, сильным, спокойным, насмешливым, очень похожим на Базарова из «Отцов и детей».

— На Базарова?

— Именно.

Впоследствии Репин высказал это свое мнение в печати, в одной из одесских газет.

«Положительный, трезвый, здоровый, — писал он о Чехове, — он мне напомнил тургеневского Базарова... Враг сентиментов и выпренных увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества».

Последняя фраза кажется немного напыщенной, но мысль, которую она выражает, несомненно, точна и верна.

«Кольчуга мужества», базаровская трезвость убеждений и принципов Чехова ныне очевидны для всякого, кто знает его биографию, его письма и те немногие публицистические очерки, где он высказывает свое отношение к тогдашней действительности. Здесь раньше всего вспоминается его газетная статья о знаменитом путешественнике Н. М. Пржевальском, о котором он отзывался в одном письме: «Таких людей, как Пржевальский, люблю бесконечно».

Вся его статья о Пржевальском исполнена истинно базаровского презрения к немощным, безвольным и ноющим интеллигентам той мрачной поры, о которых Чехов с обычной своей энергией однажды выразился, что они «помогали дьяволу размножать слизняков и мокриц».

Пользуясь газетными штампами и как бы пародируя их, Чехов изложил в этой анонимной статье свою заветную мысль о необходимости действенного вме-

На снимке — К. И. ЧУКОВСКИЙ. (Фото Ал. Лесса).

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ.

65

шательства в жизнь для преодоления ее нудной инертности.

«В наше болезненное время,— писал он,— когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце... Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что... есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно сознанных цели».

Это голос «положительного, трезвого, здорового» публициста «Базарова», ненавидящего косность и лень мертвенной, застойной эпохи.

Но имеем ли мы право всецело полагаться на публицистические выступления художников?

В своих декларативных статьях, в своих теориях, в своей публицистике художник может говорить одно, а в художественных произведениях — другое.

Вспомним Гоголя, который в большинстве своих высказываний был консерватор, а в «Мертвых душах» и в «Ревизоре» — бунтарь.

И кто же не знает, насколько далеки были идеи повестей и романов Бальзака от тех идей, которые он хотел проповедовать?

Большую ошибку совершил бы исследователь, если бы опрометчиво вздумал характеризовать художественное творчество Гоголя по его реакционной публицистике.

Точно так же мы не вправе судить о подлинной сущности художественного творчества Чехова по его высказываниям в публицистических очерках. Прочтя его «базаровскую» статью о Пржевальском, а также его дифирамб смелому, самоотверженному моряку Невельскому, героический образ которого тоже вызвал у него восхищение (в книге «Остров Сахалин»), можно было ожидать, что подобные люди, «люди подвига, веры и ясно сознанных цели», будут прославлены им в его рассказах, пьесах и повестях.

Этого не случилось. Напротив. И в пьесах, и в повестях, и в рассказах он вывел длинную вереницу беспомощных, понурых людей, которые не то что к подвигу, но к самому ничтожному деянию и то неспособны, и щедро опозитизировал их, всех этих Ивановых, Гаевых, трех сестер, дядей Ваней, Лаевских, Раневских...

Это было тем более примечательно, что сам-то он, облеченный в «кольчугу мужества», в избытке обладал теми качествами, которые так высоко ценил в Невельском и Пржевальском.

Почему же в большинстве произведений он такими недобрыми красками изображает людей, приближающихся по своему духовному складу к тем мужественным и сильным характерам, которые он превозносил в публицистике?

Как объяснить, как понять, почему вопреки своим неоднократным высказываниям в письмах, разговорах, статьях, вопреки всем фактам своей биографии он как поэт, как художник так часто тянулся к людям чуждой ему психической складки?

Почему в его произведениях так явно и так явно милы ему слабые, безвольные люди, не умеющие постоять за себя, справиться со своей тяжелой судьбой, преодолеть те невзгоды, которыми терзает их жизнь?

Это всегда удивляло меня. Ведь сам-то Чехов был человек непревзойденной активности. Почему же этот волевой человек, этот изумительно настойчивый труженик, с юных лет подчинивший себя жестокой дисциплине труда, этот «Базаров», строитель, садовод, путешественник, наделенный несокрушимым

характером, облакал бесхарактерных, бессильных, оцепенелых людей таким ласковым, чеховским светом?

Читателям, не умеющим судить о художнике по динамической мощи его творчества, и вправду могло показаться, будто он и сам хоть отчасти Лаевский, или Николай Степанович (из «Скудной истории»), или дядя Ваня, или Треплев (из «Чайки»), к любовному изображению которых было так расположено его дарование.

Сам он принадлежал к созидателям жизни, к людям героического подвига, но ни разу ни в своих новеллах, ни в пьесах не ввел этих близких ему по духу людей в круг своих поэтических образов. Они остались в стороне от его творчества. А если иногда он воздавал им хвалу (как, например, в «Попрыгунье» великодушному и деятельному Осипу Дымову), все же отодвигал их куда-то в дальний угол своих композиций.

В жизни в качестве Антона Павловича Чехова он не раз заявлял: «Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений».

Но как поэт, как художник был к «слабым и вялым» особенно милостив.

Я думаю, что дело здесь в одном-единственном чувстве, в котором главный стимул поэзии Чехова, которое животворит ее всю — беспредельная, жгучая, безмерная жалость даже к тем, кто сам виноват в своих муках и, казалось бы, не заслуживает никакого сочувствия.

Я перечитываю снова и снова поэтический «Дом с мезонином», где живет эта милая девушка, так нежно изображенная Чеховым, и спрашиваю себя всякий раз: почему наперекор своему темпераменту, наперекор всей своей жизненной практике Чехов относится так отчужденно и даже враждебно к сестре этой «Мисюся», к «общественнице» Лиде, почему он изображает ее такой пресно-скупой и будничной и озаряет таким ореолом поэтической жалости вечно праздную, безвольную Мисюся, которая, не умея и не желая бороться за права своей человеческой личности, безропотно, по одному только слову сестры, отказывается от радостей первой любви?

Под гипнозом чеховского мастерства-колдовства вся Россия поэтически влюбилась в эту бесхарактерную, слабую девушку и запретила ее старшую сестру за те самые дела и поступки, которые не в литературе, а в жизни были так дороги Чехову. Тот Чехов, каким мы знаем его по бесчисленным мемуарам и письмам, — земский врач, попечитель библиотек, основатель училищ, — встретиться он с Лидой не в литературе, а в жизни, несомненно, стал бы ее верным союзником, а в литературе он ее обличитель и враг.

То же самое в его пьесе «Иванов». В жизни Чехов, как мы знаем его по всем его действиям, разговорам и письмам, отнесся бы с безразличной враждебностью к таким людям, как герой этой пьесы — изнервленный, пассивный, патологически безвольный неудачник. Но в литературе Чехов не то, чтобы прославил Иванова, но все же очеловечил его и очеловечил настолько, что многим критикам даже почудилось, будто Иванов был для него идеалом, будто он и нам рекомендует превратиться в Ивановых. Между тем все дело в страданиях Иванова: пристально взглядевшись в него и поняв, как мучительна его душевная боль, Чехов при всей своей неприязни к нему не мог не проникнуться жалостью — жалостью врача к пациенту. И показательно, что противоборствующий этому убогому трутуну доктор Евгений Львов, мучающий его своей самодовольной порядочностью, выведен у Чехова ничтожным фразером,



тупым моралистом,— хотя, будь это не на сцене, а в жизни, Чехов, пожалуй, отнесся бы к нему куда снисходительнее.

Никто из нас, младших современников Чехова, в юности не мог бы сказать, чем, кроме художественного своего обаяния, его творчество было драгоценно для нас, и все же мы бессознательно чувствовали скрытый подтекст его книг, чувствовали, что при всей своей внешней бесстрастности, при полном отсутствии авторских подсказок и комментариев здесь все дело — в сострадании к людям, в лирической, щемлящей, всепрощающей чеховской жалости.

Хотя его произведения внушали нам множество других, самых разнообразных эмоций, мы были особенно восприимчивы к этой, ибо Чехов умел, как никто, заставлять своих читателей — хотя бы они того или нет — переживать чужую боль, как свою, ощущать себя соучастниками чужих огорчений и бедствий. Ему было в высшей степени доступно умение заражать, казалось бы, самых равнодушных людей своим сочувствием, своим со-страданием.

При колоссальном художественном воображении он без труда, с истинно толстовским искусством, преображался в любого из своих персонажей — в девушек, в женщин, стариков, малышей и подростков — и артистически воспроизводил перед нами переживания каждого из них.

Первое место в этой веренице замученных жизнью людей принадлежит в моих воспоминаниях Липе из рассказа «В овраге», сына которой по злобе ошпарили у нее на глазах кипятком. Завернув в одеяло умершего в страшных мучениях ребенка, она идет из больницы, не замечая дороги, по знакомым полям, под огромно-широким небом, под серебряным месяцем, под весенними звездами и несет свою страшную ношу домой. И кажется, все горе, какое может существовать на земле, скопилось в ее исстрадавшемся сердце. Всю власть своей магической лирики Чехов отдает здесь на то, чтобы внушить благоговейное сострадание к растоптанной женщине.

Этой-то чеховской жалостью, которая тем более трогала нас, что исходила из сурового и не склонного к нежным излияниям сердца, этой жалостью к безответным и кротким, объяснялась для нас безмерная снисходительность Чехова к таким усталым, пассивным и немощным людям, как Николай Степанович («Скучная история»), Ольга, Ирина и Маша («Три сестры»), Анна Акимовна («Бабье царство»), «неизвестный человек» («Рассказ неизвестного человека»), Лаевский («Дуэль»), и к великому множеству других несчастливцев.

Едва ли Чехов стремился прославить кого-нибудь из этих людей, но было одно, что влекло его к ним: все они были мученики. Мученики своей дряблостью, пассивностью, духовного обнищания, безволия. Все они глубоко страдали. Из-за этого и **только из-за этого** он художественно ратовал за них и поставил их в один ряд с другими несчастными: с Ванькой, с Липой, с Машей (из «Баб»), с казаком (из рассказа «Казак»), с Гусевым (из рассказа «Гусев») и т. д., и т. д., и т. д.

Значит ли это, что он разделял их мысли, желания, чувства и верования?

Этого почти никогда не бывало.

Здесь-то и заключалась своеобразная черта его творчества. И в пьесах и в новеллах он властью своего мастерства заставляет нас жалеть даже тех, **кому мы не можем сочувствовать и кого не расположены любить.**

Чехову было мало внушить сострадание к тем, кого мы склонны любить и кому мы привыкли сочувство-

вать. Он стремился вызвать в нас горячую жалость к несчастным даже **наперекор нашим симпатиям и вкусам.**

Можете ли вы отнестись хоть с малейшим сочувствием к ленивой, распутной женщине, которая изменяет любимому чуть ли не одновременно с двумя пошляками? Но прочтите об этих неприглядных поступках Надежды Федоровны в чеховской «Дуэли», и вы с удивлением увидите, что вам ее мучительно жаль, что вы поневоле на ее стороне, так как, в сущности, она глубоко несчастна — жертва одиночества, тоски и отчаяния.

Чехов вызвал наше сочувствие к ней единственным магическим способом, доступным лишь великим художникам: чудотворно заставил нас преобразиться в нее, и взглянуть на мир ее глазами, и проникнуться ее ощущением жизни, подобно тому, как Толстой преображал нас то в князя Андрея, то в Наташу, то в Пьера, побуждая каждого из нас переживать их жизнь, как свою. Не издали, не со стороны смотрим мы на героиню «Дуэли», нам открыта внутренняя логика ее душевных движений, и мы не только разумом, но всем естеством понимаем, что иначе, чем она поступила, она не могла поступить. И потому, даже осуждая ее, мы жалеем ее — пусть и против воли, но жалеем.

Постарайтесь проследить за собой во время чтения чеховской повести, — и вы увидите, как постепенно, страница за страницей, растет ваше сострадание к этой потерянной женщине. Всю силу своего воображения Чехов отдал на то, чтобы вы представили себя на ее месте, поняли бы роковую неизбежность ее постыдных измен и падений.

Многим мягкосердечным писателям было свойственно идеализировать тех, к кому они хотели привлечь горячее сочувствие читателей. Чехов чужд такой идеализации. Даже для того, чтобы разжалобить нас, он ни разу не поддавался соблазну хоть отчасти приукрасить своих подзащитных, утаить от нас их отталкивающие, темные качества.

Хотя книга «Остров Сахалин» была написана им для того, чтобы пробудить сострадание к сахалинским отверженным, он не скрывал в этой книге ни от себя, ни от нас, как глубоко порочны эти люди, как они развращены своей каторгой.

Такова же та жалость к крестьянам, которую он стремился внушить нам в рассказах «Мужики», «Жена», «Новая дача». Отказавшись идти по стопам благодушных народников, рисовавших крестьян идеальными праведниками, Чехов без всяких прикрас изображает скотскую жизнь деревенских людей, весь «идиотизм» их жизни — и, несмотря ни на что, внушает читателям свое чеховское сострадание к ним.

И к теме о падших женщинах у него такой же подход.

Когда Гаршин вознамерился снискать сострадание к рабыням публичных домов, он счел необходимым изобразить для этого одну из подобных рабынь в виде одухотворенной, возвышенной женщины, которая красивыми, застенчивыми, интеллигентскими фразами повествует о своей омерзительной жизни («Надежда Николаевна»). Только представив читателям такой невероятный, фантастически-привлекательный образ, Гаршин мог надеяться вызвать в них жалость к своим подзащитным.

Чехову такая фантастика оказалась ненужна. Тайно полемизируя с Гаршиным, он (в сборнике «Памяти Гаршина») изобразил этих женщин такими, каковы они есть, — ленивыми, пошлыми, пьяными, распутными, вздорными, — и все же чеховская правда о них («Припадок») внушила читателям подлинное

сострадание к ним, которого не в силах внушить неправдоподобное произведение Гаршина.

Ибо жалость, доминирующая в произведениях Чехова, была мужественная, суровая жалость, без всяких иллюзий, прямо смотрящая правде в глаза.

Его искусству была совершенно чужда та сентиментальная, умильная, плаксивая жалость, которая нынче кажется невыносимо фальшивой даже в книгах могучего Диккенса. Диккенс соглашался жалеть только тех бедняков, которые были благородны и кротки. И все его современники, писатели гуманистической школы в России, в Скандинавии, в Польше, во Франции, чтобы снискать благоволение сильных и сытых к гольфьбе чердаков и подвалов, изображали эту гольфьбу протосердечной, трогательно-милрой и безукоризненно честной.

Чехов порвал с этой слащавой традицией. Его гуманность была совершенно иной. Он, например, отчетливо видел и показал нам, ничего не скрывая, всю дрянность Лаевского (в той же «Дуэли») и, однако, на всем протяжении повести не отказал ему в своем сострадании. Это сострадание так велико, что по ошибке его можно принять за сочувствие.

И знаменателен такой парадокс: хотя враг и обличитель Лаевского зоолог фон Корен в своих многословных речах неопровержимо доказывает, что Лаевский тунеядец без чести и совести, хотя вы вполне соглашаетесь почти со всеми его обвинениями, хотя сам Чехов не может не сочувствовать его справедливому гневу, все же сердце читателя инстинктивно, по наваждению автора, лежит не к фон Корену, а к жалкому, падшему, виноватому его подсудимому.

И вообще повторяю: эти дряблые души при всех своих грехах и падениях представлялись нам — я говорю о своих сверстниках, людях минувшего века, — как бы озаренными милосердием Чехова.

Это не раз вызывало бурное негодование публицистической критики, особенно к концу его жизни.

Сострадание к слабым и дряблым казалось молодежи девяностых годов изменой жизненным задачам эпохи. Эпоха требовала от своих литераторов, чтобы они осуждали беспощадным судом немощных, безвольных и кротких. Надвигался героический период истории, когда как великую доблесть было необходимо прославлять несокрушимую волю к борьбе. Судя по мемуарным свидетельствам, Чехов, чуткий к настроениям и веяниям этого нового периода русской истории, был готов посвятить себя новой тематике. Но смерть не дала ему этой возможности, и он остался в памяти потомков, как один из гуманнейших русских писателей, учитель сострадания к падшим и гибнущим.

Тогдашние читатели из всего обширного сонма чеховских подзащитных искусственно выделили именно безвольных и пассивных людей и вообразили его их глашатаем, забывая, что сострадание к немощным никогда и нигде не переходит у Чехова в солидарность, в духовное единение с ними...

Сострадание, жалость, человечность, требовательная, неусыпная, чуткая совесть — в самый канун небывало жестокого века, столыпинских виселиц, фашистских застенков, лагерей массовой смерти!

В страшную эпоху Хиросимы, Бабьего яра, кровавых погромов, хладнокровного, заранее обдуманного истребления ни в чем не повинных людей было странно вспоминать, что еще так недавно жил на нашей земле скромный и гениальный писатель, учивший деликатной участливости к чужой самой малой беде. В «вихре злобы и бешенства», когда циничное глумление над человеческой личностью грозило превратиться во всеобщий закон, самое существование чеховских книг воспринималось памятью как невозможный, невероятный, немыслимый миф.

Не дико ли, что были такие периоды, когда призывы к человечности казались упрямством на века, когда Чехов, певец душевного благородства и совести, казался чуть ли не древним писателем?

В этом смысле он и в самом деле древний писатель.

Дело, конечно, не в том, что и он и его персонажи жили в старинном быту, не знали ни самолетов, ни радио, ни телевизоров, ни кино, ни космонавтов, ни пеницилина, ни джаза. И не в том, что все свои произведения Чехов писал при свечах и керосиновых лампах. И не в том, что его прелестно-молодая Мисюся из «Дома с мезонином» была бы теперь восьмидесятивосьмилетней старухой, а Ольге из «Трех сестер» было бы уже около ста.

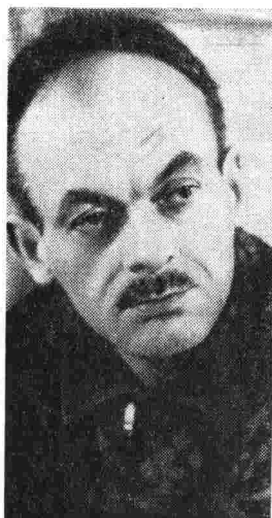
Это несколько не мешает ни нам, ни зарубежным читателям чувствовать Чехова сегодняшним, нашим, живым.

Устарело в его книгах лишь одно: в бесчисленной массе людей, добрых и злых, глупых и умных, сильных и слабых, поэтичных и пошлых — во всем этом чеховском густонаселенном, разнообразнейшем мире никак не вмещаются те гитлеры, геринги, гиммлеры, эйхманы, которые вскоре после его смерти вышли на арену истории и продемонстрировали перед всем человечеством, до какой ужасной, никем не предвиденной низости может дойти оскотинившаяся душа человеческая, какие тысячи тупых палачей и разнузданных извергов таятся в недрах всемирной истории. Рядом с этими палачами и извергами все чеховские «унтеры Пришибевы», «человеки в футлярах» и даже сахалинские каторжники кажутся мягкосердечными, светлыми личностями. Творческим своим воображением Чехов не мог даже представить себе несметной массы тех осатанелых садистов, которые сделали своей профессией, своей повседневной работой массовое уничтожение беззащитных людей.

Здесь укоризна излюбленному чеховскому методу «уравновешивания плюсов и минусов», так как вряд ли даже Чехов отыскал бы хоть какой-нибудь самый маленький «плюс» в душе любого фашистского лидера.

Во всем остальном — это видно по всемирному спросу на чеховские книги и пьесы — он нестареющий, сегодняшний автор. Отошли, отодвинулись в прошлое многие из проблем и конфликтов, одушевлявших его лучшие вещи, но красота этих вещей не стареет, не стареет и их страстная гуманность.

## Булат Окуджава



Мой город засыпает. Да мне-то что с того!  
Я был его мальчишкой, я нянькой был его,  
я был его солдатом, его рабочим был...  
Он слишком удивленно всегда меня любил.  
Он слишком осторожно мне руку подавал,  
по будням меня помнил, а в праздник  
забывал.

И если я погибну, и если я умру,  
проснется ли он с криком однажды поутру?  
Пошлет ли сокрушенно перед началом дня  
своих счастливых женщин

оплакивать меня!..  
...Но с каждым днем все чище, все злей  
его люблю

и из своей любви богов своих леплю.  
Мне ничего не надо, и сожалений нет:  
со мной моя гитара и пачка сигарет.

### Первый гвоздь

Города начинаются с фунта гвоздей.  
Первый гвоздь всех собратьев дороже.  
А потом уж пора новоселий, гостей...  
Каждый гость дорогой — в макинтоше.  
А потом первый дом обмываем — поем,  
Умиляется гость, тяжелеет...  
Первый гвоздь в первой свае ржавеет,  
мы пьем,  
он ржавеет,  
мы пьем,  
он ржавеет.

### Песенка о ночной Москве

Когда с окраин раздается еще неясный  
голос труб,  
слова, как ястребы ночные, срываются  
с горячих губ,

мелодия, как дождь случайный, гремит...  
И бродит меж людьми  
надежды маленький оркестрик  
под управлением Любви.  
Во дни разлук, во дни сражений, когда  
свинцовые дожди  
лупили так по нашим крышам,  
что снисхождения не жди,  
когда и командиры хрипли —  
он брал команду над людьми,  
надежды маленький оркестрик  
под управлением Любви.  
Кларнет пробит, труба помята, фагот,  
как старый посох, стерт,  
на барабанах швы разлезлись,  
но кларнетист красив, как черт,  
флейтист, как юный князь, изящен...  
Он вечно в сговоре с людьми,  
надежды маленький оркестрик  
под управлением Любви.



В детстве мне встретился как-то кузнецик  
в дебрях колечек трав и осок.  
Прямо с колючек, словно с крылечек,  
спрыгивал он, как танцор, на носок,  
передо мною качался мгновенье  
и исчезал иноходцем в траве...  
Может быть, первое стихотворенье  
зрело в зеленой его голове.

— Намереваюсь! — кричал тот кузнецик.  
— Может ли быть! — усмехался сверчок.  
Из-за обоев, щелей, из-за печек  
крался насмешливый этот басок,  
но из-за речек, с лугов отдаленных  
«Намереваюсь!» — как песня, как гром...  
Я их встречал, голубых и зеленых,  
Печка и Луг им служили жильем.  
Печка и Луг — разделенный на части  
счастья житейского замкнутый круг,  
к чести его обитателей частых,  
разных, не праздных, как Печка и  
Луг,

маленьких рук постоянно стремленье,  
маленьких мук постоянна волна...  
Племени этого столпотворенье  
не успокоят ни мир, ни война,  
ни уговоры его не излечат,  
ни приговоры друзей и врагов...  
— Может ли быть!! — как всегда из-за  
печек.

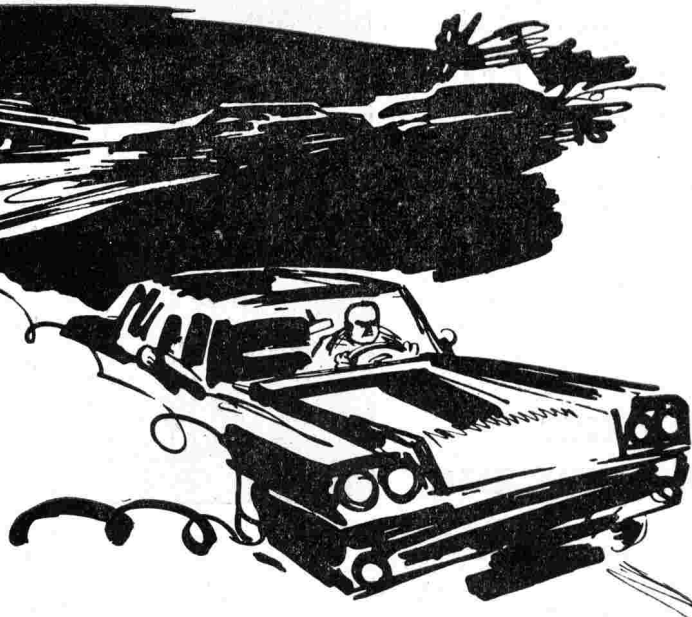
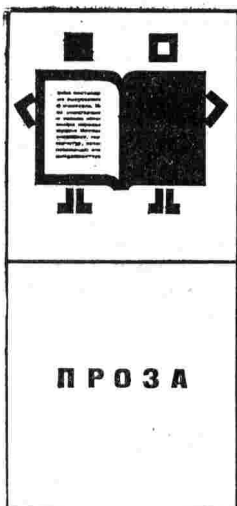
— Намереваюсь! — грохочет с лугов.  
Годы прошли, да похвастаться нечем.  
Те же дожди, те же зимы и зной.  
Прожита жизнь, но все тот же кузнецик  
пляшет и кружится передо мной.  
Гордый бессмертьем своим непреклонным,  
мировоззреньем своим  
просветленным,  
скачет, куражится, ест за двоих...  
Но не молчит и сверчок тот бессонный.  
Все усмехается...  
Что я для них!

П. Багряк

# ПЕРЕ- КРЕ- СТОК

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ  
ПОВЕСТЬ

Рисунки автора.



8

Темный лес

**З**вонок Гарда застал Фреда Честера в ту самую веселую минуту, когда он ссорился с женой.

С тех пор, как Честер был вынужден расстаться с газетой, жизнь под одной крышей с Линдой стала для него очень трудной. Нельзя сказать, чтобы она не любила своего мужа или испытывала к нему какую-то неприязнь, но претензии Линды к Фреду явно перерастали его нынешние возможности. Линда продолжала жить так, будто Фред по-прежнему приносил домой регулярные деньги, а не случайные гонорары,— вероятно, подобным образом устроены все женщины на белом свете, которые однажды, разучившись экономить, уже никогда не могут постичь заново это немудрое искусство. Во всяком случае, Линда и слышать не хотела о продаже пианино, на котором она раз в месяц играла попури из современных оперетт, и тем более старенького «бьюика», у которого только чудом крутились колеса.

В этот день Линда с самого утра пилила Фреда, настаивая на том, чтобы он вновь вспомнил о своей прежней профессии парикмахера. Сначала Фред не возражал, говоря, что в любую минуту готов взять в руки ножницы и щипцы для горячей завивки, если Линда даст согласие быть его первой клиенткой. Но потом ему все это надоело, и он серьезно заявил Линде, что настолько перезабыл парикмахерское ремесло, что наверняка будет среди прочих парикмахеров «каменотесом». И вообще он не желает расставаться с профессией журналиста, чего бы ему это ни стоило.

— Ну вот,— вскричала Линда,— еще не хватает, чтобы ты сам платил за свои дурацкие интервью, вместо того чтобы получать за них!

Окончание. Начало см. в № 3 за 1967 год.



И в это мгновение зазвонил телефон, за который, кстати, уже три месяца не было плачено.

— Старина, — сказал Дэвид Гард, — я чувствую, ты, как всегда, чирикаешь со своей милой супругой? У меня есть к тебе дело...

Гард ждал его в парке Майнтрауза, сидя на лавочке, укрытой под плексигласовым навесом. Шел противный, мелкий дождь, и место, выбранное Гардом, было как нельзя более удачным.

Фред уже привык к тому, что Дэвид вызывал его, как правило, для совета. Прежде он был отменным поставщиком сенсационных материалов, но то золотое время для Честера благополучно кончилось на деле Миллера, и даже с самыми сногшибательными статьями он не мог появиться в редакциях ведущих газет. С другой стороны, Дэвид в последнее время все чаще стал заниматься делами, не подлежащими огласке.

— Что случилось, старина? — спросил Честер, усаживаясь рядом с Дэвидом и «беря быка за рога», поскольку он знал, что у Гарда обычно не бывает свободного времени.

— Я не тороплюсь, Фред, — вопреки обыкновению сказал Гард. — В этом деле торопливость чревата...

— Ну что ж, тогда давай поговорим для начала о том, как кормят в «Ламенге».

— Ого, не ранее как сегодня утром я вспомнил этот ресторан, когда Луиза сказала мне о Питере.

— Старина, — заметил Фред, — я тоже умею говорить загадками, и если ты хочешь, чтобы у нас получилась толковая беседа, я напому тебе о Розе и Форшдермоте.

— А кто это такие?

— Позволь спросить в таком случае: кто из нас кого вызвал на это милое свидание? Быть может, лучше ты расскажешь мне, кто такие Луиза и Питер?

— Дело не в них, Фред. Я хочу спросить тебя: что ты думаешь о том, какой Миллер остался?

— Я не могу ответить на твой вопрос хотя бы потому, что не знаю, с какой целью он задан. Кроме того, ты уверен, что я вообще знаю ответ? Таратура мог бы быть тебе сегодня полезней...

— Он человек Миллера и ничего не скажет, даже если бы и знал, что сказать, — возразил Гард. — А ты по крайней мере больше всех возился с тем делом, и, я уверен, оно мучает тебя еще сегодня.

— Хорошо, Дэвид. Но при условии: карты на-ружу.

— Как всегда.

Они подняли правые руки, коснулись своих левых плеч, что еще с незапамятных времен означало у них клятву в безоговорочном доверии друг к другу, и Гард в течение получаса подробно изложил Честеру все, что ему было известно по делу Чвиза.

Собственно, знал он не так уж много. Он знал, бесспорно, что профессор исчез, как исчезла и папка с секретными документами, и мог определенно предположить, что его исчезновение было инсценировкой. Он, безусловно, знал, кроме того, что записка написана самим Чвизом и что он собственной рукой передвинул стрелки контрольных часов. Сам ли он задумал исчезнуть или его заставили, по доброй ли воле написал записку или ему продиктовали содержание, и, наконец, добровольно ли он передвигал стрелки часов, — ответить на эти вопросы Гард не мог. Старик скорее всего жив, он где-то спрятан или прячется сам, но кому это нужно и зачем, остается тайной.

В конце концов в этом деле могли быть замешаны совершенно посторонние люди, хотя их вход в институт и выход за его пределы чрезвычайно

усложнены, если сравнивать с возможностями «своих». А «своими» были только трое: Кербер, Миллер и Луиза, которая в крайнем случае могла оказаться лишь орудием в чьих-то руках, ну, предположим, в руках некоего Питера, своего бывшего мужа, до которого Гард еще хотел «добраться». Кербер тоже вызывал сначала серьезные подозрения, особенно после того, как он буквально изменился в лице, когда в лаборатории были обнаружены контрольные часы. Но затем странное состояние Кербера получило разгадку, ибо именно он установил несоответствие стрелок с фактической возможностью проводить опыты. Значит, Миллер? Да, Миллер. И Гард не желает скрывать своих подозрений ни от Честера, ни от Дорона, ни от самого Миллера, который, зная о них, может предпринять кое-какие действия и тем полностью себя разоблачить.

Но вот что интересует Гарда на этом этапе следствия: мог ли Миллер, если учесть его характер, образ мышления и прочие личные качества, «убрать» Чвиза и выкрасть документы? Мог или не мог?



— Я понимаю,— сказал Гард Честеру,— что ты не располагаешь точными данными, но я верил и верю твоей интуиции. Подумай, Фред, и скажи мне: какой Миллер остался?

Честер молчал очень долго, до конца испытывал терпение друга. Наконец он сказал:

— Дэвид, что должна была делать эта установка?

— Какая тебе разница?

— Удовлетвори мое любопытство.

— Откровенно говоря, я и сам толком не знаю.

И вообще, на кой тебе черт лезть в это дело, если каждый человек, знающий об установке, рано или поздно попадает в «список Дорона»?

— Я в этом списке так давно, что одним секретом больше, одним меньше...

— Хорошо,— сказал Гард.— Я понял так, что она может превращать людей в газ, а может и создавать новых.

— Печатать?

— У них это называется как-то иначе.

— Я так и думал. Появление двойника Миллера заинтересовало Дорона в той истории больше всего, и я еще тогда понял, что старику Чвизу придется туго.

— А Миллер?

— Что Миллер? Я иногда смотрю на тебя, Дэвид, и мне кажется, что ты появляешься рядом со мной транзитом из потустороннего мира.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Не обижайся, старина, но ты или делаешь вид, или действительно наивен, как ребенок, если полагаешь, что от характера Миллера и только от него зависит его же поведение. А Дорон? А общественное мнение? А прочие внешние обстоятельства?

— Я инспектор уголовной полиции...— начал Гард.

— Очень приятно познакомиться,— прервал его Честер.— Остальное я могу сказать за тебя: «И я не лезу в политику. У меня есть труп, и моя задача найти убийцу». Все?

— Все.

— А я сейчас нарисую тебе варианты, и ты поймешь, что твоей страусиной логике полтора лемма цена. Предположим, остался «плохой» Миллер — человек крайне реакционных взглядов, коварный, злой, властолюбивый, завистливый и так далее. Ну что ж, вполне логично, если он захочет «убрать» конкурента Чвиза, украсть документы, чтобы они больше никому не достались, получить в свои руки всю установку, а потом диктовать условия Доронам и, может быть, всему миру.

— Согласен,— сказал Гард.— Вот это мне от тебя и было нужно.

— Ты, кажется, сказал, что торопливость в этом деле чревата? Куда же ты торопишься?

— Ты стал ворчлив, как твоя милая Линда.

— Один-один. Можно дальше? Так вот, представь себе, что остался «хороший» Миллер — благородный человек, с прогрессивными взглядами, честный и справедливый, гуманный и умный. Что может сделать он в подобной ситуации? Он тоже может «убрать» Чвиза — уговорить старика отправиться в надежное и тайное место, — ибо понимает, что старик слишком слаб и мягок, чтобы сопротивляться Дорону, что он не борец, что он может под небольшим нажимом даже не продать, а просто отдать Дорону все, что угодно. И, конечно, может взять при этом документы, чтобы они не попали в чужие руки. Вывод: и «хороший» и «плохой» Миллер могли поступить в этой ситуации одинаково.

Гард, потрясенный логикой Честера, даже поднялся со скамейки и вышел под дождь.

— Если уж ты хочешь мокнуть,— сказал Честер,— гораздо приятней промочить внутренности.

Они вышли из парка и через несколько минут уже сидели в дальнем углу «Золотого зуба», отгороженные от прочей публики поролоновой занавеской. Платил Гард, и прежде, чем он вновь заговорил о деле Чвиза, они успели выпить по целой квинте горячего пива.

— Ты знаешь,— сказал Гард,— о чем я сейчас подумал? Если психология не может помочь мне в решении задачи, должна помочь обыкновенная криминалистика.

— Гениально! — заметил Честер.

— Смотри, получается любопытная картина. С одной стороны, Чвиз мог в тот вечер инсценировать исчезновение и передвинуть стрелку на полчаса вперед, чтобы спокойно убраться, имея фору времени. О том, что институт обесточен, он, я думаю, не знал, иначе инсценировка с самого начала была бы глупой и нелепой. А мог и так: инсценировать исчезновение, написать записку и уже отправиться в свое убежище и тут неожиданно столкнуться с Миллером.

— Чего же ему с ним сталкиваться,— перебил Честер,— если ты считаешь Миллера причастным к исчезновению?

— Подожди, не мешай. Я обдумываю вариант, при котором Миллер остается в стороне. Он так горячо пытается меня убедить в этом, что я просто обязан подумать... Итак, столкнувшись с Миллером, старик заводит разговор, который давно накопел в его душе и до такой степени, что просто ему надо с кем-то поделиться. Судя по магнитофонной записи, так и было, потому что мне трудно допустить, чтобы старик мог «сыграть» подобную сцену. Они поговорили, попрощались, и — что дальше? Дальше Чвиз должен вернуться в лабораторию, чтобы на время этого разговора передвинуть стрелку часов, иначе Миллеру будет ясно, что никуда он не распылился, а где-то сидит в теплом местечке и попивает пиво.

— А в это время в лаборатории кто-то крадет папку с документами,— сказал Честер,— старик прячется в замочную скважину или в булавочное ушко, и не хватает только сценариста с режиссером, чтобы сделать из этой истории сногшибательный боевик.

— Ты болван,— спокойно сказал Гард.— Но, между прочим, ты можешь оказаться прав: не исключено, что Чвиз видел вора,— серьезно продолжал он.— Если папку украл «свой», он мог это сделать именно в тот промежуток времени, когда Чвиз разговаривал с Миллером...

— Я вижу, Миллер у тебя совсем ангел.

— ...поскольку,— невозмутимо продолжал Гард,— ни в субботу, ни в воскресенье никто попасть в институт не мог. А в пятницу вечером люди еще были.

— Кто?

— Что значит «кто»? Луиза была, ее задержал Чвиз после работы, и мы не знаем, ушла ли она сразу, как только он ее отпустил. Был, вероятно, Кербер, который заходил в тот вечер к Чвизу и понял, что Чвиз готовится к контрольному опыту, и мог остаться, чтобы узнать результат. Был, наконец, Миллер...

— Но не мог же Миллер одновременно говорить с Чвизом и в то же время красть документы?

— Черт его знает! — в сердцах ответил Гард.— Я отлично помню время, когда ты ухитрился видеть Миллера одновременно сидящим в своем кресле и лежащим в гробу на кладбище у Бирка.

— Ну, а если Чвиз действительно видел вора, тогда что?

— Ничего. Тогда Чвиза уже нет в живых, а если

он жив, я не хотел бы быть на его месте. Но, к сожалению, это наша с тобой выдумка, и, если бы все было так просто, делами уголовной полиции занимались бы дети, и даже тебе они были бы по плечу.

— Могут ли я расценивать твои слова как оскорбление? — с надеждой в голосе спросил Честер, но Гард мгновенно уловил подвох.

— Нет, — сказал он, — это комплимент.

— Слушай, а на кой черт старик Чвиз разломал установку? — спросил Фред.

— Я об этом не думал, — признался Дэвид. — Но если не он украл документы, ему действительно нет смысла ломать машину.

— Так, может, он и украл документы? Работы задержатся на какие-то полгода, и старику этого довольно?

— Все может быть. — Гард тяжело вздохнул. — Все может быть, старина. Во всяком случае, тот, кто украл документы, тот и разделался с установкой, ты совершенно прав.

— Но кто?

— Темный лес, — сказал Гард. — Ни одного про света.

— Да, — подтвердил Честер. — Запутанная история.



двух сторон. Но во всех случаях цепочка остается цепочкой — все связано.

— Это логично, — прокомментировал Миллер.

— Итак, повторяю, шеф, можно начинать с Чвиза, а можно и с документов. Вы, конечно, считаете, что найти человека легче, чем пачку листов бумаги. Именно так и меня учили в полицейской школе. Но это не всегда так, шеф. Убейте меня, если в моей башке есть хотя бы одна, пусть самая дохлая идея, где находится Чвиз. В Париже, в Москве, на острове Таити, на дне деревенского пруда, в могиле или в четырех посылках, идущих малой скоростью в разные города по несуществующим адресам? А может быть, старик плюнул на все и вальяется четвертый день с какой-нибудь девчонкой вон в том доме напротив ваших окон? Другое дело — документы. Они исчезли из института между вечером пятницы и утром понедельника. Доступ в институт открыт очень ограниченному кругу людей. В лабораторию Чвиза — еще более ограниченному. Круг сужается. Ближе всего к его центру — вы, шеф, Кербер и Луиза. С этих людей и начал бы любой грамотный детектив. Например, такой, как я. Фантазия в нашей профессии только вредит. Я бескрылый человек, и я начал бы с вас, шеф. Но вы стараетесь убедить меня, что это никудашная затея, хотя, простите, алиби у вас нет. Только рассуждения. А слова, шеф, такой мягкий материал, что из них можно вылепить что угодно. Теперь вы спрашиваете: «Кто, если не Миллер?» Я начал бы с Луизы. Женщина. Конечно, работы больше, это верно. Но знаете, шеф, интереснее! Механизм поведения женщины — это такая штука, по сравнению с которой установка Чвиза — детский волчок. Я хочу попробовать разузнать что-нибудь интересное о Луизе.

— Хорошо, — согласился Миллер. — Лишь одна просьба к вам: все, что вы узнаете, вы доложите инспектору Гарду. Я так хочу. Он продолжает подозревать меня, но я сам даю ему помощника.

...Таратура не терял времени даром. Ему удалось быстро установить, что Луиза Муллен двадцать восемь лет назад родилась в маленьком городишке Кролле, в шестидесяти милях отсюда, в семье мелкого лавочника Жана Муллена, скончавшегося три года назад. Ее мать продала лавку и жила в Кролле, а брат, сержант морской пехоты, служил где-то в Юго-Восточной Азии. Живет Луиза на улице Желтого Клоуна, где снимает крохотную квартиру.

Домохозяйка Луизы сразу сообразила, что на Та-

## 9

### Под зеленой крышей

**Т**аратура стоял перед Миллером, стряхивая пыль с локтей своего пиджака.

— Вы все слышали? — спросил Миллер.

— Иначе зачем бы я там сидел, шеф? Этот тайник надо расширить. Душно. Антисанитарные условия работы.

— Оставьте ваши шутки, — поморщился Миллер. — Вы понимаете, что этот инспектор подозревает меня?

— Я работал с этим инспектором несколько лет, шеф. Вы абсолютно правы, он действительно подозревает вас.

— А что вы думаете обо всем этом? Кого подозреваете вы?

— Вас, шеф.

— Так. Прекрасно. Давайте начистоту. Работа Чвиза — очень важная работа. Я много думал о ней и понял, что должен помочь Чвизу. Мы работали вместе и достигли важных результатов. Я хорошо знаю последнюю модель установки. Многие детали этой модели — мои детали. Я собирал их своими руками. Мне не нужно было красть чертежи. Вы верите мне?

— Допустим.

— Если так, придется сменить объект ваших подозрений. Кто тогда?

— Видите ли, шеф, есть два принципиально разных пути поиска. Можно искать Чвиза, а через него документы. Но можно искать документы, а через них — Чвиза. Оба исчезновения связаны между собой. Это ясно. Ясно и другое: документы похитил не Чвиз. Если бы он задумал бежать со своим изобретением, он должен был бы, простите, пристрелить вас, шеф. Ведь он знал, что вы понимаете, как устроена эта машина. Поэтому к короткой цепочке Чвиз — документы — цепляется какое-то дополнительное звено или несколько звеньев. Они могут цепляться за Чвиза, могут за документы, а могут и с

ратуре можно заработать, и ее пришлось «размачивать» десятью кларками. В рассказе домохозяйки была одна любопытная деталь. Никогда никто не видел Луизу в обществе молодых людей. Подруги были. Болтали, дурачились, бегали в кино. Иногда подруги приходили со своими кавалерами. Это бывало. Но Луиза — никогда. Правда, не чаще одного раза в неделю она возвращалась очень поздно. Обычно на такси. Ее никто не провожал.

— Я уверена, что у нее есть возлюбленный, — сказала домохозяйка и подмигнула Таратуре.

Даже она не знала, что Луиза была когда-то замужем. В карточке полицейского управления, к которой Таратура по старой дружбе получил доступ, удалось установить, что Питер Клаус, торговец скобяными товарами, довольно средней руки коммерсант, — действительно был мужем Луизы Муллен. Расставшись с ней, он женился на дочери покойного Флетчера Претта, вдова которого держала небольшой ресторан на углу Баркен-стрит и улицы св. Франсиски. Полгода назад Питер Клаус объединил свой капитал с матушкой Претт, и ресторан буквально расцвел. Никакого отношения к научному миру Питер никогда не имел, а с Луизой, судя по всему, не встречался.

«Или она таскает документы Института перспективных проблем какому-нибудь шпиону, — подумал Таратура, — или шпион является ее «возлюбленным», или Питер еще не забыл дорогу к Луизе, и они продолжают тайно встречаться... Во всяком случае, сейчас выследить ее было бы глупо. После всей этой истории она, конечно, понимает, что за ней могут следить. Впрочем, я увлекаюсь, как это бывало и в прежние добрые времена. А не проветриться ли мне? Пожалуй, надо навестить старушку...»

Следующим утром Таратура уже сидел на веранде крохотного ресторанчика со странным названием «Розовый кавалер» — единственного ресторанчика Кролля, если не считать ливной «Радость» и аптеки, где подавали кофе. Таратура не спеша потягивал пиво и с каждым глотком преисполнялся мира и благодушия. Вся эта суeta с пропажей старого профессора, хриплые телефоны, тайники, автомобили, потные, душные воротнички нейлоновых сорочек, торопливые обеды — вся эта бессмысленная, шумная, пестрая городская жизнь отлетела от него. И он думал о ней так, будто все это его не касалось, будто он уже порвал с ней навсегда, а эта веранда, и плетеные пластмассовые креслица, и холодное вкусное пиво, и гомон ласточек, и это высокое чистое небо будут с ним навсегда.

«Как я живу?» — вдруг подумал он.

Жизнь — бег, в котором нет финиша, вернее, в котором на финише тебя ждет Бирк. И нет никаких призов, как бы быстро ты ни бежал, а если и дарят цветы, то венки, а не букеты.

— Не хотите ли еще пива? — услышал он за спиной голос хозяина ресторанчика и обернулся.

— Нет, спасибо. У вас отличное пиво, и чем больше пьешь, тем труднее остановиться.

— Мы варим его сами, без всяких химических хитростей, — засмеялся польщенный хозяин. — Я вижу, вам понравилось у нас.

— Да, очень нравится, — просто сказал Таратура и вдруг понял, что «там», в «той» жизни, он бы не смог так просто ответить.

— А надолго в наши края?

— Нет, сейчас поеду... Впрочем, надо еще зайти к мамаше Муллен, передать ей привет от дочки. — И он снова заметил про себя, что назвал незнакомую

ему женщину «мамашей», чего никогда не сделал бы «там».

— О, как хорошо! Она будет рада! Обязательно, обязательно зайдите! — обрадовался хозяин ресторана. — Это же совсем рядом. Вот ее дом, зеленая крыша за зелеными деревьями... Хотите, я провожу вас?

— Спасибо, — сказал Таратура и опять подумал, что «там» никто бы не обрадовался такой крошечной чужой радости и не пошел бы провожать его в чужой дом.

Он вошел в зеленый палисадник и сразу увидел маленькую старушку с лейкой в руках.

— Простите, могу ли я видеть мадам Муллен? — спросил Таратура.

— Это я, — отозвалась старушка и поставила лейку на землю.

— Добрый день. Я от Луизы.

— Вы Бэри?! — воскликнула мамаша Муллен. — Ну, конечно, я сразу вас узнала! Ну, конечно же, вы Бэри!

«Черт возьми, — пронеслось в голове Таратуры, — этого я не предусмотрел. Однако стоит рискнуть».

— Да, я Бэри, — сказал Таратура. — Никак не ожидал, что вы меня узнаете.

— Ну как же! Луиза так много писала о вас! Пойдемте в дом.

И вот они уже сидят в чистенькой гостиной со старинной мебелью и портьерами с бахромой в виде маленьких шариков, какие «там» нельзя купить ни в одном универсаме. Они сидят, и он рассказывает ей о Луизе и ее работе.

— О, это так трудно — химия! — вздыхает мамаша Муллен. — Я знаю, я читала в газетах. Скажите, а это не опасно?

И Таратура рассказывает, что это совсем не опасно, а она угощает его чаем, советует попробовать джем из слив.

— Вы тоже химик? — спросила она.

— Не совсем, — осторожно сказал Таратура.

— Но ведь Луиза писала, что вы тоже работаете в этом институте?

— Да, разумеется, — поправился Таратура. — Но у нас в институте не только химики. Я занимаюсь химической физикой. Это, как вам сказать...

— О, не трудитесь, я все равно не пойму. — Она замахала на него руками. — Лучше попробуйте вот это. Да, да, засахаренные вишни. Из собственного сада. О, это очень вкусно и дает прекрасный цвет лица. Впрочем, вы в этом не нуждаетесь. С такой целью есть эти вишни вам положительно рано. Никогда вам не дадут ваших лет! Никто и никогда!

— А сколько дадите мне вы? — лукаво спросил Таратура.

— Ну, я не в счет, — заулыбалась мамаша Муллен, — я-то знаю, Луиза писала мне. Я могу вам только польстить.

— Но, может, Луиза прибавила, стараясь показать вам, что у нее серьезный и солидный друг? — сказал Таратура.

— Вы старше ее на двенадцать лет, — с простодушным смущением сказала мамаша Муллен. — Ну что? Теперь вы сами видите, что моя дочка не обманывает свою маму. А?

— Да, это верно, — улыбнулся Таратура.

Он досидел до обеда, и они вместе обедали, а потом опять говорили, и он опять рассказывал, как живет Луиза, где бывает, какие у нее подруги, что купила она себе в последнее время. Наконец он собрался уезжать, но матушка Муллен не отпускала Таратуру, просила новых рассказов, и он не мог ей отказать.



Потом, уже под вечер, она проводила его, и, когда они распрощались и он уже повернулся, чтобы идти к машине, она вдруг схватила его за рукав и, заглядывая в глаза, спросила тихим, срывающимся шепотом:

— Бэри, вы правда любите мою Луизу? Правда?

— Да, очень,— выдавил из себя Таратура.

— Не обижайте ее, Бэри. Она хорошая, моя девочка. Ну, идите, идите... Храни вас бог.

Никогда еще не было у Таратуры так мерзко на душе.

Над редким мелколесьем, слева от автостреды, уже поднималось розовато-пепельное зарево большого города. Таратура увидел его и понял, что напнется сегодня, как самая грязная свинья.

— Бэри работает в Институте перспективных проблем... 40 лет,— вслух повторил Гард, когда Таратура рассказал ему все, что узнал.— Ну что же, старина, это и мало и очень много.

Через полчаса перед инспектором уже лежала бумага, срочно присланная из канцелярии института. В институте работало четверо сорокалетних:

Вильям Слейтер — сварщик, сварочная мастерская.

Самуэль Гротгус — инженер, лаборатория № 8.

Мэри Петтерсон — судомойка, бар третьего этажа.

Отто Кербер — инженер, лаборатория профессора Чвиза.

— Кер-бер, Бэ-ри. Ясно,— сказал Гард.— Это именно тот случай, когда надо докладывать боссу. Видит бог, как я не люблю этих случаев...

Еще через полчаса он был у Дорона.

— Очень любопытно. Очень,— сказал генерал, выслушав доклад Гарда.— Но вы идете по ложному следу. Кербера не трогать. Это мой человек в институте.

## 10

### Черный «мерседес»

**М**иллер прочитал телеграмму, поданную горничной, быстро свернул ее и нервно положил в бумажник.

— Что случилось, Дюк? — спросила Ирэн.

— Ничего,— ответил Миллер.— Пустяки.

Он встал из-за стола, вышел из комнаты, потом вернулся.

— Агата,— спросил он у горничной,— где может быть сейчас Таратура?

— Перед уходом он мне сказал, что с 16.30 до 18.15 будет в «Ветоке», в 18.30 придет сюда, а в 19.45 пойдет в кинотеатр «Боклан», где будет находиться...

— Благодарю вас,— перебил Миллер.— Принесите мне телефонный справочник.

Перевернув несколько страниц, Миллер нашел кафе «Ветока» и набрал нужный номер:

— Прошу позвать Таратуру.

Личный шофер, секретарь и телохранитель словно ждал этого звонка. Через двадцать секунд он был у телефона:

— Слушаю, шеф.

— Немедленно приезжайте! — приказал Миллер.

— Через восемнадцать минут буду,— ответил Таратура и повесил трубку.

— Эдвард, я знаю, что-то случилось,— сказала Ирэн.

Миллер ничего не ответил и молча прошел в свой кабинет. Там и застал его Таратура. Профессор не сидел на месте, он ходил по комнате, с явным нетерпением ожидая телохранителя. Сначала Таратуре показалось, что профессор взволнован, но, когда свет лампы осветил его лицо, Таратура понял, что заблуждается. Перед ним опять был традиционно спокойный Миллер.

— Как идут дела, инспектор? — спросил Миллер, хотя было ясно, что он ждал Таратуру не для того, чтобы задать ему этот вопрос.

— Есть любопытные детали.

— Например?

— Кербер и Луиза — любовники!

— Действительно, любопытно,— сказал профессор.— Вы, естественно, пошли дальше?

— Конечно. Разумеется, не вмешиваясь в их интимные отношения.

— Без отступлений, пожалуйста.

Миллер был раздражен, но скрывал свое раздражение. Это ясно. Таратура внимательно следил за лицом шефа. Оно оставалось непроницаемым и чуть-чуть безразличным ко всему на свете. Таратура заметил это безразличие при первом же знакомстве с Миллером. А потом он понял, что это маска, очень удобная и респектабельная.

— Кербер оказался человеком Дорона,— сказал Таратура.

— Откуда вы это узнали?

— От Гарда.

— А Гард?

— От Дорона. Он доложил Дорону о нашем открытии, и генерал...

— Я всегда думал, что Кербер старается не только для меня,— сказал Миллер.— Еще во время работы над той установкой. Н-да, не очень-то приятно узнавать, что твои ассистенты за твоей спиной что-то докладывают начальству.

— Насколько я знаю, вас контролировали всегда, и это ничуть вам не мешало.

— Как знать...— сказал Миллер и резко перевел разговор.— Да, кстати, что вы должны были смотреть в кино?

Таратура не почувствовал подвоха.

— «Призраки испаряются в полночь». Новый детектив Шеллана.

— Это помогает вам искать документы и Чвиза?

Миллер издевался.

Таратура спокойно ответил:

— Нет, шеф. Это помогает убить время.

— У вас его избыток?

— С тех пор, как вы загнали меня в тупик,— отомстил Таратура.

— Я?

— Да, вы. Кербер и Луиза автоматически отпали после признания Дорона, а себя вы приказали исключить из расследования.

— В таком случае я вам помогу.— Миллер протянул Таратуре телеграмму.

Таратура быстро прочитал ее, потом еще раз перечитал, и только тогда смысл телеграммы дошел до его сознания. Он ошалело посмотрел на Миллера, затем еще, почти что по складам перечел телеграмму. Там было написано:

«Я вас видел. Верните документы. Жду одиннадцать вечера у статуи Неповиновения во Фришпарке. Чвиз».

— Настоящая? — наконец сказал Таратура.

Миллер презрительно усмехнулся:

— Неужели вы думаете, что ее написал я, сидя за этим письменным столом?

— Понимаю, — сказал Таратура. — Что мне делать, шеф?

— Что хотите, — ответил Миллер. — У меня после обеда отдых.

И он направился к двери.

— Одну минуту, шеф, — остановил его Таратура, — позвольте задать несколько вопросов.

— Попробуйте.

— Почему вы не хотите сами встретиться с Чвизом?

— Если я ему нужен, пусть заходит ко мне. Он знает мой адрес. Тем более я не привык встречаться с кем бы то ни было так поздно вечером... да еще у какой-то статуи. У вас есть еще вопросы?

— Да. Как вы относитесь к тексту телеграммы?

— Запомните, Таратура, мне нужны документы или по крайней мере точные сведения о том, кто их взял и где они находятся. Остальное меня не интересует. Понятно?

На этот раз, не дожидаясь новых вопросов, Миллер решительно вышел из гостиной. Из соседней комнаты доносился смех Ирэн, которая, вероятно, смотрела по телевизору комедию.

Таратура еще раз посмотрел на телеграмму, на почтовые штемпеля, потом подошел к кабинету Миллера и осторожно постучал в дверь.

— Кто там? — услышал он голос Миллера.

— Шеф, мне можно воспользоваться вашим «мерседесом»?

— Нет. Он будет мне нужен. Возьмите машину Ирэн.

Таратура терпеть не мог «фольксвагены», но делать было нечего.



Таратура отлично знал сквер, который Чвиз назвал в телеграмме Фришпарком. Еще в бытность свою инспектором, Таратуре довелось выслеживать здесь соучастников убийцы банкира Костена, которые регулярно встречались в кабачке напротив статуи Неповиновения. Правда, он не был в этом парке года два, но изменилось немного. Только окна кабачка были заколочены досками. Очевидно, хозяин разорился — место было малолюдное — и покинул негостеприимную статую.

Таратуре это обстоятельство показалось к стати. Вместо того, чтобы мерзнуть где-то под кустом и пачкать костюм (хотя он и надел самый старый, но все-таки жалко), он получил великолепный наблюдательный пост.

Оторвать две доски и высадить стекло было делом одной минуты. Таратура очутился в комнате, совершенно пустой, как разграбленные пирамиды фараонов. Найдя в углу стул с отломанной ножкой, Таратура расположился у окна, откуда великолепно было видно статую и освещенный фонарем круг — назначенное Чвизом место встречи.

Была половина одиннадцатого.

Таратура достал из кармана плаща крошечный термос, отлил в стаканчик кофе и еще раз выглянул в окно. У статуи никого не было. Ветер раскачивал фонарь, и свет освещал то ноги женщины, то ее грудь, то прятал ее целиком в тень. Казалось, статуя исполняет какой-то медленный и странный танец.

Таратура пожалел эту несчастную обнаженную женщину, символизирующую Неповиновение. Он мысленно обругал скульптора, заставившего ее прозябать в одиночестве на самом краю города.

Кофе приятно разогревал тело, и Таратура подумал, что через пару часов он с наслаждением растянется дома на кровати и забудет все — и Миллера, и этого чудака Чвиза, и даже само Неповиновение. Сны никогда не снились ему.

И вдруг Таратура заметил, как кто-то крадется к дому, в котором он находился. Тень скользнула у окна и остановилась. Таратура замер. Он отчетливо слышал дыхание человека, притаившегося с другой стороны подоконника. Бывший инспектор осторожно поставил на пол стакан с недопитым кофе и на всякий случай потянулся к карману за кастетом.

В окне появилась голова незнакомца. Он заглянул в комнату, но не заметил Таратуру, который буквально прилип к стене в десяти сантиметрах от окна.

Послышалось учащенное дыхание: незнакомец полез в окно. Таратура мгновенно выхватил фонарь, и яркий луч света брызнул тому в лицо. Человек зажмурился и закрыл руками глаза.

— Честер? Это ты? — воскликнул Таратура, узнав журналиста.

— Фу ты, черт! — выругался Честер. — И напугал же ты меня!

— Ты чего здесь делаешь? — спросил Таратура.

— То же самое, что и ты.

— Я пью кофе.

— Превосходное местечко ты выбрал, — улыбнулся Честер.

Таратура взглянул в окно и толкнул журналиста в бок:

— Тише!

В освещенном пятне у статуи появился человек. Он постоял секунду, оглянулся и быстро скрылся за статуей, с той, неосвещенной стороны.

— Это он, — прошептал Честер.

Таратура привычно перемахнул через подоконник и смело пошел к человеку. Но тот вдруг метнулся в сторону и напрямик, через кусты, бросился из сквера.

— Профессор Чвиз! Куда же вы?! — крикнул Таратура.

Человек, не останавливаясь, довольно ловко перелез через решетчатый забор и вскочил в машину, двигатель которой работал. Когда Таратура, а следом за ним и Честер выбежали на улицу, машина с потухшими фарами уже тронулась с места.

— Профессор Чвиз! Остановитесь! — вновь крикнул Таратура.

— Дурак!.. Быстрее к моей машине. — Честер побежал к микролитражке, которая стояла у самого входа в сквер. Таратура уже на ходу вскочил к нему в машину.

Они вновь увидели «оппель» с погашенными фарами, когда въехали на шоссе, начинавшееся в конце улицы.

— Быстрее! Быстрее! — подгонял Честера Таратура. — Старик просто сошел с ума!

— Дурак! — крикнул Честер. — Это не Чвиз, это человек, укравший документы!

— Что?! — не понял Таратура.

Лицо Честера покрылось капельками пота. Он выжимал из своей микролитражки все возможное, но расстояние между машинами не сокращалось. Более того, «оппель» начал постепенно удаляться.

— Уйдет! — Честер нецензурно выругался.

— Пусти! — крикнул Таратура. — Пусти меня за руль!

Не снижая скорости, по очереди держа баранку и нажимая на акселератор, они поменялись местами, чуть-чуть не свалившись при этом в кювет. Дальним светом Таратура выхватил из тьмы силуэт «оппеля», который находился теперь от них в трехстах ярдах.

— Жми, старина! — крикнул Честер не своим голосом. — Там будет перекресток, он может задержаться у него!

«Оппель» действительно затормозил у перекрестка. В поперечном направлении плотным потоком шли машины, преградив путь беглецу.

Честер и Таратура почти нагнали «оппель», и Таратура уже приоткрыл дверь, чтобы выпрыгнуть, но включился зеленый свет, и «оппель» молнией рванул с места. Погоня продолжалась.

Вдруг сзади раздался пронзительный гудок. Черный «мерседес» — тоже с потушенными фарами — легко обошел их. Вскоре и «мерседес» и «оппель» скрылись за поворотом. Под колеса стлалась пустая лента шоссе.

— Ушел... — выдохнул Честер.

И все же они продолжали гнать машину, и дребезжа вдоль шоссе по-прежнему со свистом проносились мимо.

Внезапно, они не успели опомниться, поворот — луч фар выхватил опрокинутый в кювет «оппель». Искореженная ударом о погнувшийся бетонный столб машина смотрела расплюснутым радиатором в небо.

Таратура резко остановил микролитражку. Они выскочили из кабины и бросились к «оппелю». Водитель лежал в нескольких шагах на обочине. Он был мертв.

Таратура осветил лицо погибшего.

Перед ним был Кербер.

Честер бессильно опустил на крыло, которое валялось рядом с трупом.

— Комедия окончена, — сказал он.

Таратура не понял. Он еще раз осветил лицо Кербера и его лысый череп.

— Как же Кербер мог оказаться во Фришпарке? Где же Чвиз?

— Я дал им телеграммы, — устало сказал Честер. — Я. Понимаешь? Не Чвиз. Всем троим: и Миллеру, и Луизе, и ему. — Он кивнул в сторону Кербера. — Иди, вызывай Гарда.

## II

### Ночной визит

**Ч**ерез двадцать минут Гард уже мчался к месту происшествия на своем «гепарде-108» с желтым мигающим огоньком на крыше.

Он прибыл минут за десять до того, как появилась «Санитарная молния» и еще три машины, переполненные сотрудниками полицейского управления.

— Кербер? — бросил Гард Таратуре. — Никогда бы не подумал, что Кербер.

Пока он внимательно разглядывал лицо трупа, Честер торопливо рассказывал ему о событиях минувшей ночи.

— Ты сам придумал трюк с телеграммами? — спросил Гард.

— Нет, я посоветовался с Линдой, — съехидничал Честер.

— Ну и ну! — произнес инспектор и как-то странно посмотрел на журналиста.

К ним подошел Таратура.

— Я уже осмотрел «оппель». Никаких следов столкновения с другой машиной. Видимо, Кербер



развил слишком большую скорость и не справился с управлением. Счастливая случайность, Гард, а то бы нам его не догнать.

— Случайность? — В голосе Гарда звучало сомнение.

Он отлично знал, что в жизни бывают поразительные совпадения, но опыт сыщика давно приучил его относиться к любой случайности если не с предубеждением, то по крайней мере с осторожностью. «Случайность должна происходить только случайно», — частенько говаривал своим ученикам покойный Альфред Дан Купер. Из этого замысловатого афоризма Гард научился делать практические выводы. Разумеется, думал он, в этой ночной катастрофе случайность и могла сыграть свою роль. Кербер знал, что его преследуют, он стремился не открывать себя, и не исключено, что при таких обстоятельствах он действительно развил скорость до опасного предела. Но была ли у него необходимость riskовать жизнью? Ведь он не мог не видеть, что у преследователей всего лишь старенькая и слабенькая микролитражка, от которой даже на хорошей лошади можно удрать...

— Дэвид, ты не одобряешь мои действия? — сказал Честер, прервав ход мыслей инспектора. — Пойми, я сделал то, что должны были сделать вы...

— Потом, Фред, потом, если нам вообще придется говорить на эту тему, — ответил Гард и повернулся к медицинскому эксперту, который уже закончил свою работу. — Что скажете, доктор?

— Смерть наступила мгновенно. Перелом шейного позвонка.

— Вы исключаете убийство?

— Трудно сказать, инспектор. Прямых следов насилия нет.

— Ну что ж, — сказал Гард, — посмотрим.

Он приказал полицейским машинам осветить плотно дороги. Вспыхнули три пары автомобильных

фар. Гард присел на корточки и прямо так, на корточках, стал медленно двигаться, тщательно изучая следы на асфальте. С другой стороны ему навстречу двигался Таратура. Когда они сошлись, к ним присоединился Честер и кое-кто из полицейских.

— «Мерседес», — сказал Гард.

Таратура утвердительно кивнул головой.

Две характерные темные полосы начинались на левой стороне дороги, потом поворачивали направо и упирались в обочину.

— Они перекрыли ему дорогу, — сказал Гард. — Старый прием.

— Ты видел «мерседес», который нас обогнал? — спросил Таратуру Честер.

— Откровенно говоря, меня интересовал в основном похититель. Но что-то было, это точно. Черная тень, проскользнувшая слева.

— Подфарники, конечно, были погашены? — спросил Гард.

Честер неуверенно пожал плечами.

— Ты думаешь, Дэвид, это — убийство? — спросил он.

— Похоже, что так. Если бы он не разбил нас — смерть, его, вероятно, прикончили бы. Но расчет у них был точный.

— Это очень опасно, — заметил Таратура. — Я бы не рискнул ставить свою машину поперек дороги. Могло произойти столкновение, при котором жизнью рисковали все.

— Я думал об этом, — подтвердил Гард.

— Не проще ли им было обстрелять его на ходу? — сказал Честер.

Гард впервые улыбнулся.

— Зря они с тобой не посоветовались, старина. Но, мне кажется, они предпочли рискнуть и обойтись без выстрелов. Даже место на дороге выбрано удачно, как раз у бетонного столба. Авария и авария — не придерешься. Машину Кербера осмотрели внимательно?

— Да, инспектор, — отозвался кто-то из полицейских. — В ней ничего нет. Только в кармане обнаружили вот это.

В протянутую руку Гарда были положены два зеленых прямоугольника.

— Билеты на самолет? — сказал Гард. — Ну-ка, посветите фонариком. Да, два билета. В Канберру. Он собирался бежать. Самолет улетает сегодня утром, через два с половиной часа.

— Второй билет, вероятно, предназначался Луизе? — сказал Таратура.

— Всё! — решительно произнес Гард. — Всем по машинам. Майкл, возьмите трех человек и гоните на аэродром. Луиза Муллен, двадцать восемь лет, блондинка, среднего роста, — вам ясно? Труп заберет к себе в машину Джеймс. Доктор может быть свободным. Билл Харри сядет за руль «бьюика». Честер и Таратура со мной.

Минуты через полторы на шоссе уже было пусто, если не считать вдребезги разбитого «оппеля».

Когда, даже не скрипнув тормозами, «гепард» остановился у подъезда шестизэтажного серого дома, в котором жила Луиза, было около четырех часов утра. Подъезд был заперт, и прошло немало времени, пока консьержка отозвалась наконец на яростные звонки Таратуры. Лифт не работал, и пришлось подниматься пешком до самого верха. Опередивший всех Таратура осторожно постучал в дверь.

Луиза открыла сразу, как будто она стояла за дверью и дожидалась стука. Увидев Гарда и его спутников, она непроизвольно сделала шаг назад, и по ее лицу разлилась мертвенная бледность. Во-

шедшие обратили внимание на то, что Луиза была одета и даже причесана: в эту ночь она, вероятно, еще не ложилась спать.

— Вы нас не ждали, — сказал Гард, — но мы не всегда приходим в гости по приглашению.

Луиза молча стояла посреди неприбранной комнаты, безвольно опустив руки.

Гард все еще тяжело дышал, отдуваясь после быстрого марша по лестнице. Несколько минут никто не проронил ни слова, и наконец Гард спросил то, что уже готово было сорваться с уст Таратуры:

— Луиза Муллен, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос: вы только что приехали домой или как раз собирались уехать?

С трудом взяв себя в руки, Луиза сделала неуклюжую попытку улыбнуться.

— Простите, инспектор, но джентльмены не должны задавать...

— Я повторяю, — сухо прервал ее Гард, — вы приехали или собирались уезжать?

— Но по какому праву, — возразила Луиза, — вы врываетесь в мой дом и позволяете себе...

— Хорошо, — спокойно сказал Гард, — в таком случае вам придется поехать с нами.

Из глаз Луизы вдруг брызнули слезы, ее лицо сморщилось в жалкий комочек.

— Я буду отвечать, — тихо сказала Луиза, — но только оставьте меня здесь. Что вас интересует? Я ниоткуда не приехала и никуда не собиралась уезжать. Мне не спалось, и больше ничего, и я прошу вас...

— Луиза, — мягко перебил ее Гард, — вы можете пренебречь нашими полицейскими званиями и нашим полицейским опытом — это ваше дело. Но не забудьте хотя бы о том, что мы не дети. Я повторяю свой вопрос: что вы собирались делать этой ночью или что вы сделать уже успели?

Луиза аккуратно вытерла носик тонким и нежным платком и, кротко вздохнув, ответила:

— Это касается меня одной.

— Инспектор, — сказал Таратура, — мы зря теряем время.

— Поехали, — решил Гард. — Луиза, возьмите с собой пальто.

— Мне нужно предупредить консьержку или хозяйку дома. — И Луиза шагнула к двери.

— Не надо, — быстро сказал Таратура. — Мы сделаем это сами.

Пока все усаживались в машину, Гард задержался внизу у консьержки.

— Скажите, — спросил он, — кто-нибудь входил в этот дом сегодня после часу ночи?

— Мистер Марроу, — охотно ответила пожилая женщина. — Но не сам. Его, как обычно, принесли, я потом целый час проветривала подъезд, а один его ботинок до сих пор лежит у входа.

— Благодарю вас, — сказал Гард. — И больше никто не входил?

— Больше никто. Да я бы и не пустила, потому что и мне спать положено, и я ни за что не согласилась бы за шесть кларков в неделю...

— В этом доме только один подъезд?

— За два я получала бы не меньше десяти!

— И никаким другим путем попасть внутрь дома невозможно?

— Мистер Марроу иногда обходится без подъездов, но лишь тогда, когда ему надо выйти, а жена его не пускает, и тогда он по водосточной трубе спускается вниз, бежит в «Три пескаря», но назад он возвращается, как все нормальные люди, через подъезд. Только не сам.

— Разве жильцы не имеют ключей от подъезда?



— А зачем бы тогда я была им нужна?  
— Благодарю вас, — сказал Гард. — Спокойной ночи.

Машина тронулась, и Таратура, сидящий рядом с Гардом, шепнул инспектору:

— Мне кажется, Луиза имеет прямое отношение к убийству.

Гард промолчал, о чем-то сосредоточенно думая.

— Очень уж подозрительно себя ведет, — продолжал Таратура, — что-то явно скрывает, перепугалась, увидев нас... А самое главное, пока ты с ней разговаривал, я нашел на полу вот что. — И он сунул Гарду какое-то маленькое удостоверение.

— Что это? — спросил Гард.

— Права на вождение автомобиля! — шепнул Таратура. — На имя Луизы Муллен! Ну, что ты скажешь? Не была ли она за рулем черного «мерседеса»?

— Нет, — секунду подумав, сказал Гард.

— Почему ты так думаешь? Разве она не могла убить Кербера? Женщины на такие штуки способны, Гард!

— Нет, не могла, — твердо ответил инспектор.

— Но почему в конце концов?

— Ей нет смысла его убивать.

## 12

### Куда ведут дороги

**В**ы ждали Бэри, Луиза?

Луиза сидела в кресле, Честер — на подоконнике, Таратура стоял, прислонившись к стене, а Гард медленно ходил по своему кабинету. Это был первый вопрос, который он задал с того момента, как они приехали в управление.

Женщина вздрогнула. Ее глаза расширились от удивления, она определенно не справлялась со своим состоянием.

— Вас удивляет, откуда мы знаем это имя? — сказал Гард. — Теперь мы знаем все, Луиза. Итак, вы ждали Бэри.

В последней реплике инспектора уже не было вопроса, она звучала утвердительно.

— Вам нет смысла отпираться, — продолжал Гард. — Расскажите, что было после того, как профессор Чвиз отпустил вас домой.

— Все, что я могла вам сказать, я сказала еще там, в лаборатории, — упрямо ответила женщина.

— Меня интересует, при каких обстоятельствах Бэри похитил папку с документами.

— Я сказала все. Остальное, если вам угодно, можете спросить у самого Бэри.

— К сожалению, Луиза, это невозможно.

— Как вас понять? — спросила женщина.

— Соберитесь с силами, — ответил Гард, — сейчас вы все поймете.

Честер слез с подоконника и подошел к Гарду.

— Дэвид, — сказал он тихо, — не слишком ли это жестоко?

— У нас нет другого выхода, — так же тихо сказал Гард.

Луиза уже не сидела в кресле, она стояла, испуганно глядя на Гарда и Честера. Лево́й рукой она сжимала горло, словно удерживая рыдания, готовые вот-вот вырваться наружу. Глаза ее помутнели от тяжелого предчувствия.

— Что случилось? — еле выдавила она из себя.

— Бэри нет в живых, Луиза, — жестко сказал Гард. — Этой ночью он...

— Ложь! — крикнула Луиза. — Ложь!

— Этой ночью он погиб в автомобильной катастрофе.

— Я вам не верю!

— Вы можете увидеть его. У нас это называется «опознать». Таратура, проводите ее в соседнюю комнату.

— Не надо, — сказала Луиза. — Я сама. Куда мне идти?

Гард показал на дверь, ведущую прямо из его кабинета. Как сомнамбула, Луиза двинулась вперед, не глядя себе под ноги. Все трое с напряженным ожиданием смотрели ей вслед. Через мгновение из соседней комнаты донесся иступленный крик.

— Таратура, — сказал Гард, — помогите ей.

— Она справится и без моей помощи.

Честер вскочил с подоконника и, бросив на ходу Таратуре: «Удивительно, как в тебе рядом с сентиментальностью может ужиться жестокость», — пошел к двери. Но не успел он дойти до нее, как на пороге появилась Луиза.

Она была бледна, но выглядела совершенно спокойной. Только плотно сжатые губы и голубая жилка, бившаяся на виске, дали возможность присутствующим догадаться, каких усилий ей это стоит. В глазах Гарда мелькнуло что-то похожее на уважение.

— Как-это-случилось? — произнесла она очень медленно, с какой-то жуткой расстановкой.

— Его убили, Луиза, — тихо сказал Гард. — Мы будем искать убийцу.

— Я знала, что так случится, — прошептала Луиза, опустив низко голову и ни к кому не обращаясь. — Я говорила ему... — Потом снова выпрямилась и в упор посмотрела на Гарда. — Что вы теперь от меня хотите?

— Ничего, — сказал он мягко. — Прошу вас, присядьте. Таратура, дайте воды... Я понимаю, Луиза, что вам сейчас нелегко. Терять близких всегда трудно, и горе горем остается, с кем бы оно ни случилось. Вы любили его?

— Да.

— Иначе вы не позволили бы ему на ваших глазах взять документы... По всей вероятности, после того, как Чвиз отпустил вас, вы вернулись в лабораторию за какой-то забытой вещью, за пудреницей, например, или...

— За сумочкой, — тихо сказала Луиза.

— И увидели на столе записку профессора, — продолжал Гард. — Я бы на вашем месте тоже решил, что Чвиз покончил с собой, и, наверное, тоже бы испугался. А в это время зашел Кербер, ведь вы собирались куда-то с ним ехать, у вас были планы на вечер...

— Нет, я позвонила ему.

— И он пришел. Тотчас. Буквально через три-четыре минуты. Он прочитал записку и, как и вы, поверил в то, что Чвиз распрощался с жизнью. Тогда он подошел к сейфу и открыл его. Сделать это было несложно, так как ключ торчал в замке...

— Он лежал на записке, — сказала тихо Луиза.

— Хорошо, на записке, — мягко согласился Гард. — А когда папка с документами уже была у Кербера, вы неожиданно увидели Чвиза...

— Нет, — сказала Луиза. — Мы его не видели.

— Да, вы не знали, что он сидит в это время у Миллера, живой и здоровый, и ведет с ним беседу. Не знали? И что он вернется потом в лабораторию, чтобы передвинуть стрелки контрольных часов? То же не знали. И вдруг увидели, как дверь открыва-  
ется...

— Нет, — повторила Луиза. — Мы услышали скрип в соседней комнате. Просто скрип.

— Вы замерли, прислушиваясь, но все было спокойно? И только в понедельник утром, когда мы приехали в лабораторию, Кербер понял, что означал этот скрип?

— Да, — сказала Луиза. — Он понял, что Чвиз вернулся, чтобы передвинуть стрелки.



— И что он мог вас видеть?

— И что он мог нас видеть, — подтвердила Луиза.

— А в тот вечер, успокоившись, Кербер запер сейф, а потом взял что-то тяжелое и ударил по колпаку установки. Так?

— Я спросила его: «Отто, зачем ты это делаешь?» Он сказал: «Так надо, дорогая, я потом тебе все объясню».

— Ремонт занял бы не менее полугода, и этого времени достаточно, чтобы осуществить свои планы, — сказал Гард. — Он велел вам молчать о записке до понедельника?

— Он не велел, — сказала Луиза. — Он прижал папку к своей груди и сказал мне: «Лиза! — Он звал меня Лизой. — Лиза, в этой папке наше с тобой будущее!» И больше ничего не сказал, я поняла все сама.

— Ну, а что было после понедельника, я уже знаю. Вы еще виделись с Кербером после того вечера?

— Да. Один раз. После того, как Чвиз прислал нам телеграмму. Мне и ему.

— Вы уверены, что это сделал профессор Чвиз?

— А как же, — сказала Луиза. — Еще раньше, как только Отто понял, что Чвиз жив и что он мог нас видеть, мы не исключали такой возможности.

— Но на всякий случай Кербер «вспомнил» о том, что институт был обесточен, и направил следствие по ложному пути, взвалив подозрение на Миллера. Это понятно, — сказал Гард. — Он хотел выиграть время. А что он делал, получив телеграмму?

— Он вызвал меня на свидание, хотя мы договорились до отъезда не видеться. Мы встретились... Луиза умолкла. Наступила долгая пауза.

...Если бы Луизу спросили, почему она любит Отто Кербера, она вряд ли смогла бы ответить. Но она его любила! Она знала, что у него нет друзей, что сослуживцы сторонятся Отто, а некоторые открыто его ненавидят. Но если они не умели понять, за что она любила этого человека, она искренне не понимала, за что они его ненавидели. Разве он эгоист? Разве Отто — холодный и расчетливый человек, как говорили о нем некоторые? Разве он дума-

ет только о себе? Кто, как не Луиза, мог лучше других судить обо всем этом? Вот уже два года, как они виделись почти ежедневно, и Луиза была уверена: ни до Кербера, ни после него у нее никогда не было и не будет такого внимательного, доброго и заботливого друга.

Чвиз и Миллер — Луиза это знала — считали Кербера никудышным физиком. А ведь он талантлив. Она понимала это лучше других. Он мог быть ничуть не хуже самого Чвиза. Но разве он виноват в том, что всю жизнь его преследовали сплошные несчастья и угнетающие неудачи, которые могли бы свалить с ног любого?

В детстве у него обнаружили незаурядные математические способности, ему прочили большое будущее, но, когда он, блестяще окончив колледж, собрался было поступать на математический факультет, его призвали в армию и отправили в тропики. Три года он воевал с туземцами. Луизе страшно было подумать о том времени, когда ее Отто могли убить! Но нет, он был всего лишь ранен, но на самом исходе войны. И еще два года он провалялся в госпиталях, хотя все его товарищи благополучно устраивали свою жизнь. Его еле вывели, потому что тогда с ним рядом не было Луизы...

Неважный физик? Но разве его вина в том, что самые лучшие годы ушли так бездарно? А потом, потом он почувствовал, что стал не тем, чем был раньше. Он прямо сказал об этом Луизе: «Луиза, я потерял свой мозг. Пропала ясность мысли, сообразительность, способность взглянуть на задачу с неожиданной стороны. Осталась разве что только память...»

Она знала, что Отто стал «человеком Дорона». Он признался ей даже в этом. Но Луиза готова была понять Кербера. У него не было иного выхода. Иначе ему никак не удавалось возвыситься над другими людьми, между тем он стремился получить от жизни то, что соответствовало его истинным способностям.

В тот последний раз, когда они встретились, Отто не был мрачным или грустным. Наоборот, он выглядел как человек, воспрянувший от неприятностей. Телеграмма Чвиза? Ну и что: телеграмма?! Она лишь поможет ему ускорить события. Так он собирался некоторое время подождать, пока все утихнет, пока улягутся страсти, а потом спокойно уехать вместе с Луизой в такую даль, где никакой Дорон их не достанет. А тут придется действовать решительней. Он не трус, он пойдет на свидание к Чвизу, и, если старик заупрямится... Нет-нет, Луизе не надо волноваться, пусть ее не беспокоит, что он предпримет тогда.

Но если его план почему-либо сорвется, она должна быть готова. Он заедет за ней ночью, они очень скоро будут в безопасном месте...

— Отто, но что мы будем делать с этими чертежами? — спросила Луиза. — Брось их, мы обойдемся и так.

— Установка Чвиза, дорогая моя, — серьезно ответил Кербер, — важнее сейчас, чем атомная бомба.

В его голосе ей почудились незнакомые нотки.

— Но к чему тебе атомная бомба, милый? — спросила Луиза, как мудрые родители могут спросить своих капризных детишек, требующих слишком дорогую игрушку.

Они сидели в его «оппеле», был вечер, машина стояла на обочине загородного шоссе. Кербер внимательно посмотрел на Луизу и совершенно серьезно сказал:

— Атомная бомба мне действительно не нужна. Я говорил тебе однажды: после того, как Миллер

создал свою установку, тормозящую взрыв атомной бомбы, это оружие стало не более опасным, чем лук и стрелы. Теперь все снова будет зависеть от людей — ты понимаешь? — от людей! Я смогу производить солдат. Сколько угодно солдат. Сильных, не знающих колебаний, готовых на все... Сверхлюдей.

— Что нам с тобой до этого! — воскликнула тогда Луиза. — Пусть заботится об этом Дорон.

— Дорон? — сказал Кербер. — Этот слюнтяй? Человек, который способен только комбинировать, согласовывать и считаться с общественным мнением? Нет, действовать нужно решительно и твердо!

— Ты шутишь, милый?

Кербер тогда странно посмотрел на Луизу и отвел глаза в сторону.

— Да, я, разумеется, шучу.

И они вернулись в город...

— Он был моим последним и единственным шансом в жизни, — тихо сказала Луиза Гарду.

В кабинете наступила тишина. Никто не двинулся с места. Гард закурил:

— Луиза, где папка с документами?

— Он всегда держал ее при себе. Скажите, — спросила вдруг Луиза, — его убил Чвиз? Во время свидания? Я хочу это знать.

— Нет, — ответил за Гарда Таратура. — Чвиз не был на свидании.

— Но вы нашли Чвиза?

— Вам надо отдохнуть, Луиза, — сказал Гард. — Вас проводят сейчас...

Ни с кем не прощаясь, Луиза медленно вышла из комнаты. Как только за нею и Таратурой закрылась дверь, Фред Честер наклонился к Гарду:

— Невероятная история! Ты понял, Дэвид, что никто из них, за исключением, пожалуй, Чвиза, не действовал предумышленно? Ведь ничего бы не случилось, если бы старик не вздумал «исчезнуть». Но стоило ему сделать свой первый шаг к исчезновению, как все вокруг оказались удивительно подготовленными к этому шагу! У меня такое впечатление, что они даже не выбирают дорог, по которым идут. Стоят на перекрестке и ожидают, какая дорога освободится, и стоит ей стать свободной, как они бросаются вперед, забыв обо всем на свете, кроме самих себя!

Не «исчезни» старик — произошло бы что-нибудь другое, но обязательно произошло бы! Страшный мир, в котором люди живут, держа руки на спусковых крючках пистолетов... Но, Дэвид, как в старой сказке: направо пойдешь — голову потеряешь, налево пойдешь — жизнь отдашь...

— Ты процитировал, старина, кусок из своей новой газетной статьи, — перебил Гард. — Только не вздумай ее публиковать. Тогда в конце твоей дороги тоже не будет рая.

В комнату вошел Таратура.

— Однако, — сказал Гард, — кто же все-таки убил Кербера?

— И у кого теперь папка с документами? — вставил Таратура.

— Надо искать среди тех, кто знал о мнимом свидании с Чвизом, — сказал Честер.

— Логично, старина, — подтвердил Гард. — Я вообще думаю, не пора ли тебе бросить журналистское перо и целиком перейти на службу в наше управление.

— Скорее ты станешь журналистом, — заявил Честер.

— Итак, о телеграмме знаешь ты, — Гард показал пальцем на Честера, — ты, — он ткнул рукой в Тара-

туру,— Луиза, затем я,— он приставил указательный палец к собственной груди, словно ствол пистолета,— и еще...

— Профессор Миллер! — чуть слышно сказал Таратура.

## 13

### Миллер, опять этот Миллер!

**Д**орон умел молчать так, что людей, от него зависимых, прошибал пот. Редко кто мог спокойно выдержать его давящий, холодный взгляд.

Генерал слушал инспектора полиции молча.

Гард формально не подчинялся Дорону, и был он достаточно опытен, чтобы подавить волнение. Все же у него мелькнула тоскливая мыслишка, что именно так, в такие часы, люди и укорачивают себе жизнь. «А ведь я уже стар...» — вдруг ужаснулся он.

Впрочем, это никак не отразилось на речи инспектора.

— Таким образом, генерал, серьезное подозрение падает на Миллера. Катастрофа на шоссе вызвана «мерседесом», и, хотя машин такой марки в городе много, машина Миллера входит в их число. Кроме того, он был единственным, кто еще знал о встрече с мнимым Чвизом. И если верно, что у него были веские мотивы завладеть документами, тогда его странные, противоречивые поступки получают четкое объяснение, как и убийство Кербера, которое дало ему в руки ускользнувшие материалы. Сколь ни огорчителен этот вариант и как бы неожиданным он ни казался, иного пока не видно, и я счел своим долгом доложить вам о нем.

Напрасно Гард ждал ответа. Молчание сгущалось, и Гард почти физически ощущал удушье. Он даже пошевелил шеей, чтобы избавиться от этого чувства.

— Так какие будут указания? — Гард наконец не выдержал гнетущего взгляда Дорона. — Слежку «вплотную» мы установили за Миллером еще вчера ночью, поэтому маловероятно, чтобы документы...

Инспектор осекся, заметив улыбку на лице Дорона. И вправду, это было жутковато. Вероятно, так могла улыбаться гранитная скала.

— Так вы говорите, что за Миллером установлена слежка? Забавно...

Еще продолжая улыбаться, Дорон надавил кнопку.

— Профессора Миллера ко мне! — бросил он в микрофон селектора.

У Гарда от этих слов сделалось на душе довольно кисло. Он поспешно перебирал в памяти: где и какую ошибку он допустил? Дорон с высоты своего роста и кресла, на котором он восседал, бесстрастно следил за инспектором.

Недоумение Гарда возросло, когда буквально через несколько секунд бесшумно отворилась дверь и в кабинет вошел подтянутый, свежесвыбритый Миллер. Профессор сухохато поздоровался с инспектором, поклонился Дорону и сел, повинувшись кивку генерала.

Дорон встал, неторопливо отпер стеной сейф, вынул оттуда пухлый портфель, любовно взвесил его и протянул Миллеру.

— Берите, профессор. Это документы.

Миллер вскопчил на ноги, пораженный.

— Значит... — начал было он, но генерал прервал его на полуслове:

— Надеюсь, профессор, работа двинется быстро?

Миллер уткнулся в папки и ничего не ответил.

— Кстат, профессор, инспектор жаждет услышать, с какой целью вам вчера вечером потребовался ваш черный «мерседес».

— Но мы же вчера вместе с вами, генерал, были на приеме у президента...

— Я не смею вас более задерживать, профессор, — сказал Дорон, но, когда Миллер уже направился к двери, остановил его еще одним вопросом: — Между прочим, вы не заметили за собой какой-нибудь слезки?

Миллер пожал плечами:

— Сегодня утром, генерал, моя жена обратила внимание на какого-то субъекта, который с газетой в руках торчал у нашего подъезда. Я подумал еще, что читать под дождем даже «Вечерний звон» не очень-то приятно.

— Узнаю ваше ведомство, Гард, — ехидно сказал Дорон и жестом отпустил Миллера. Когда за ним закрылась дверь, он многозначительно добавил: — Мои люди работают чище. Они следят изнутри, а не снаружи, и я хотел бы, чтобы вы об этом не забывали.

Гард на мгновение прикрыл глаза. У него возникло искушение совершенно не по назначению использовать тяжелую пепельницу из оптического стекла, стоящую на столе Дорона.

— Надеюсь, Гард, — сказал Дорон, — мне не придется тратить время на разъяснения?

В другом состоянии Гард после такого провала немедленно поспешил бы сказать «нет». Но сейчас он был отнюдь не уверен, что сможет встать и, не пошатываясь, выйти.

— Прикажете ли продолжать розыск Чвиза? — тусклым голосом спросил он.

Дорон сделал брезгливое движение рукой.

— Мы никого не принуждаем работать насильно. Тем более таких... блаженных. Но между тем розыском профессора Чвиза («Или его труп», — подумал про себя Гард) займусь я, вам это дело не по зубам. Полагаю, расследование автомобильной аварии, приведшей к смерти Кербера, уже закончено?

— Еще нет, — сказал Гард и, подумав, добавил: — Но уже ясно, что авария произошла из-за отказа тормозов. Или чего-то в этом роде, не помню подробностей.

— Тормоза, руль или баллоны — это неважно, — тихо сказал Дорон.

Он опустился в кресло, как-то весь обмякнув, отяжелев. Крахмальная рубашка пузырями вздулась на его груди. Теперь он выглядел утомленным, под глазами набрякли мешки, и Гард с удивлением подумал, что ведь и Дорон — человек, что и ему эта история стоила нервов. Каких еще, наверное...

— Да, — продолжал Дорон задумчиво, как бы отвлекая своим мыслям. — Если взвесить, то эта глупая авария даже к лучшему. Кербер... — Глаза Дорона на мгновение затуманили какие-то воспоминания. — Кербер... Прямолинейный дурак, вырвавшийся из-под контроля. На таких примерах я все более убеждаюсь, сколь нужна людям мораль. Не эта дряблая, ветхозаветная, а наша, новая, разумная. Сегодня ночью я думал, что бы было бы, если бы установка попала в руки керберов. Людей без принципов и здравого смысла. Они способны разрушать, только разрушать...

Гард успел полностью прийти в себя, и в нем теперь боролись два желания. Уйти побыстрее — первое, и узнать, какова же мораль и каковы принци-





пы самого генерала, — второе. Но внезапно он поймал себя на контрвопросе: «А каковы же мои собственные принципы?» И у него осталось только одно желание — уйти.

— Разрешите идти? — сказал Гард.

Дорон с недоумением посмотрел на инспектора, словно не понимая, кто же это осмелился перебить ход его мыслей.

— Да, — резко сказал он.

Дорон снова был самим собой. Жестким, непроницаемым — каменной глыбой мускулов и бесстрастных нервов.

— И вот что, — услышал инспектор, уже стоя в дверях. — Слишком много людей оказались посвященными в секрет существования установки. Если вы в ком-нибудь сомневаетесь, скажите это сейчас.

Гард с трудом заставил себя обернуться.

— Нет, генерал, я ни в ком не сомневаюсь.

— Посмотрим, — многозначительно сказал Дорон. «Надо немедленно предупредить Честера», — решил Гард. После такого заявления Дорона любое слово, ненароком оброненное журналистом, могло дорого обойтись им обоим.

Он не рискнул позвонить Фреду домой: линию уже могли прослушивать. Оставалось побывать в тех кафе, где в это время дня мог оказаться Честер.

Улицы были полны машин, все кипело и торопилось, словно люди только и заботились о том, чтобы поспеть куда-то вовремя, обогнать кого-то на доли секунды или на доли дюйма. Распахнутые двери универсальных магазинов жадно заглатывали прохожих; близился День Свободы, и каждый спешил купить подарки своим близким, своим любимым, кого считал единственными и неповторимыми, но с кого, как с книжных матриц, можно было печатать, оказывается, бесчисленные копии.

Радиаторы автомобилей сверкали на солнце лучезарными металлическими улыбками, пучки света, отброшенные ветровыми стеклами, перемигивались с окнами, хлопали полотнища уже вывешенных фла-

гов. Машины катились ряд к ряду — поток слева, поток справа, и пешеходы на тротуарах тоже двигались строем: поток у стен — направо, поток у бровок — налево, и все замирало, повинувшись жезлу регулировщика, словно вдруг стопорился механизм огромной машины, чтобы минуту спустя снова прийти в движение, в перемалывающий бег, нескончаемый и шумный. И тщетно песчинка — автомобиль Гарда — пыталась вырваться, уйти вперед; ее затирали, на нее шипели тормозами, и никому не было дела, куда спешит этот человек за рулем, почему он хватается за сердце, отчего он бормочет проклятия.

Но Гарду повезло. В третьем по счету кафе еще с улицы он увидел за зеркальным окном голову репортера.

В кафе оказалось пусто и прохладно, в углу за столиком — наметанный взгляд Гарда определил это сразу — не было хмурого соглядата с развернутой газетой. Фред допивал молоко.

— А! — обрадовался он, завидя Гарда. — Я начинаю верить, что в один прекрасный день ко мне постучится английская королева. Что-нибудь сенсационное?

— Забудь, старина, что у тебя есть голосовые связки, и перейди на чревовещание, — сказал Гард и, как ни в чем не бывало, кивнул бармену. — Четыре двойных виски.

— Ого! Такого за тобой давно не замечалось, Дэвид.

— Мне с некоторых пор кажется, что только пьяный может быть счастливым в этом мире.

Честер даже поперхнулся молоком. Машинально он потянулся за сигаретой.

— Что стряслось?

— Ничего особенного, если все эти дни ты держал язык приклеенным.

— Ну, знаешь! — Честер искренне обиделся. — Я хоть раз...

— А теперь и полразы нельзя. — Гард наклонился к Честеру. — Кербера убрали люди Дорона.

Легко скользя по паркету, подскочил бармен — с двумя стаканами виски. Лицо Честера медленно бледнело.

— Ну? — сказал он, когда бармен исчез. Он пытался закурить, но кончик сигареты никак не желал попасть в язычок пламени зажигалки.

Пока Гард пересказывал содержание разговора с Дороном, Честер — и это обеспокоило инспектора — все более успокаивался. Скоро он стал совершенно спокойным, слишком спокойным, будто зритель на чужих похоронах.

— Ты все понял? — счел нужным переспросить Гард.

— Нет. — Честер упер локти в стол, и это движение открыло Гарду, что именно придавало Фреду торжественно-спокойный вид: полная неподвижность лица. — Нет, я многого не понял, — продолжал Честер, в упор глядя на инспектора. — Как Дорон догадался, что Кербер его предал, и откуда он узнал о моих телеграммах?

— Зачем это тебе знать?

— Затем, что, когда тебе или всем нам грозит удар, не мешает получше узнать его повадки.

— Осторожней, Фред. — Гард украдкой массировал плечо. С той самой минуты в кабинете Дорона, не переставая, ныло сердце. — Как Дорон узнал о Кербере и телеграммах? Это же ясно. Или мой доклад о связи Кербера с Луизой заронил в Дороне подозрение, или он сомневался в нем уже и раньше. Так или иначе, к Керберу был на всякий случай прицеплен «хвост». Не исключено также, что у него на квартире поставили парочку электронных «ушей» и «глаз». — Наконец, доложить Дорону о телеграммах мог Таратура, — не исключено, что он перекуплен Дороном, ведь ты не хуже меня знаешь, что в этом мире все продается и покупается... Вот так и появился на вашем свидании черный «мерседес» из ведомства Дорона. А генерал ничем не рисковал, он отлично понимал, что если документы украл Кербер, то он не смеется сию же минуту. Кербер же был уверен, что улики против него нет. Бежать немедленно — значит выдать себя, а это верная смерть. Дорон достанет его на другом конце земли. Проще выждать, пока все утрясется, уехать в отпуск за границу, тайно встретиться с кем нужно. А потом... Потом ему уже ничего не было бы страшно, так как он оказался бы под защитой какого-нибудь другого Дорона. Расчет точный. Но тут, как выстрел, твоя телеграмма, которая спутала Керберу планы и помешала спокойно добраться до безопасного места. Затем «встреча», странный побег... Дорону надо было быть круглым идиотом, чтобы не догадаться об истинных намерениях Кербера. И все. Пустынное шоссе, дорога внезапно загорожена, удар о столб, дверцы настезь, папка с документами выхвачена из рук мертвеца. Чистая работа.

Гард выпил виски.

— И все-таки он помиловал Чвиза... — прошептал Честер.

— Пустое, Фред. Дорону жалость неведома, но он рационалист. Чем ему опасен перепуганный, выжатый, как лимон, старик, забывшийся куда-то в щель, добряк, бежавший от самого себя? Дорон и тебя не тронет, если не будешь глупить, как он не тронул Луизу, распорядившись отпустить ее на все четыре стороны, если она, разумеется, будет молчать. Он либо презирает, либо уничтожает, но, поверь мне, до старика Чвиза он еще доберется! Я это понял. Мне кажется, сейчас появилась новая порода людей, с умом строгим, как формула, и с душой робота. Дороны. А может, они всегда были... —

Гард махнул рукой. — Только сейчас они нашли в жизни что-то такое, чего им не хватало для все-силы.

Кто-то опустил в музыкальный автомат монету, и ящик весело грохнул.

Моя мать дорогая,

Тебя я узнаю сквозь тысячу лет.

Тебя не заменит никто, никогда и нигде...

— Уже заменили! — Гард выругался и опустошил стакан виски. — И как у доронов мозги работают! С установкой можно было бы делать редкие лекарства, много лекарств или еще что-нибудь очень хорошее. Чвиз, вероятно, делал бы коровок, каждому по коровушке. Рай можно было бы сделать на земле! А они... Как их только матери рожают? Впрочем, они теперь будут пользоваться машиной. Машина наконец нашла себе машину!

— Это будет во многом зависеть, — тихо сказал Честер, — от того, какой Миллер остался.

— Ерунда. — Гард с сожалением смотрел на дно стакана. — Я стал умнее за эти два дня, а ты, кажется, полупел, если противоречишь сам себе. Что говорил ты мне совсем недавно? Или забыл?

— Ах, Дэвид, тогда были только предположения, а теперь известно, что реальная установка в руках у Миллера. И если в живых остался не Миллер, а его двойник...

— Надо бежать в Анды? К дикарям? — Гард пьяно засмеялся. Его уже разбирал хмель. — Ты еще мучаешься вопросом, какой Миллер остался? Плюнь! Не лезь в психологию одного человека. Что он может сделать? Помнишь, в той истории...

— А может быть, двойник?

— Ах, все равно, Миллер или двойник!.. Не путай меня, Фред... Не надо преувеличивать роль одного человека, даже такого, как Миллер... Когда теория...

— Нейтронного торможения, — подсказал Честер.

— Ну да, торможения, — машинально повторил Гард, — была только в его голове, Миллер еще мог раздумывать: спасать ему человечество или нет? Смешно? А ему было страшно, Фред. Очень страшно. С одной стороны, человечество, а с другой — Дорон... Я не хотел бы быть в его шкуре, Честер. Потом он понял, что роль всемирного спасателя ему не суждено сыграть, человечество обошлось своими силами... Не качай головой, Фред.

— Я это понял, старина... Но сейчас другое дело. И многое зависит от Миллера, настоящего или двойника.

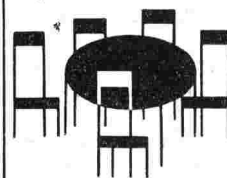
— Ты сам меня научил: попробуй, проследив поведение Миллера в этой истории, сказать, какой он: хороший или плохой? Ну?

— Вот этого я и не пойму... — признался Честер.

— И не надо! Забудь. Ты, вероятно, думаешь, что убить в себе ангела или дьявола навсегда так просто? Ха-ха... Да какая разница, хороший ли Миллер остался, плохой ли? Обстоятельства есть обстоятельства, и никуда от них не денешься, и будет он, миленький, поступать то так, то сая, как все мы, грешные, поступаем. Потому что остался живой Миллер! Живой! Понимаешь?

— Невероятно, — покачал головой Честер. — Я понял сейчас другое, Гард. Я понял, что, если живым остался хороший Миллер, ему придется иметь дело с Дороном, и кто из них победит — еще вопрос. Но если остался в живых двойник, ему придется иметь дело со мной! И с такими, как я, Дэвид. Ты уже спишь? Зря спишь, старина. Ни в какие Анды я не поеду...

# ТРЕТИЙ СЕМЕСТР



КРУГЛЫЙ  
СТОЛ  
„ЮНОСТИ“

**Ч**то такое СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ?

Это школа самостоятельности, где ребята вырастают из коротких штанишек и получают навыки прорабов, экономистов и руководителей производства.

Это сухой закон и запрет на бороды.

Это источник средств студента, достаточный, чтобы он смог купить билеты на сто концертов Рихтера и еще на сто — во все театры города. И надеть при этом новый костюм — на него тоже хватит.

Это студенческое самоуправление, когда начальство отчитывается перед подчиненными, когда все равны перед законом, когда приказ есть приказ, а железная дисциплина порождена доброй волей каждого.

Это сотни новых домов, школ, клубов, больниц, километры новых дорог, десятки мостов, это мачты электролиний там, где их прежде не было.

Это романтика в подлинном, изначальном своем смысле, без сюсюканья и лакировки: здесь есть и стихи, и песни, и прочая лирика, но всем дирижирует труд: здесь бывают даже свадьбы, но пьют на них только ключевую и фруктовую воду...

Наконец, это — интереснейшее патриотическое движение, одно из самых интересных и самых значительных в комсомоле за последние годы. Это экзамен на профессиональное мастерство, но еще более на гражданскую зрелость. И, судя по тому, как мощно нарастает популярность студенческих строительных отрядов, судя по тому, как много ими сделано в канун 50-летия Советской власти и как много еще они успеют сделать к этому великому юбилею, можно определенно сказать, что экзамен выдержан.

Ну, а подробнее о студенческих строительных отрядах 1966 года вам расскажут участники круглого стола «Юности»:

Анатолий Слива, дипломник юридического факультета МГУ, командир отряда Московского университета;

Евгений Ежиков-Бабаханов, член бюро Центрального штаба студенческих строительных отрядов;

Александр Сердюк, инструктор политотдела Центрального штаба;

Григорий Монахов, командир всесоюзного отряда «Энергия»;

Александр Зайченко, главный врач тюменского отряда студентов;

Григорий Бочаров, командир отряда, работавшего на строительстве Красноярской ГЭС;

Игорь Дуэль, член редколлегии газеты «Ленинская смена» на студенческой стройке.

Тенгиз Кекелидзе, командир ташкентского отряда «Дружба-5».

Владимир Цыплаков, командир ленинградских студенческих отрядов транспортного строительства;

Хазбулат Зангиев, первостроитель Комсомольска-на-Амуре.

Беседу организовал инструктор ЦК ВЛКСМ Тамерлан ЕСЕНОВ. Вопросы задают сотрудники журнала «Юность».

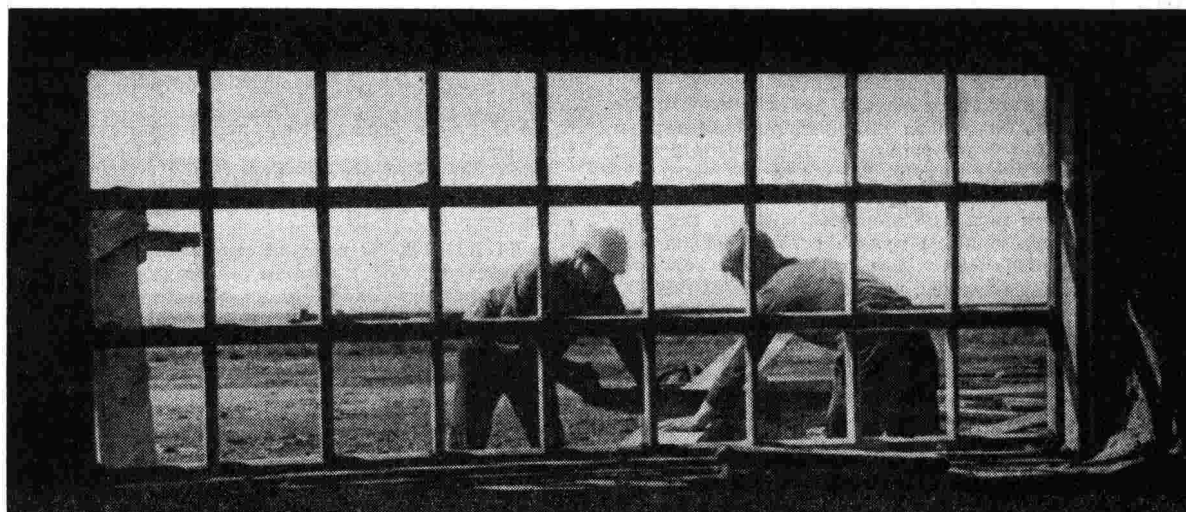
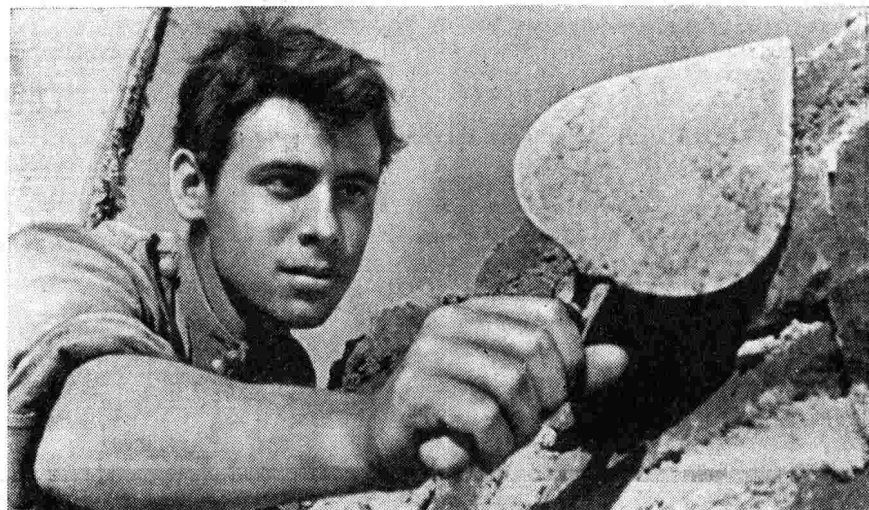
Т. ЕСЕНОВ. За работой студенческих строительных отрядов с любопытством следят люди самых разных профессий. Экономистов удивляет объем работ, который удается выполнить за недолгие летние каникулы. Педагогов — необычность методов воспитания. Хозяйственников — высокое качество строительства, простота и рационализм в решении сложных производственных задач. Я хочу вам предложить высказаться на главную тему: в чем причина успеха?

И. ДУЭЛЬ. Летом прошлого года Центральный штаб студенческих строительных отрядов, работавших в Казахстане, распространил среди студентов анкету «Целина в твоей биографии». Был там и такой вопрос: необходимо ли обязательное участие преподавателей в руководстве отрядами? Девять десятых ответили отрицательно. Что это — легкомыслие, фрондерство, переоценка собственных сил? Тридцать две тысячи парней и девушек, среди которых была проведена анкета, за два летних месяца выполнили 12 процентов годовой программы сельского строительства огромной республики. Это лучший аргумент в пользу того, что студенты не фрондеры, а вполне деловые люди. И что нелепо их обвинять в «детских болезнях».

— Почему же они с таким единодушием возражают против опеки со стороны своих педагогов и наставников?

И. ДУЭЛЬ. Загляните в ту же анкету. На вопрос о цели поездки на целину большинство ответило: проверить себя. Другими словами, работа в отряде для них — это экзамен на зрелость. Экзамен вне всякой программы. Они сами себе его устроили и хотят сдать его честно, без шпаргалок и без подсказчиков.

А. СЛИВА. Наши отряды часто называют школой самостоятельных решений и самостоятельных действий. Это — точное определение. Я четыре раза выез-







Перед вами страницы фотолетописи третьего семестра 1966 года. Мастерок в руках студента — эта картина символична и для степей Казахстана и для таежной Сибири. Шестьдесят тысяч студентов стали летом прошлого года каменщиками, плотниками, монтажниками, сварщиками. Как они чувствовали себя в этом новом качестве? Портрет Виты Грумшлите, студентки из Литвы (левый нижний снимок), достаточно красноречиво говорит о ее самочувствии. Фото, помещенное рядом, обошло всю целину. Студенты упражнялись в находчивости, подыскивая ему название. Победило такое: «Три Катюши». Ну, а последний снимок, где над вечерней степью опускается огромное среднеазиатское солнце, в особых пояснениях не нуждается. Работа работой, но и любовь требует своей дани...

Фото В. Тихомирова.



жал на целину и могу только добавить, что год от года эта школа работает на более высоком уровне.

**А. ЗАЙЧЕНКО.** И соответственно растет конкурс в отряды.

— Конкурс? Разве в отряд попадет не каждый желающий?

**А. ЗАЙЧЕНКО.** Далеко не каждый. В прошлом году у нас на Украине конкурс достиг в иных вузах 15 человек на место. Для нас, отрядных врачей, такой наплыв был настоящим бедствием. Штабы не знали, кого выбрать, и просили медицинскую комиссию быть предельно строгой. Мы, скажем, пытались не брать в отряд ребят, которые несут очки. «Очкарики», естественно, обиделись и ходили на нас жаловаться... Люди хотят увидеть свою страну, узнать, что такое целина. Наконец, они хотят заработать. Но самый главный фактор — это проба на самоутверждение. Я вот из интеллигентной семьи, никогда прежде не знал, что значит строить своими руками, а тут приезжаю в совхоз, беру глину, мешу, ношу носилки с песком, и после меня остается дом! Увозишь с собой неповторимое ощущение, которое приблизительно можно выразить так: и я, мол, не лыком шит...

**Е. ЕЖИКОВ-БАБАХАНОВ.** А между тем на сельскохозяйственные работы — я имею в виду не студенческие строительные отряды, а поездки от институтов в села на уборочную — многие студенты едут крайне неохотно. Здоровые парни ходят по врачам и жалуются на несуществующие недуги, лишь бы получить освобождение. А в стройотряды от этих же ребят отбоя нет.

**А. ЗАЙЧЕНКО.** Ну да, все дело в том, о чем мы уже говорили. В стройотрядах студенты решают большие задачи. Самостоятельность и доверие помогают человеку проявить все лучшее, на что он способен. Стремление отрядов к автономии, к деловой независимости часто наталкивалось на недоверие иных руководителей производства. Но студенты работой доказывали, что оснований для недоверия нет. Например, отряд Московского авиационного института самостоятельно вел строительство овощехранилищ на 22 тысячи тонн для Калининского района столицы. На стройке все — от разнорабочего до главного инженера — были членами отряда, то есть студентами. Объект сдан раньше срока. Я уверен, что преподаватели иными глазами смотрели бы на своих студентов, поработав с ними месяц-другой в отряде. Хорошо, когда они приезжают к студентам не как инспектора, а как товарищи, чтобы приглядеться, послушать, поработать вместе. Только так можно наладить полноценный контакт, столь необходимый и в учебном процессе.

**Е. ЕЖИКОВ-БАБАХАНОВ.** Авторитет студенческих строительных отрядов настолько вырос, что сейчас им уже не приходится просить фронта работ. Министерства и ведомства страны сами входят в ЦК ВЛКСМ с ходатайствами прислать отряды на те или иные важные объекты. Отряды прошли весь цикл роста: был период недоверия, становления, удивления и, наконец, полного признания.

— Все-таки с чего началось движение?

**И. ДУЭЛЬ.** Ну, это можно восстановить по рассказам тех, кто старше нас. Был 56-й год. Физики МГУ приехали в Казахстан на уборку урожая. На недостроенных стенах совхозной конторы шуршали на ветру плакаты: «С целины для страны — булки, бублики, блины!» Это звучало бодро. Но булки и бублики не вырастали сами по себе. Не хватало техники, не хватало горючего. Мучило бездорожье, непогода. А главное, люди жили в землянках и палатках. Студенты работали не за страх, а за совесть, — не счита-

лись ни со временем, ни с дождем, и все-таки, когда они вернулись в Москву, никто из них не мог сказать, что получил от работы подлинное моральное удовлетворение...

**А. СЛИВА.** Студенты понимали, что были на целине попросту грубой рабочей силой. Ими затыкали дыры в хозяйствах, и не очень успешно. Главные же фигуры на уборке — трактористы и комбайнеры. Но их-то как раз и не хватало, потому что люди не хотели жить в землянках и палатках. А строить дома было некому. В суровую зиму много не построишь, лето же — строительный сезон — совпадает с хлебной страдой, когда на счету каждая пара рабочих рук. И тогда студенты решили, что они смогут по-настоящему помочь целине, если станут строителями. Приятно прийти на пустое место, а оставить после себя дом или даже целый поселок. Было здесь и такое соображение: взявшись самостоятельно за строительство, студенты освобождались от всякой зависимости и могли организовать свою жизнь по законам, которые им по вкусу. На комсомольском собрании физического факультета бросили идею: создать свой строительный отряд. И сразу же появились недоброжелатели. Многие преподаватели считали, что дело физиков — изучать атом и квантовую механику, а о трактористах пусть позаботятся соответствующие ведомства. Другие утверждали, что никакие благородные порывы не заменят строительного опыта и польза от студентов будет невелика. Так или иначе, но в 1959 году первый строительный отряд — 339 студентов — выехал в Северный Казахстан.

**А. СЕРДЮК.** Тот первый отряд с нынешних высот кажется нам малюткой. В прошлом году выездные отряды, сформированные ЦК комсомола, работали по всей стране — от Мурманска до Закаспия, от целинных районов до бухты Находка. Третий трудовой семестр прошли около 60 тысяч студентов четырехсот вузов страны. Они освоили на капитальном строительстве около 110 миллионов рублей, сдали в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья, 30 детских садов, 40 школ, 12 клубов. Другими словами, построен целый город на 25 тысяч человек. Отряды транспортного строительства подготовили к сдаче свыше 500 километров железных дорог. Электрификаторы отряда «Энергия» построили более 7 тысяч километров линий электропередачи, дали свет трем тысячам населенных пунктов. Самый крупный — 32-тысячный отряд — работал в Казахстане, республике, которая стала колыбелью нашего движения. Двухтысячный отряд «Дружба» был направлен на восстановление Ташкента. Наконец, по образу и подобию строительных отрядов, направленных ЦК комсомола, во многих областях были сформированы свои строительные отряды численностью свыше 200 тысяч человек.

Я не хочу, чтобы меня поняли так, будто этот рост был только количественным. Организовать работу десятков тысяч людей нельзя теми же методами, какие пригодны для отряда в триста человек.

**А. СЛИВА.** Именно поэтому, мне кажется, надо рассказать о совхозном отряде. Это — низовое звено нашей организации, главный узел всей работы. Обычно в нем 50—70 человек. Во главе стоит командир, которого назначает комитет комсомола вуза, — как правило, студент старшего курса, два-три раза побывавший на целине. Он должен знать организацию производства, финансы, снабжение, основные правила санитарии. Словом, он все должен знать, все уметь. Как хорошо сказал командир всесоюзного отряда Галым Абилясинтов, он должен быть великим организатором. Вторая фигура — комиссар. Его выбирает отряд. На нем — вся воспитательная и политмассовая рабо-

та. В отличие от командира он неосвобожденный работник. Третья фигура — мастер. Он отвечает за производство.

Командир во всех вопросах — единоначальник. Его приказ — закон для каждого. Но он же несет ответственность за каждое свое распоряжение перед штабом отряда. А в штаб входят не только назначенные руководители — командир, мастер, врач, завхоз, бригадиры, но и те, кого выбрал отряд, — комиссар и комсорги бригад. Совхозный штаб — главный орган отрядного самоуправления. Он регулярно отчитывается перед отрядом, который и дает окончательную оценку деятельности командира и всех других руководителей. Так в организацию жизни отряда втягивается весь коллектив, а штаб становится аккумулятором студенческой инициативы.

Иногда нам предлагают: давайте отменим единоначалие командира, пусть наша система будет до конца демократичной. Но на это мы пойти не можем, потому что мы организация производственная. А в процессе производства возникают вопросы, которые требуют оперативного решения, обсуждать их некогда. В то же время у коллектива достаточно возможностей одернуть командира, если он злоупотребляет своими правами.

И. ДУЭЛЬ. В нашей газете был как-то помещен материал «Трагедия одной карьеры» об отряде Ижевского механического института. Командир отряда — преподаватель общественных дисциплин М. М. Салтышев — решил, что его должность дает неограниченную власть. Он поощрял доносы на тех, кто пытался его критиковать, некоторых ребят шантажировал. Собрание отряда обратилось в районный штаб с предложением снять Салтышева с должности командира. Предложение приняли. Замечу в скобках, что на преподавательской должности Салтышева оставили: директор института сказал по этому поводу, что одно к другому отношения не имеет.

А. СЕРДЮК. Отряд чувствует себя хозяином во всех вопросах своей жизни. Первое, так сказать, материальное условие этой самостоятельности — свой студенческий объект. Его нужно построить от фундамента до крыши. Значит, нужно решить, сколько часов в день работать, чтобы в конце сезона вручить ключи совхозу. Иногда проявляется даже излишнее рвение: Центральному штабу пришлось принять специальное решение — ограничить рабочий день десятью часами.

Второе условие самостоятельности — организация быта. В позапрошлом году я был командиром совхозного отряда. Директор предложил нам разместиться в школе. Ребята решили, что это слишком комфортабельно и слишком неромантично. Они увидели за поселком бугор, на котором стояли казахские юрты, и решили, что жить будут только в них. Сами поставили юрты, там и поселились... В оформлении студенческих лагерей уже выработался свой стиль. Вот какие названия, например, дают ребята столовым: «Степные закаты», «Харчевня князя Олега со дружиною», «Наташенька» (по имени поварихи). Вообще жаль, что мы не собираем своего фольклора, лозунгов, рисунков. Когда в нашем отряде неважно было с продуктами, кто-то нарисовал веселого чудака, у которого осталось во рту всего три зуба. А под рисунком подпись: «Он ел много мяса». Не привезли мяса — радуйся: зубы останутся целы.

В. ЦЫПЛАКОВ. Отряды приезжают не только строить. Студенты читают лекции, устраивают диспуты, вечера отдыха, спортивные соревнования, организуют консультации для тех, кто готовится в вузы. В подарок совхозам ребята везут библиотеки. Всюду, где только можно, создаются пионерские лагеря для

сельских ребят. Первый такой лагерь появился четыре года назад, а прошлым летом в Казахстане их было больше трехсот. Что касается спортинвентаря, барабанов, горнов, различных игр — их тоже привозят с собой студенты. Пионервожатой работает обычно студентка пединститута. По окончании рабочего дня многие ребята превращаются в режиссеров, артистов, спортивных тренеров.

— Расскажите об организации какой-нибудь из служб, хотя бы медицинской.

А. ЗАЙЧЕНКО. Когда вернулись первые целинники (это было еще давно), мы спросили их: болели? Говорят — нет. На самом деле все болели дизентерией.

С МЕСТА. Это была не дизентерия.

А. ЗАЙЧЕНКО. Все равно болели. Тогда мы решили организовать медслужбу. Уже на следующий год в нашем отряде больных не было. Сейчас в каждом отряде есть свой медик. Он следит за здоровьем студентов, за санитарным состоянием столовой и лагеря. На это уходит лишь пятая часть его рабочего дня. Остальное время он обслуживает местное население. За лето прошлого года на приеме у врачей студенческих отрядов побывало около миллиона пациентов. Из них 700 тысяч приходится на долю Казахстана. Врачи сделали 20 тысяч операций, приняли две тысячи новорожденных. Особая помощь была оказана больным туберкулезом и сердечникам. В нескольких областях Казахстана группа педиатров организовала молочные кухни с большой сетью раздаточных пунктов.

А. СЛИВА. В Казахстане ходят легенды об одной из операций «студенческого медика» Виталия Залевского. В поселке, где он работал, произошел несчастный случай: в результате автомобильной аварии пострадала работница зерносклада. У нее была сильно повреждена грудная клетка. Спасти женщину могла только немедленная операция. Случилось это вечером, а в поселке не было света. И тогда на помощь Виталию пришли ребята из отряда. Они останавливали проходившие мимо машины с зерном, и шоферы, подъехав вплотную к медицинскому пункту, светили фарами в окна. Когда у машины сдавал аккумулятор, ее сменяла другая. При свете автомобильных фар Залевский сделал сложнейшую операцию. Больная была спасена.

А. СЕРДЮК. Мы довольно подробно рассказываем о совхозном отряде. Нужно только добавить, что жизнь низового коллектива определяется Уставом всесоюзного студенческого отряда. В Уставе собрано все лучшее, что накопила за восемь лет своего существования студенческая целина. Он определяет структуру отряда, права и обязанности каждого. Некоторые положения Устава вызывают удивление людей, незнакомых с целиной. Например, сухой закон: членам студенческого отряда категорически запрещено пить что-либо спиртное. В случае нарушения мера наказания едина: исключение из отряда...

— А пиво можно пить?

А. СЕРДЮК. Нет, пиво тоже нельзя.

— Не слишком ли строго?

А. СЕРДЮК. Не слишком. Пьянка и в городе порой приводит к несчастным случаям. А в условиях казахстанской степи, да еще на стройке, водка особенно опасна. Сухой закон — это прежде всего одна из мер техники безопасности.

А. ЗАЙЧЕНКО. Иногда нас спрашивают: не давят ли строгие законы индивидуальность членов отрядов? Я уверен, что нет. Наоборот: весь строй нашей жизни дает возможность ярче проявить способности. Это вовсе не значит, что в отрядах не происходит столкновений между коллективом и отдельными



ребятами. Вот вам пример. Один парень, сын обеспеченных родителей (это было в отряде Московского текстильного института), после нескольких дней работы подошел к командиру и сказал: «Знаешь, меня деньги не интересуют. Поэтому вкалывать по десять часов в день не собираюсь. Часика три поработаю и пойду на речку. А вы мне можете совсем ничего не платить. Вам же будет выгоднее».

Командир собрал отряд. Единогласно решили исключить его и отправить в Москву. Пожалуй, здесь было не подавление личности, а подавление барства по отношению к товарищам. С такими качествами мы боремся вовсю. Кроме того, о наших строгих законах всякий узнает задолго до отъезда, и если он их не разделяет, — волен не ехать. А принял добровольно Устав, поехал — не жалуйся потом на строгости.

А. СЕРДЮК. Еще пример. В Уставе записано, что каждый член отряда должен быть опрятен и чисто выбрит. Местных жителей обижает, когда по поселку разгуливают ребята в плавках и с отпущенными бородами. Они говорят: «Вы у себя дома, небось, в таком виде не ходите и бород не отращиваете. А здесь считаете, что все позволено, будто к дикарям приехали...» Действительно, мы исходим из того, что несем жителям степных поселков культуру больших городов. И вдруг какая-то борода мешает нашему взаимопониманию и становится препятствием на пути. Конечно же, легче ее сбрить. Не для того, чтобы травмировать чью-то индивидуальность, а чтобы выполнить задачи, поставленные нами перед нами же самими... Если отряд учит уважать интересы коллектива, то это не значит, что тем самым подавляется чья-то личность.

В. ЦЫПЛАКОВ. Есть и такая мера воздействия — лишение права на труд. Так порой и поступают с «сачками», то есть бездельниками. Отдают им самое удобное место в палатке, центральное — за столом, кладут по две порции, а до работы не допускают. «Погоди, — говорят, — отдохни...» Даже самые упрямые больше трех дней такой жизни вынести не могут, и потом их на работе подгонять уже не приходится...

— Работа строителей по большей части физическая. Один более вынослив, более крепок, другой слабее, быстрее устает. А как обстоит дело с оплатой?

Е. ЕЖИКОВ-БАБАХАНОВ. Понятное дело, что девушка-первокурсница не может сделать за день столько, сколько какой-нибудь восьмидесятикилограммовый здоровяк. Но заработок их будет одинаков, если у них одинаковое отношение к труду, если они оба работают, что называется, на полную катушку. У нас, как в искусстве, главный вопрос: не сколько, а как? Как относится человек к своей обязанности — это качественный показатель. А количество — уже производное от него. Короче говоря, отряд живет коммуной и между всеми, кто работает с полной отдачей, деньги делятся поровну.

— И сколько же может заработать студент в среднем за лето?

Е. ЕЖИКОВ-БАБАХАНОВ. В среднем рублей четыреста. Но бывает и больше. Тут уж многое зависит от штабов. Они призваны выбрать объект, целесообразно расставить людей, чтобы обеспечить им хороший заработок. Скидывать его со счета нельзя: это — заметное экономическое подспорье в жизни студента. В то же время заработок — отнюдь не главное, что привлекает студентов в строительные отряды. Только десять процентов назвали его главной причиной своих третьих семестров (в уже упомянутой

выше анкете). Девяносто процентов опрошенных указали мотивы морального и социального характера.

Г. БОЧАРОВ. Выполняемый нами труд сам по себе нейтрален. Ему можно придать любой характер, в том числе и меркантильный. Тогда будет расти число шабашников, любителей рубля, они будут вкалывать и по 16 часов в сутки ради личной выгоды... Но наши отряды ставят перед собой, разумеется, совершенно иные, воспитательные цели.

Г. МОНаХОВ. Мы за деловитость, но против делячества. Деловитость строительных отрядов сильно подсвечена романтикой...

А. СЕРДЮК. Один из директоров совхоза издал приказ, что принял под свое руководство четыреста гектаров пашни и одну березку. Вот видите, даже в приказе деловитость и романтика уживаются рядом...

Г. МОНаХОВ. Разрабатывая маршруты поездок, мы снова и снова убеждаемся: все просят ехать туда, где труднее. В Якутии вечная мерзлота, тучи мошкеры, а в некоторых районах и людей мало и с питанием трудно... И именно поэтому отбоя нет от желающих.

А. ЗАЙЧЕНКО. Я недавно получил письмо из института: «Даем 70 человек, все с топорами, может быть, ты знаешь, куда можно поехать — далеко-далеко?»

— Вы здесь упоминали различные службы, говорили о роли штабов. Быть может, полезно вернуться к вопросу о структуре строительных отрядов, чтобы уяснить ее полностью?

А. СЛИВА. При всех различиях, которые есть между совхозными отрядами, их жизнь подчинена единым законам, единому ритму. Для этого совхозные отряды объединяются в районный (во главе его стоит штаб). Далее по вертикали — областной и центральный штабы. Их можно назвать высшей школой организаторов. Здесь собраны наиболее умелые, расторопные и умные люди, которые великолепно знают и строительство, и снабжение, и хитрые банковские операции. Они осуществляют связь между отрядом, с одной стороны, и руководством района, области, республики — с другой. Главная же работа — воспитательная... Нередко рабочий день штабиста длится 18—20 часов. Многие работники штаба не могут расстаться со студенческой стройкой и после окончания вуза. Из штабистов получают талантливые руководители, знающие свое дело и умеющие работать с людьми.

Е. ЕЖИКОВ-БАБАХАНОВ. Штабы разделены на службы: инженерную, снабжения, медицинскую, автоколонну. Мы уже рассказывали, как родилась медицинская служба. Инженерная появилась тогда, когда отряды от саманных домиков перешли к каменным и железобетонным сооружениям. Четырехэтажное здание или мост без специалиста не построишь. Работники инженерной службы — это студенты старших курсов или преподаватели инженерно-строительных вузов.

— Вы говорите о ребятах, уже получивших, по сути дела, специальность. Но откуда строительные навыки, скажем, у историков или филологов?

Г. БОЧАРОВ. Еще зимой, задолго до поездки, штаб, наметив будущий объект, договаривается со строительными организациями, и члены отряда загодя овладевают профессиями каменщика, штукатура, плотника.

Г. МОНаХОВ. Нам, энергетикам, в этом смысле проще: наши летние работы прямо связаны с будущей профессией. Колыбелью всесоюзного отряда «Энергия» стал Московский энергетический институт... В прежние годы ребята работали летом на Мо-



сковской кольцевой дороге, сооружали набережную Москвы-реки, ездили на целину. Это все был отрыв от специальности. Потом создали небольшой отряд, который электрифицировал два хозяйства в Можайском районе под Москвой. И поняли, что это и есть наше кровное дело. Польза обоюдная: и для хозяйства и для студента. Сейчас Московская область электрифицирована на сто процентов, в этом есть и наша доля. Теперь отряды разъезжаются ежегодно во все концы страны.

**В. ЦЫПЛАКОВ.** Трудовой семестр студентов по профилю их будущей специальности трудно переоценить. Летние работы позволяют ребятам освоить специальность тех рабочих, которыми они будут руководить по окончании института. Ясно, что третий семестр необходимо как можно лучше увязать с вузовским учебным курсом. Сейчас нам удалось в принципе договориться с руководителями некоторых транспортных институтов о том, что студенты будут делать свои курсовые на материале, собранном летом, во время работы на транспортных стройках.

**Т. КЕКЕЛИДЗЕ.** Связь института и стройки должна быть двусторонней. Надо стараться, чтобы знания, полученные в вузе, находили применение в летних работах. А организаторские навыки, приобретенные студентами на стройках, применялись в общественной и комсомольской жизни вуза. Ведь участие в строительных отрядах воспитывает у ребят ценнейшие качества: деловитость, энергичность, умение широко мыслить, дорожить интересами коллектива, общества. Вот как родился наш отряд «Дружба». Как только стало известно о землетрясении в Ташкенте, в студенческих штабах заговорили о том, что необходимо послать туда людей. ЦК ВЛКСМ поддержал эту инициативу. В предельно короткий срок был создан отряд. Но в штабе студенческих строительных отрядов этого показалось мало. Было предложено отдать заработок одного дня всех студентов-строителей городу мужества. На собранные средства отряд «Икар» построил детский комбинат — уезжая со стройки, мы отдали ключи от него юным жителям Ташкента. Я привожу эти примеры в защиту утверждения: студенты могут делать серьезные дела в рамках больших строек, в рамках целых республик. Почему же это их умение так слабо, так осторожно (до перестраховки), так куче используется в вузовской жизни?

**А. СЛИВА.** Иногда доходит до смешного. На стройках нам доверяют миллионы рублей, а в институте не решаются доверить распределение стипендий. В каком-нибудь целинном совхозе директор смотрит на грамотного командира отряда, как на бога. В Целиноградской области директор одного совхоза, уезжая, всегда оставлял за себя студента факультета журналистики Толю Борматова. И был спокоен. А в университете того же студента опекают со всех сторон, он начисто лишен всякой самостоятельности.

**Е. ЕЖИКОВ-БАБАХАНОВ.** Студент, как правило, не знает, какие проблемы стоят перед его институтом. За него решают деканат, ректорат. Даже навести порядок в общежитии ему не доверяют. Есть, правда, приятные исключения, например, Ленинградский кораблестроительный институт. Но надо, чтобы эти исключения стали правилом. Опыт строительных отрядов убеждает, что широкое внедрение самоуправления в вузах страны может принести отличные результаты.

**А. ЗАЙЧЕНКО.** Я хотел бы коснуться еще одной проблемы: судьбы тех, кто проявил себя на стройках профессиональным руководителем производства. Почувствовал в себе способности и призвание этого рода... Сплошь и рядом бывает, что человек до 30 лет ходит в учениках, в мальчишках. Судите: в 18 лет

кончает парень школу, затем служит в армии, потом, года в 22—23, поступает в институт. Еще пять-шесть лет продолжается пора опекунов — и в институте и на практике. «Молодым» специалистом он приходит в хозяйство — лет 27—30-ти. Но и в это время он только-только начинает знакомиться с производством, ходит года два в учениках и уже потом становится более-менее самостоятельным работником.

Наши строительные отряды, основанные на принципе самодисциплины и самоуправления, позволяют будущему специалисту еще на студенческой скамье познакомиться с организацией труда на производстве.

**А. СЛИВА.** Осенью прошлого года нашим отрядам было посвящено заседание коллегии Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. Министр В. Столетов предложил выделять лучших студентов, проявивших на летних работах большие организаторские способности, в специальные группы, где будут готовиться будущие руководители производства.

**Г. МОНАХОВ.** В январе Центральный Комитет комсомола принял решение о создании единого студенческого строительного отряда, в который, как подразделение, войдут целинный отряд, транспортники, энергетики, тюменцы. Как видите, нам идут навстречу, делается многое, и это позволяет надеяться, что нынешний, юбилейный для страны год будет отмечен новыми успехами студенческого движения.

**Т. ЕСЕНОВ.** В декабре прошлого года в Кремле состоялся Первый Всесоюзный слет студенческих строительных отрядов. Почетным гостем на нем был Хазбулат Начеевич Зангиев, первостроитель Комсомольска-на-Амуре. Мы говорили об отрядах, так сказать, изнутри, с позиций участников этого движения. Хочется спросить: а что думает о нем наш старший товарищ?

**Х. ЗАНГИЕВ.** Скажу я коротко. Когда закончился слет, ко мне подошел один журналист и спросил: «Как, по-вашему, чем отличается сегодняшняя молодежь от поколения тридцатых годов?» Я ему говорю: очень большая разница. Он сразу загрустил, думал, что я буду ругать нынешнюю молодежь. А я продолжал: «Разница в том, что мы не носили галстуков и узких брюк. Это — внешнее отличие. А главное, что сегодня ребята значительно грамотнее, а потому и сильнее, способнее, чем были мы в свое время... В том, что они способны решать технические более сложные задачи, чем решали мы, ничего обидного для поколения 30-х годов нет. Время идет, все развивается по восходящей... Я считаю студенческие строительные отряды большой патриотической силой, движением, которое отражает рост коммунистического сознания... Летом в Ташкенте я видел работу строительных отрядов. Самостоятельность, инициатива, гражданское возмужание — вот что приносит студенту третий семестр. Вместе с тем возникла парадоксальная проблема, которую предстоит решить. Отряды родились в вузах. Отряды породили новые формы воспитания, но это воспитание носит сезонный характер. Число студентов, выезжающих на летние работы, быстро растет. В строительных отрядах будут закаляться новые тысячи людей. А в вузах все остается почти без перемен. Как перенести принципы, утверждаемые жизнью и торжествующие всего два месяца в году, в институты, в университеты; как включить их в учебный процесс, во всю круглогодичную жизнь студента? Пора от восхваления студенческого самоуправления перейти к его внедрению в жизнь. Это принесет огромную пользу всей системе подготовки молодых специалистов.

Беседу записали Тамерлан ЕСЕНОВ и Игорь ДУЭЛЬ.



ЛИТЕРА-  
ТУРНЫЕ  
ПОРТРЕТЫ

Станислав  
Рассадин



Ярослав СМЕЛЯКОВ.

Фото А. Лесса.

## «ЧУГУННЫЙ ГОЛОС, НЕЖНЫЙ ГОЛОС МОЙ»

(О поэзии Ярослава Смелякова)

**И**нтересно было бы собрать антологию русских стихотворений, посвященных памятнику. Собственному.

Тогда стали бы рядом «Памятник» державинский, вобравший в себя эпикурейское жизнелюбие своего автора и его упрямое желание совместить безмятежность бытия с независимостью: «И истину царям с улыбкой говорить»; «Памятник» батушковский, трагически-безумный; пушкинский, величаво-иронический. И многие иные — вплоть до Маяковского, который отвергнет прижизненную бронзу («заложил бы динамиту — ну-ка, дрызнь!») и заведет разговор с потомками; вплоть до Есенина с его наивным и от-

того привлекательным тщеславием: «Чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть»...

Быть может, в этой маленькой антологии резко выразились бы лирические характеры поэтов. Неполно, но резко. Ведь каждое из этих стихотворений — самооценка.

У Смелякова есть свой «Памятник»:

Приснилось мне, что я чугуном стал,  
Мне двигаться мешает пьедестал.  
Рука моя трудна мне и темна,  
и сердце у меня из чугуна.  
В сознании, как в ящике, подряд  
чугунные метафоры лежат.  
И я слежу за чередой дней  
из-под чугунных сдвинутых бровей.

С первой строки нельзя сомневаться в неприязнен-но-ироническом отношении автора к своему монументу. И материал для него выбран наименее торжественный — не бронза, а чугун; и само слово «чугунный» скомпрометировано тем, что употребляется часто в бранном смысле («чугунные мозги»). Так что чугунные метафоры и чугунное сердце не могут пробудить зависти к их обладателю. А Смеляков с намеренной навязчивостью повторяет это тяжелое, гудящее слово: «чугунным», «чугунные», «из-под чугунных»...

Да и сам пьедестал не возносит, а мешает двигаться, сковывает.

Холодно в этом бессмертии. Даже окружено оно пустотой — голыми деревьями:

Вокруг меня деревья все пусты,  
на них еще не выросли листья.  
У ног моих на корточках с утра  
самозабвенно лезет детвора,  
а вечером, придя под монумент,  
толкует о бессмертии студент.

Это — одиночество. Дети заняты своим делом, самозабвенны, им нет времени поднять голову и уважительно полюбоваться чугунным идиолом. А мысли о бессмертии, одолевающие студента, несерьезны, это — обычное честолюбие юности. Несерьезность подчеркнута выразительным словом «толкует». Не «мечтает», а «толкует».

И вдруг одиночество нарушается:

Когда взойдет над городом звезда,  
однажды ночью ты придешь сюда.  
Все тот же лоб, все тот же синий взгляд,  
все тот же рот, что много лет назад.  
Как поздний свет из темного окна,  
я на тебя гляжу из чугуна...

Это, быть может, самые поразительные строки стихотворения. «Как поздний свет...» Поздний — значит задержавшийся после положенного времени, почти незаконный. Жизнь еще теплится в глубинах громоздкого монумента, но она незаконна. Величавое и холодное бессмертие исключает ее.

Но она все-таки теплится. И потому возможно чудо:

И я сойду с блестящей высоты  
на землю ту, где обитаешь ты.  
Приблизюсь тихо к счастью своему,  
рукой чугунной тихо обниму.  
На выпуклые грозные глаза  
вдруг набегит чугунная слеза.  
И ты услышишь в парке под Москвой  
чугунный голос, нежный голос мой.

Троекратное «чугунный» в шести последних строчках звучит совсем не так, как вначале. Там оно давало ощущение тяжести, здесь — ощущение преодоления тяжести. Каждый раз речь идет о победе над чугуном, о том, чего вроде бы не должно случиться, но случается. Чугунная рука (о ней было сказано: «моя рука трудна мне и темна») обнимает, чугунная слеза течет по чугунной щеке, чугунный голос звучит, и даже звучит нежно, умеряя силу.

«Чугунный голос, нежный голос мой» — в этом сочетании и холодное бессмертие и живая жизнь. И отвергнутое величие и человечность.

Это стихи о любви, о милой женщине, ради которой легко отказаться даже от посмертной славы. Но для Смелякова этого «даже» не существует: жертва вообще не велика. Чугунное бессмертие оказывается мнимым; жизнь бессмертнее: «все тот же рот, что много лет назад». И тоска, которую поэт испытал, едва только глянув в «блестящую высоту», так безмерна, что сама женщина, как она ни дорога, прежде всего лучик из нашего светлого и трудного мира. Жизнелюбие Смелякова не легкое, не эпикурей-

ское. Оно у него такое же трудное, как труден сам характер его лирического героя. И привязанность к земле не юношески-пылкая, а выстраданная, суровая. Он не восторгается — он просто без нее не может. Вот и все.

В конце двадцатых годов Алексей Сурков полемически воспевал свою судьбу, ее обыкновенность: «Каюсь, «Музу» мою невзлюбила экзотика. Не воспитанный с детства в охотничьих играх, мой герой не ходил за Чукотку на котика и не целился в глаз полосатого тигра». Стихи возражали разноликой романтике, Сельвинскому и Багрицкому; даже стилистически нейтральное, поэтически обиходное слово «Муза» демонстративно зажималось в кавычки.

Тогда же Михаил Светлов иронически грустил по романтике: «Мне робкой рукой не натягивать парус, веслом не взмахнуть, не кружить в урагане, — Атлантика любит соленого парня с обветренной грудью, с кривыми ногами...»

Стихи Смелякова о своей судьбе, о главном в ней не ироничны и не полемичны:

Тихо прожил я жизнь человечью:  
ни бурана, ни шторма не знал,  
по волнам океана не плывал,  
в облаках и во сне не летал...

Это написано в сорок пятом, после войны, после трудных лет, а могло быть написано и позже. Почему же «тихо»?

Впрочем, дальше:

Но зато, словно юность вторую,  
полюбил я в просторном краю  
эту черную землю сырую,  
эту милую землю мою.

Любовь к земле не любовь издалека: «Я возил ее в тачке скрипучей, так, как женщины возят детей», и «ее подымал я лопатой и валил на колени кайлом». Так что слова о тихо прожитой жизни начинают казаться вовсе не серьезными, в особенности рядом с признанием: «Для нее ничего не жалея, я лишился покоя и сна». Какая ж тут тихая жизнь?

Смеляков отвечает на наши сомнения:

Человек с голубыми глазами,  
не стыжусь и не радуюсь я,  
что осталась земля под ногтями  
и под сердцем осталась земля.

«Не стыжусь и не радуюсь...» Он потому не стыдится и не радуется, что не он сделал выбор судьбы и выбор века. Он не воспекает своей судьбы, как Сурков, и он не грустит по иной жизни — даже так иронически, как Светлов.

Что это — фатализм? А как же прекрасная истина: «Каждый кузнец своего счастья»?

Нет, тут дело в другом. Как писал другой поэт: «Время? Время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем... Нету легких времен. И в людскую врезается память только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах».

Стихи Смелякова о земле зовут не к покорности судьбе. Они о сохранении достоинства. О человеческой устойчивости. О человеке, который устоял, несмотря ни на что.

А он устоял. Выстоял:

Ты дала мне вершину и бездну,  
подарила свою широту.  
Стал я сильным, как терн, и железным —  
даже окиси привкус во рту.

Строки эти не высокопарны не только потому, что слово «железный» смягчено иронией: «даже окиси привкус во рту». В них опять-таки нет заносчивости, есть спокойная констатация факта. Тем более стихи эти о том, что устоять было трудно.

Впрочем, это неверно. Это мы видим, что трудно. А стихи вовсе не упирают на трудности. И это понятно. Настоящему поэту невозможно представить, что он мог не устоять. Для него это норма поведения, норма чувства: «Не стыжусь и не радуюсь я...»

Само словосочетание «норма чувства» может невольно внушить иллюзию, что сохранять ее чрезвычайно просто. Если бы что-нибудь сверхнормальное, необычное, а то — подумаешь! — всего только норма. Нечто нехитрое, заурядное.

На самом же деле сохранять — всюду и везде, в любых обстоятельствах — норму чувства трудно. Иногда очень трудно. И необходимо. Это равносильно понятию «оставаться человеком». И поэтом.

Но поэт не должен сознавать эту трудность. Тем более не должен ею гордиться. Для него это прежде всего естественно. Иначе он не может.

Одна из опор, помогавших Смелякову сохранять норму чувства, — русская поэтическая традиция, пушкинская — та, верность которой он утверждал еще в тридцатые годы, когда само слово «традиция» многим казалось сомнительным.

Есть и вторая.

Критик В. Огнев верно сказал, что определяющая черта индивидуальности Смелякова — трезвость и устойчивость психики рабочего человека.

Разумеется, это не значит, что лирический герой Смелякова позаимствовал какие-то свои качества у конкретного рабочего. Смешно об этом думать. Этого попросту не бывает. Он причастен к идеальному, к обобщенному рабочему человеку, который в какой-то степени (в немалой, впрочем) является, в свою очередь, плодом не вымысла, но домысла Смелякова.

И наиболее важные и симпатичные для Смелякова черты этого идеального героя — устойчивость перед обстоятельствами, честное и прямое отношение к людям и к долгу перед ними, ясность и бесхитрость взгляда на мир, ощущение ответственности за все на свете. Ответственности человека, руками которого все и создано.

Эта причастность не гарантия и не льгота. В поэзии вообще всякое преимущество оборачивается особой трудностью, требует особенно великой затраты душевной энергии.

Само чувство ответственности может в разных случаях приводить к разным результатам. Оно может проявляться бескорыстно и корыстно, самозабвенно и самодовольно. Оно может оборачиваться чувством вины за все дурное, что происходит на свете, ощущением собственной преданности для других. И, напротив, может выглядеть попыткой самоутвердиться, самую ответственность рассматривая как преимущество перед прочими.

В одном случае это чувство рождает достоинство, сдержанность — как в стихотворении «Земля». Даже тяжесть своей судьбы принимается достойно, без жалоб: «Не стыжусь и не радуюсь я...» Или в других стихах: «Мне в общей жизни, в общем, повезло, я знал ее и крупно и подробно». Два повтора: «в общей», «в общем» — многозначительная оговорка. За ней много того, о чем поэт не хочет говорить.

Кажется, он даже готов иногда скрывать свои беды — вернее, не то чтобы скрывать, но не задерживать на них внимание читателя, прикрываясь порою иронией, стилизованной под простоватость: «До Двадцатого до съезда жили мы по простоте — не сойти мне нынче с места! — в дальнем городе Инте».

И то, что поэт не хочет распространяться о бедах, свидетельствует не о его нежелании говорить прав-

ду, а о его темпераменте и, главное, об одной из черт характера: раз я сам несу ответственность за все на земле, то и не хочу, чтобы меня жалели.

Соглашайся или не соглашайся с этой позицией, но не уважать ее трудно.

В этом случае причастность к рабочему человеку сообщает стихам Смелякова принципиальную скромность.

В другом случае — наоборот.

Это главным образом в тех стихах, где звучит самоутверждение, где чувство собственного достоинства навязывается читателю в прямых декларациях, где гордо осознаваемая причастность к людям труда самим поэтом утверждается как его же преимущество. Самим — вот что неестественно.

Есть у Смелякова стихи, в которых он говорит от имени русского народа, вернее, от имени русского рабочего класса. Говорит как его представитель:

Я русский по виду и сути,  
за это меня не вина,  
таким вот меня и рисуйте,  
ваяйте и пойте меня.  
Нелегкие общие думы  
означили складку у рта.  
Мне свойственны пафос и юмор,  
известна моя доброта.

Ясно, конечно, что Смеляков говорит не о себе лично. Но так или иначе в этой декларации я ощущаю неестественность. И тот, от имени кого этот монолог произносится, и сам поэт поставлены, как мне кажется, в неловкое положение; так человек, который про себя тут же говорит: «нисколько не главный, а равный», — представляться не может. Так можно говорить только о других.

Эта неловкость, это нарушение нормы чувства привели к тому, что само ощущение причастности, равенности (завидное свойство Смелякова) перешло в ощущение избранничества, неравности. Сам демократизм этого заявления слишком величав, а голос поэта приобрел и впрямь чуждый оттенок — без иронии и без нежности.

В лучших стихах Смелякова (в лучших и определяющих его поэтический облик) эта причастность и эта ответственность проявляются иным образом. Слово «ответственность» обнажает здесь свое первоначальное значение. Смеляков в ответе за все. Он готов платить даже за то, в чем — по здравой прозаической логике — никакой его вины нет.

Увидев на улице мальчика на деревянной ноге, который разговаривает с мальчиком на лыжах, он печально размышляет:

О, если б со мною была в тот вечер  
волшебная палочка, я б, наверно,  
нашел, как вмешаться и что исправить.  
Но, как нарочно, я, представьте,  
забыл ее дома, среди скопления  
папиросных коробок и фотографий.

Самоирония прикрывает здесь горькое, очень личное чувство вины.

Оно так велико, что бессилие кажется уже не бессилием, а безразличием, сходным с безразличием природы —

с тем безразличием,  
с каким осыпало февральское небо  
того и другого, одною мерой,  
белыми звездочками снежинок;  
с той равнозначностью,  
с тем бесстыдством,  
с какими дерево — страшно подумать! —  
пошло одному на длинные лыжи  
и другому — на деревянную ногу.

Это не истерика. Настоящий поэт вообще не может быть спокоен, когда рядом несчастье.



У Смелякова же это чувство вины окрашено особым: он, сознавая свою связь с идеальным рабочим человеком, работником и хозяином, тем более не истеричен. В его сочувствии и сожалении звучит не «какой ужас!», а «этого быть не должно!».

Сильному человеку труднее всего переносить сознание такой вины. Поэтому Смелякову неловко, что жизнь пока еще слишком рано бросает ребятишек в базарные лапы («Земляника»); ему мучительно стыдно видеть, как женщины выполняют непосильные дорожные работы: «Сквозь эти женские лопаты, как сквозь шпидрутены, иду» («Камерная полемика»). Он вообще связан с миром множеством нитей, чутких, как нервы. Малейшее неблагополучие отзывается в нем, и он уже не может считать мир благополучным, если в мире хоть кому-то плохо и трудно.

Простой вид паровозной свалки вызывает у него трагические ассоциации.

«Кладбище паровозов» — это словосочетание не придумано поэтом. Оно почти термин, в котором метафоричность стерлась. Так железнодорожники называют тупик, куда загнаны старые, отжившие свое паровозы. И в словаре моряков есть выражение «кладбище кораблей».

Для поэта метафора оживает в своей былой конкретности. Так в начале двадцатых годов появилось «Кладбище паровозов» Николая Ушакова, торжественно-величественное: «Такой погост людских погостов строже, благословия стальные имена». Так в конце сороковых родилось трагическое одноименное стихотворение Смелякова.

В нем есть строки: «Мамонты пятилеток сбили свои клыки». Это естественная и точная ассоциация (потом она повторится в «Строгой любви», в строчках о трамваях, которые «в одиночестве под Москвой, будто мамонты, вымирают»); здесь есть и ощущение обреченности и ощущение былого величия — словно мы присутствуем при раскопках миллионного скелета мамонта. Но главная аналогия в стихотворении иная: останки паровозов очеловечены. Гибель машины осознана как смерть человека.

В стихах звучит голос поэта, протестующий против умирания, горько, почти отчаянно сознающий неотвратимость и противоестественность его. Это чувство воплощено в образном строе:

Кладбище паровозов.  
Ржавые корпуса.  
Трубы полны забвенья,  
свинчены голоса.  
Словно распад сознания —  
полосы и круги.  
Грозные топки смерти.  
Мертвые рычаги.

Аналогия машины и человека постоянна; словосочетание «кладбище паровозов», вернувшее свою метафоричность, рождает метафоры того же ряда: «свинчены голоса», «мертвые рычаги». Да и дальше: «Мертвым не нужно зренья — выкрошены глаза».

Но метафоры эти были бы еще не в состоянии передать сострадание поэта, выразить лирическую тему стихотворения.

Некоторые строки имеют какой-то странный, смещенный, ирреальный характер: «Трубы полны забвенья». Что это такое? Ведь это то же самое, что «полны пустоты». Наполненность не может быть пустой!

А «словно распад сознания — полосы и круги»?

Но эта «странность» образов лучше всего передает горечь поэта. Труп — уже не человек. Вместе с душой ушло не просто главное, ушло все. Смысл

жизни иссяк. Осталась бессмысленность, нереальность, противоестественность. Как у Маршака: «Забудет тело имя и прозвание — не существо, а только вещество». Это Смеляковым остро и больно пережито.

У трупов нет воспоминаний. И когда речь заходит об ушедшей душе: «В ваших вагонах длинных двери не застучат, женщина не засмеется, не запоет солдат», — это не память мертвого железа, а воспоминания самого поэта. Это он хочет хотя бы в нашем и своем сознании восстановить былую жизнь отслуживших паровозов. Его (и наша) душа смотрит на обезжизненный металл, словно переживая свою будущую судьбу, ясно и безыллюзорно сознавая ее:

Как души смотрят с высоты  
на ими брошенное тело.  
(Тютчев).

Очеловечивающая аналогия, и без того понятная, дальше проводится с еще более жестокой прямоот:

Шапку сними, товарищ.  
Вот они, дни войны.  
Ржавчина на железе,  
щеки твои бледны.

Сострадание, испытываемое поэтом к погибшим паровозам, — не просто жалость живого к тому, что было живым. Это — сострадание к соратникам, пережившим ту же судьбу, что и ты сам. Сострадание тем более сильное, что и ты принес те же жертвы и у тебя дни войны вырвали порядочный кусок жизни: «Щеки твои бледны».

Но Смеляков не пугает. Трагическая обнаженность не выливается в крик — трагедии подобает сдержанность:

Произносить не надо  
ни одного из слов.  
Ненависть молча зреет,  
молча цветет любовь.  
Тут ведь одно железо.  
Пусть оно учит всех.  
Медленно и спокойно  
падает первый снег.

Так кончается этот реквием. Сурово, но и светло: мертвое железо продолжает «учить». То есть жить. Трагедия в искусстве всегда оптимистична; она уже есть преодоление самой себя. Говоря о самом страшном и безысходном — о смерти, трагедия говорит о смысле бытия, который не может быть понят без полноты печального знания, без осознания конечности жизни.

...«Чугунный голос», «стал я сильным, как терн, и железным», «тут ведь одно железо» — все эти строки встретились нам не случайно. Они характерны для Смелякова.

В. Огнев писал: «Поэзия Смелякова... живет устойчивостью главных ориентиров... Человеческое, мягкое и железное, бронзовое и чугунное — вечная антитеза смеляковской романтики-балладной символики... — все это отражение эпохи, где правда не убывает оттого, что мы вместе с временем переставляем акценты с «железного» на «человеческое»...» Точное наблюдение, как мне кажется, неверно истолковано.

Романтическая символика Смелякова — не мода 40-х годов. Правда, возвышенные метафоры более свойственны Смелякову зрелому, чем раннему, но корни их — глубже и дальше. В Революции, поэтом которой Смеляков заявил себя с первых шагов и к которой неотступно возвращался во все годы. В Революции с ее юношески планетарным замахом, с грандиозностью ее самоощущения.

А главное — «человеческое» и «железное» для Смелякова не антитеза. «Железное» для него не про-

тивостойт человечности: оно возвеличенная человечность.

Да, Смеляков любит грандиозные образы. Но нигде у него — во всяком случае, в лучших вещах — эта грандиозность не переходит в сверхмонументальность, в помпезность.

В стихах «Мое поколение» он говорит:

Я строил окопы и доты,  
железо и камень тесал,  
и сам я от этой работы  
железным и каменным стал.  
...Я стал не большим, а огромным —  
попробуй тягаться со мной!  
Как башни Терпения, домны  
стоят за моею спиной.

В этом звучит не кичливость; даже не столько гордость, сколько то самое: «Не стыжусь и не радуюсь я». И вновь, как и в стихотворении «Земля», как и в «Кладбище паровозов», слово «железный» не звучит сверхчеловечески. А «башни Терпения» не выглядят похвалой — ведь терпения, а не чего иного.

Грандиозность эта человечна, потому что за ней человеческая судьба, человеческое многотерпение, человеческая трагедия. Вернее, не за ней, а перед ней. В ней.

В «Песне» Смелякова о матери, потерявшей в войну сына и дочь, есть слова:

Разве она думала-рядила  
что героев Времени растила?

Другой поэт мог, пожалуй, на этом закончить стихотворение — и оно прозвучало бы фальшиво, как мелодия, оборванная на неустойчивой ноте. Как будто мать должна мечтать только о том, чтобы детям ее досталась слава — любой ценой, даже такой страшной. Как будто исконные материнские надежды («Мать ждала для сына легкой доли... мать ждала для дочери венчанья...») уже устарели, как будто они «ниже» нашего времени.

Но у Смелякова-то двуступень — только середина музыкальной фразы. А окончание таково:

...В тонкие пеленки пеленала,  
в теплые сапожки обувала.

Смеляков кончает стихи на этом спаде интонации, почти на шепоте — горьком, раздумчивом.

Правда чувства сохранена.

Так когда-то в светловской «Гренаде» всплеск радости, которой поэт хотел заглушить горечь воспоминания: «Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья...» — этот всплеск сознательно ненатурального оптимизма, эти заклинания «не надо, не надо» прервались внезапно и горько, как будто у поэта перехватило горло:

Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

Никакое величие, никакая радость и гордость не могут закрыть от поэта — если он поэт — чьей бы то ни было горечи. Полководец может вести счет потерям в тысячах тактических единиц — поэт ведет счет по одному.

Смеляков услышал за «героями Времени» материнские слова «сын», «дочка». И война в его сти-

хотворении предстала не в звоне фанфар. Подвиг обернулся не только своей патетической стороной, но и трагической. И это человеческий, а значит, и поэтический подход: ведь человечество мечтает о времени, когда жертвы станут ненужными.

Мне кажется, неверно думать, что это мы вместе с временем переставили акценты в стихах Смелякова с «железного» на «человеческое» (как думает В. Огнев). Поэт сам их расставил именно так, а не иначе — уже тогда, когда стихи писались. В ином случае он не был бы настоящим поэтом: ведь призвание поэта не в том, чтобы отметить черты века, его полюсы и контрасты, но именно в том, чтобы «расставить акценты», решить вопрос о роли человека, о его месте и судьбе.

Иначе зачем поэзия?

Конечно, для многих стихов сороковых и пятидесятых годов действительно была характерна особая монументальность образов, их надмирность и надчеловечность. Все должно было поражать не внутренней значительностью, но размерами — как и «Падение Берлина» в кино, многометровые полотна в живописи, высотные здания в архитектуре.

Разумеется, так было не во всем искусстве, не во всей поэзии. Лучшая часть ее оставалась верна человеку. Среди этих поэтов был и Смеляков.

В стихотворении «Хорошая девочка Лида» с дерзостью, по-видимому, невольной, просто естественной, то, что было твердо принято отдавать только одной персоне, поэт отдавал маленькой веснушчатой девочке с золотыми косицами, о тайне прелести которой знали только соседский мальчишка да сам Смеляков:

Преграды влюбленному нету:  
смущенье и робость — вранье!  
На всех перекрестках планеты  
напишет он имя ее.  
На полюсе Южном — огнями,  
пшеницей — в кубанских степях,  
на русских полянах — цветами  
и пеной морской — на морях.

«Окажется улица тесной для этой огромной любви», — говорит поэт. И не только улица — вся Земля:

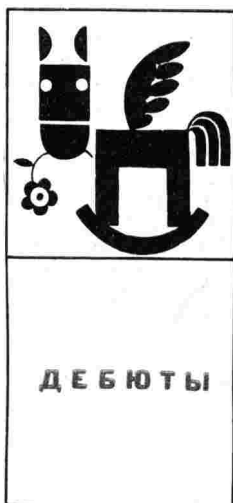
Он в небо залезет ночное,  
все пальцы себе обожжет,  
но скоро над тихой Землею  
созвездие Лиды взойдет.  
Пусть будут ногами светиться  
над снами твоими, Москва,  
на синих небесных страницах  
красивые эти слова.

Смешной мальчишка, который пока что пишет в отчаянии имя девочки на каменных плитах, по которому ступает ее ботинок, ничуть не смешон Смелякову: «Так Пушкин влюблялся, должно быть, так Гейне, наверно, любил». Одна только влюбленность, одна разбуженность души дала основания для возвеличивания этого мальчишки, для приравливания — подумать только! — к Пушкину, к Гейне.

Эти стихи о том, что помогает человеку стать человеком. За что стоит уважать человека.

О том же все лучшие стихи Смелякова.

Поэзия вообще — об этом.



## Наташа Большакова:

«В балете  
я становлюсь  
храброй...»



**С**пектакль приходилось отменять. За несколько дней до объявленного балета «Лауренсия» заболела ведущая исполнительница, не имевшая дублерши. И когда Наташа Большакова в две репетиции вызвалась разучить главную партию, немногие поверили в успех ее дерзкой затеи. Правда, среди этих немногих были народные артисты СССР — главный балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова Константин Михайлович Сергеев и Нина Михайловна Дудинская, добрая наставница Большаковой.

— Вы представляете, на репетициях все шло гладко. Но вот едва я очутилась посреди освещенной сцены, как меня охватило полное отчаяние. Внезапно мне показалось, знаете, что я перезабыла всю последовательность движений...— рассказывала мне Наташа.— Были мгновения, конечно, зрительным залом не ощутимые, когда я лихорадочно вспоминала, куда, к кому из танцовщиков нужно идти сейчас...

А за сценой, прекрасно понимая ее состояние, не меньше Наташи волновалась Н. М. Дудинская, стараясь, когда стихнет гром музыки, подать своей ученице из-за ближайшей кулисы по-военному короткую команду: «Теперь па-де-буре... Фуэте...»

### НАТАША:

— И только потом пришло то, за что я так люблю балет. Вообще сцену. Ощущение легкости и подъема — актерского «завода», как мы это называем...

### К. М. СЕРГЕЕВ:

— Спектакль прошел хорошо. Почему я сразу поверил в успех Наташи Большаковой? Она отлично владеет техникой классического танца. Вдобавок к этому есть у нее способность перевоплощаться, есть темперамент, есть богатство актерских красок. Судите сами. Всего за несколько дней до дебюта в «Лауренсии» Наташа с успехом выступила в молодежном спектакле-утреннике, исполнив сложную партию Авроры в «Спящей красавице». Другой, непохожий характер. Наташа там очень лирична, созвучна музыке Чайковского. И совсем иная она в балете Н. Симоняна «Жемчужина». Здесь резкость, даже суховатость рисунка...

### НАТАША:

— Я старалась понять характер своей героини Хуаны, идя от графики...

### К. М. СЕРГЕЕВ:

— В прошлом году наша балетная труппа выезжала на очередные гастроли за границу. Были мы во

Франции, в Греции, в Англии. И хотя Большакова выступила в сравнительно небольших партиях, о ней немало писали. Особенно в Лондоне, отмечая ее прекрасное исполнение па-де-де в балете «Жизель» вместе с молодым одаренным танцовщиком Вадимом Будариным.

Я просматриваю рецензии: «Мисс Наталия Большакова и мистер Вадим Бударин блестяще станцевали вставной дуэт...», «Превосходна... исполнительница вставного па-де-де супер-юная танцовщица Наталия Большакова, от которой нужно ожидать многого...» Даже не верится, что все это говорится о маленькой, похожей на угловатого подростка Наташе, с которой мы идем людным Невским и которая говорит мне:

— Вот мое любимое кафе.

И я читаю: «Лакомка».

— А что вы еще любите, Наташа?

— Если всерьез? Много разных разностей. Стихи

люблю. Очень люблю драматический театр, разучивание ролей... Люблю читать...

— А как вы пошли в балет?

— О, совершенно случайно. В детстве мама измучила меня бесконечными арпеджио и гаммами, желая, чтобы из меня вышла пианистка. Но однажды кто-то предложил ей отдать меня в балетное училище. Я сразу спросила: «На рояле там не заставляют играть?» «Нет». И я пошла.

— Но ведь занятия в училище были не менее трудными? Тренировки, упражнения...

— Когда полюбишь по-настоящему что-нибудь, разве думаешь о трудностях? Любимая профессия меняет, наверно, сам человеческий характер. Вот в жизни я отчаянная трусиха, а в балете незаметно для себя становлюсь иной — храброй...

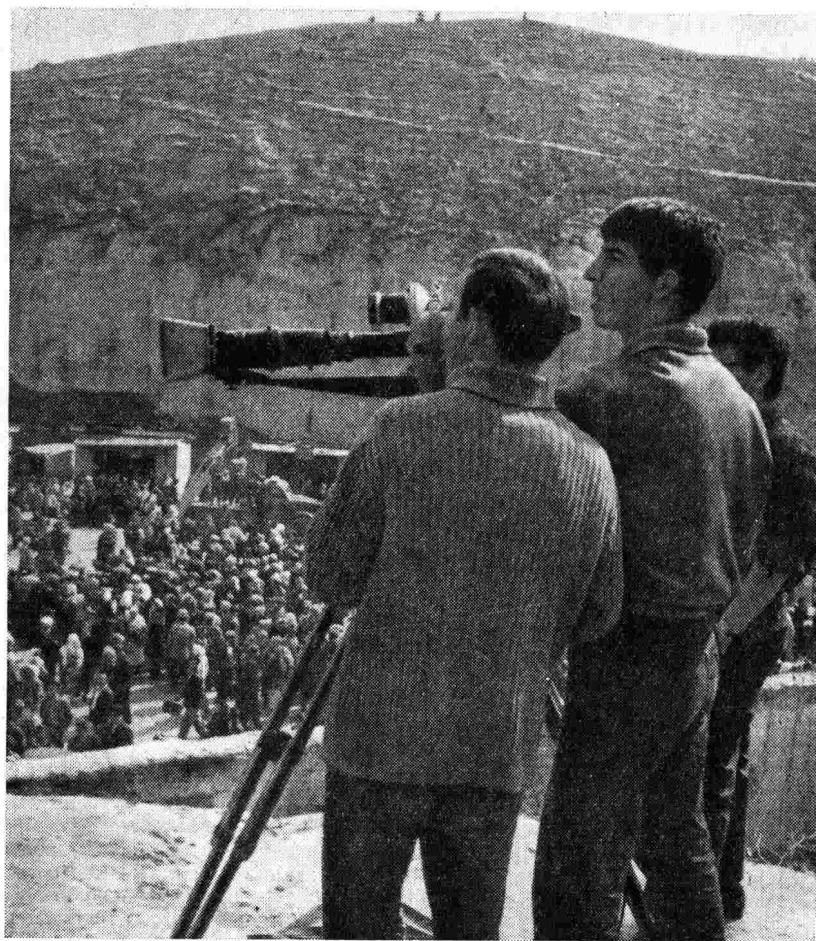
Интервью вел О. МИХАЙЛОВ.

## Юрий Сокол:

### «Мы добивались правды»

Операторский дебют, даже самый удачный, — это еще не признание. Оценка первой работы кинооператора обычно проскальзывает лишь между строчек рецензий. Но если очередные «порядковые» работы дебютанта сделаны так же талантливо, начинают говорить: появился хороший оператор. А репутация хорошего оператора уже кое-что значит.

Юрий Сокол закончил ВГИК сравнительно недавно.



Но за его плечами уже несколько фильмов: «Зной» (режиссер А. Шепитько) и «Джура» (режиссер А. Бергункер), поставленные в Киргизии, и «Перекличка» (автор сценария и режиссер Д. Храбровицкий), снятая на «Таджикфильме». В анкете кинокритиков, проведенной составителями ежегодника «Экран-66», Юрий

На снимке: Юрий Сокол (в центре) на съемочной площадке.



Сокол, снявший «Переключку», был отмечен среди лучших операторов года. Простота, широта, сдержанность, даже суровость отличают операторский взгляд Сокола. В снятых им фильмах мы видим мир таким, каков он есть на самом деле...

— Поначалу такой вопрос: а не обидно ли быть в кино оператором, отдавать зрителям свое видение мира, а самому по долгу службы оставаться человеком-невидимкой, «растворившимся» в кадре? — обращаюсь я к Юрию Соколу.

— Действительно, в фильмах, где главное внимание авторов уделено действию, в так называемых сюжетных лентах, изобразительное решение картины вторично по отношению к фабульному ряду. Зритель, даже наиболее художественно подготовленный, следит за перипетиями, и если фильм смонтирован хорошо, в темпе, то времени у него в обрез. Его хватает только на восприятие чисто смысловой информации и не хватает на запоминание кадра. В кино мы не можем сказать: «Остановись, кадр!» — и погрузиться в его изучение. А ведь кадр, даже самый проходной, создается, пожалуй, с не меньшей продуманностью деталей композиции и освещения, нежели живописное полотно. А зритель «проглатывает» его, не особенно задумываясь, кто и как его создавал. Правда, наряду с фильмами актерскими (иногда даже сценарий пишется в расчете на определенного актера), фильмами музыкальными или «костюмными» (в них на первый план выходит работа художника) бывают и фильмы операторские. Например, «Неотправленное письмо», «Я — Куба». В этих картинах камера доминирует, заявляет о себе в кадре, властвует. Я очень люблю названные фильмы, преклоняюсь перед талантом Сергея Урусевского, но сам придерживаюсь иного принципа работы.

— Каков же ваш принцип работы?

— Пусть это звучит не слишком оригинально, но все свое профессиональное умение я подчиняю выявлению авторского замысла, идеи фильма, стремлюсь действительно «раствориться» в кадре, чтобы зритель, может быть, даже неосознанно уловив его изобразительный, формально-смысловой «потенциал», еще глубже и тоньше понял произведение в целом. Вот почему моя «невидимость» абсолютно меня не смущает.

— А ваше эстетическое кредо?

— Максимальная приближенность изображения к реальности, естественность и простота. Я не органикую какого-то экстраординарного кадра. Я обращаюсь в библиотеку своей зрительной памяти, вспоминаю, как это было (или могло быть) в жизни, и стараюсь максимально точно воспроизвести ту или иную сцену. Один из основных принципов моей работы — постоянное движение камеры, причем движение, в большинстве случаев незаметное зрителю. Я считаю для себя обязательным синхронизировать движение камеры и актера в кадре. Это сохраняет у зрителя столь необходимую в кинематографе иллюзию достоверности происходящего и дает актеру возможность целиком отдать роли, не раздваиваясь, не наблюдая за тем, чтобы остаться в заданном режиссером и оператором пространстве. Такой метод я начал применять в «Зное», совершенствовал его в «Джуре», а затем в «Переключке».

В стремлении добиться абсолютной жизненной достоверности кадра иногда приходится преодолевать немалые трудности. Таких трудностей было, к примеру, с избытком в моей последней работе. Во-первых,

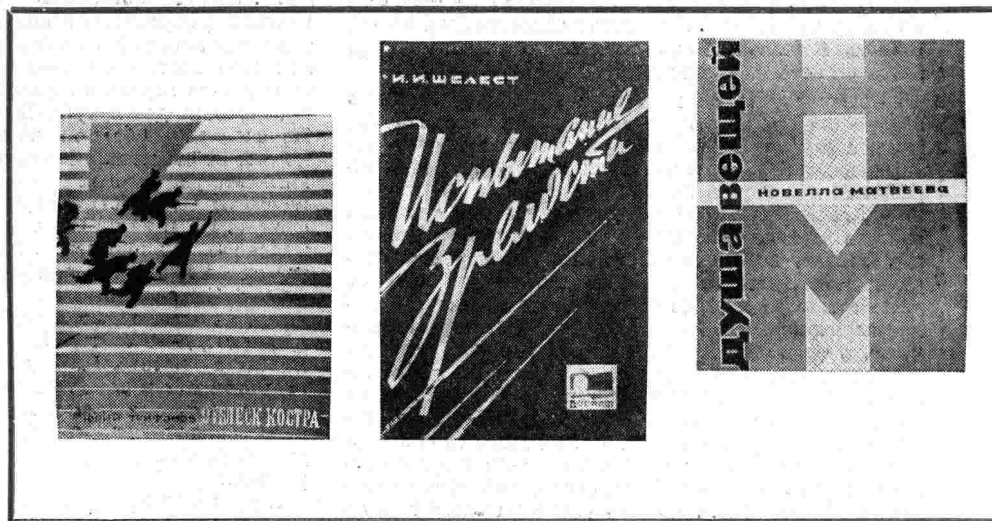
«Переключка» — это фильм о войне, которой я не помню. Личных зрительных воспоминаний — никаких. Пришлось обратиться к кинематографическому операторскому опыту. Я смотрел фильмы о войне, отмечал, как мне казалось, самые точные, правдивые, документальные кадры. Старался понять, как и чем эта правдивость достигнута. Была еще одна трудность. По сценарию большая часть действия происходит ночью. Война ночью. Можно было бы пойти по пути кинематографической организации ночи: прожекторы, подсветы, может быть, зарево. Это было бы даже эффектно. Но картина была задумана в документальной манере (нет, например, ни одной павильонной съемки), поэтому кинематографические эквиваленты не годились. Я стал «припоминать», что можно увидеть в военной ночи. Видимо, если нет пожара или не шарит прожектор, — темноту. Поэтому на экране у нас тоже была темнота. Но в каждой сцене — в начале, в середине или в конце ее (и таким образом соблюдалась световая динамика того или иного куска) — появлялось нечто излучающее свет и имевшее вполне достоверное оправдание: фары машины, взлетающая ракета...

С ракетами мы тоже намучились. Несмотря на то, что снимали мы на самых высокочувствительных пленках и обрабатывали их особым способом, все-таки невозможно было снять то, что видел глаз. Например, в фильме есть такая сцена. Танк остановился на лесной поляне. Время от времени его выхватывают из тьмы взлетающие ракеты, от ракеты по земле разбегаются тени, свет нарастает и гаснет, и танк снова погружается во мрак. Как это снять? Я замерял экспонометром: от настоящей ракеты бегущие тени снять невозможно — слишком мало света, пленка не возьмет. Тогда мы срубили мачтовую сосну, прикрепили к одному концу ее прожекторную десятикиловаттную лампу и перекинули сосну через два столба, наподобие колодезного журавля. Траектория движения лампы повторяла траекторию падающей ракеты. Интенсивность освещения (само приспособление, разумеется, не вошло в кадр) регулировалась на пульте. Нужный световой эффект был достигнут. А как снимать внутренность танка? Кабина слишком тесна — рассчитана только на трех человек. Камера там ни за что не уместится. Разрезать танк автогенном и, поставив камеру в двух-трех метрах, снимать, как снимают угол павильона? Но вдруг зритель почувствует подлог: ведь угол зрения будет иным, чем если бы камера находилась в кабине. Поэтому пришлось проделать в броне отверстия для объектива, и камера, заглядывая в кабину, буквально «одним глазом» рассказывала нам о том, что там происходит.

Может быть, стоило меньше стараться, меньше искать и придумывать? В конечном счете вряд ли кто из зрителей догадается, сколько сил и трудов потрачено на эти «бегущие» тени. Но я убежден, что зритель, пусть неосознанно, отметит у себя: это достоверно. И потом мы все работали так: Никита Михалков, Шавкат Газиев и Женя Стеблов, исполняющие главные роли, две недели пробыли в учебном батальоне, научились водить танк, стрелять, пользоваться передатчиком. Если, случалось, ломалась рация, мы не снимали, ждали, пока ее починят. Боялись: вдруг не то движение, неточное ощущение и — внутренняя ложь. А мы добивались правды.

Интервью вела  
Людвига ЗАКРЖЕВСКАЯ.

— М —



**К**нига Юрия Трифонова (изд-во «Советский писатель») называется «Отблеск костра». Костер — история. Костер — революция. Его отблеск на людях, их жизни, судьбе. А это не всегда одно и то же. Бывает, что судьба уже окончена, а жизнь все продолжается; бывает, что судьба длится гораздо дольше какой-либо человеческой жизни. Автор так и говорит: «Я пишу книгу не о жизни, а о судьбе». О судьбе своего отца, большевика-ленинца, члена Реввоенсовета. Уже это одно слово вводит нас в тот незабываемый, яростный и прекрасный мир первых лет революции, о которой в конечном счете эта книга.

В книге Ю. Трифонова есть пристальность, точность и ответственность суждений. Есть и страстность, без которой книга вообще не несла бы «отблеск костра».

Когда пишешь об отце, невольно остаешься сыном. И Трифонов делает все, чтобы сдержать в себе восхищение своим отцом. Он подчеркнуто объективен. А мы все-таки не можем не восхищаться его отцом и товарищами отца — солдатами революции.

Лариса СТОРОЖАКОВА

**В** последнее время почему-то стало считаться чуть ли не признаком хорошего тона в очерках, рассказах и книгах о летчиках — испытателях избегать таких слов, как «мужество», «героизм», «риск». Словно сговорившись, их авторы дружно

подчеркивают, что, дескать, это обыкновенные люди, да и профессия у них, в общем, тоже обыкновенная. Видимо, считается, что в противном случае будут оскорблены в лучших чувствах все остальные трудящиеся, которым не дано, как говорится в песне, «учить самолеты летать».

Но люди героической судьбы всегда справедливы привлекали и привлекают всеобщее внимание. Самый факт их существования не уязвляет наше самолюбие, а, наоборот, вызывает восхищение и гордость, их жизнь становится примером.

Да, наши летчики-испытатели — это герои, и будничной их работу можно считать только в том смысле, что она совершается действительно не по табельным праздникам, а каждодневно, на протяжении многих лет. Пона не дослужит ветеран-испытатель до положенного возраста или не оборвет его жизнь трагедия, как это случилось с Валерием Чкаловым, Григорием Бахчиванджи, Виктором Расторгуевым, Алексеем Гринчиком, Владимиром Нефедовым...

Настоящие люди и настоящее дело. В этом может убедиться каждый, кто раскроет книгу Игоря Шелеста «Испытание зрелости» (изд-во ДОСААФ). Пересказать ее невозможно, да и нет в том надобности. Ее автор впервые поднялся на планере в знаменитом крымском местечке Коктебель, где начинали многие наши летчики и конструкторы, составившие впоследствии славу советской авиации. Потом Шелест долгие и долгие годы испытывал самолеты. Вы-

сотные, скоростные, дальнего действия, легкие и тяжелые. Любые. Потому что летчик-испытатель первого класса по положению имеет право впервые отрывать от земли летательный аппарат любого типа.

Профессия вырабатывает в испытателе острую наблюдательность. Это качество присуще и каждому настоящему литератору. И оно очень чувствуется в книге Игоря Шелеста. Как многие летчики и моряки, он превосходный рассказчик: тонкий, внимательный, умный и... скромный. В этом рассказе — и сам автор, и его товарищи-испытатели, и дело, которому они служат.

Т. ГЛАДКОВ

**Ц**ветной, сказочный мир раскрывается в стихах Новеллы Матвеевой. «Хребты туманной Сьерры», таинственный «Пинг-Вин», «каравайчатые юрты в ржавой степи», «джунгли в бешеном расцвете у вздутой крокодилами реки», попугай, «как десять флагов, пущенных по ветру», — все это прекрасная Дельфиния. Та волшебная страна, которую можно найти, если откинуть холщовую занавеску с нарисованным очагом и отомкнуть золотым ключиком дверь.

Наивная простота песен Н. Матвеевой сродни мелодиям уличных певцов. Это вовсе не поза, когда она мечтает «шарманку обновить, шарманщика вернуть». Н. Матвеева не боится сентиментальности, если она рождена искренним «сча-

стьем и печалью». Не боится, что многое в ее стихах кажется читателю как будто слышанным и знакомым. В ее экзотических мотивах — откровенная песенная условность, декоративность. Она так же свободно использует романтический реквизит, как, например, Павел Коган в «Бригантине». Но эти традиционные образы приобретают удивительное свойство: они звучат словно отголосок давних, детских мечтаний. Как в детстве, все привычное и будничное преобразуется, «странной яркостью и сказкой дышит быт». Мы вступаем в «волшебное общение с вещами». И раскрывается «Душа вещей» (так и называется сборник стихов Н. Матвеевой, вышедший в изд-ве «Советский писатель»). Можно даже услышать их голоса:

Пели шлюпы с цветными бортами,  
Пели кольца безмолвного дыма,  
Как немые с закрытыми ртами,  
Пели бревна, плывущие мимо...

В наш век реактивных скоростей и космических расстояний, когда на земле исчезли длинные дороги, поэтический мир Н. Матвеевой может показаться старомодным. Она не торопится, но поэтому ей удается разглядеть так подробно, до мелочей многое в природе.

В этом «замедленном» взгляде, не пропускающем подробностей, в доверии к детской мечте — та чуткая человечность, которую мы сегодня так научились ценить.

Н. МИРОВА



**М**ихаил Демин долгое время провел в Сибири, переменил множество профессий, побывал на Севере и Дальнем Востоке. Для его прозы характерны документальная точность, драматический сюжет, приподнятое, романтическое настроение.

В книге «Мирская тропа» (изд-во «Советский писатель») Демин пишет о местах, которые он хорошо знает. О молодых (и не очень молодых) людях, которые живут и работают вдали от благоустроенных городов, в «непроходимых дебрях» тайги. Может быть, именно поэтому их постоянное ощущение заключается в «предчувствии мира, исполненного страстей и раздумий».

В книге есть образ тайги — «древней, смутной, полной преданий и меркнувшей тьмы», изобилующей потайными раскольными тропами, тайги, враждебной человеку, «разделяющей миры». Именно эту тайгу «сокрушают» герои М. Демина. Среди них есть люди с тяжелым прошлым — бывшие заключенные, есть «золотискатели», очарованные книгами о Клондайке, есть даже потомок неряжков, юноша, запомнивший слышанные в детстве хмельные и вольные чалдонские песни и страшные рассказы о фанатиках — староверах...

Своих героев — грубых, нескладных, никогда не кончавших десятилеток и вузов, подчас ожесточенных и мятежных, всегда борющихся и рискованных жизнью, — Демин описывает с подлинной нежностью. Он не скрывает: первопроехавший, одолевший стихию, должен породниться с нею, стать

частью этой стихии, может быть, потому, что иначе ее не одолеть. «Вербованные» еще сами во многом следуют беспощадному «закону тайги». Однако писателю они дороги тем, что их работа не только преобразование природы, но и преобразование собственной личности.

В семи новеллах «Мирской тропы» сменяются как бы три эпохи. «Вербованные», одолевшие стихию, достраивают совхоз и электростанцию и растекаются по свету. Некоторые из них остаются и встречаются представителей новой эпохи тайги — демобилизованных солдат и комсомольцев, приехавших по путевкам обживать места, вскорчеванные руками их старших товарищей.

Н. КАЙДАЛОВА

**В**ас интересует, как за два послевоенных десятилетия Страна Восходящего Солнца встала в ряды самых сильных в мире индустриальных держав? Известно ли вам, что «владычица морей» Англия еще десять лет назад уступила Японии первенство в судостроении? Что промышленная Япония претендует на третье место в мире после США и СССР?

Война, казалось бы, ничего не пощадившая в Японии, разорившая мелких предпринимателей, крупным лишь расчистила место. Одни получили тысячекратную прибыль, другие же...

Вот признание одной из крупнейших японских газет: «Средний японец обеспечен сейчас электротехникой лучше, чем одеждой; одеждой — луч-

ше, чем едой; едой — лучше, чем жильем».

Удивительная это страна: легкие, «игрушечные» домики без элементарных городских удобств, но зато с телевизором; миниатюрные радиоприемники и столь же миниатюрные земельные наделы — надежда и оковы крестьянской семьи. А вот эта черта нам знакома: в метро, несмотря на давку, многие читают книги. Вообще страсть к чтению здесь велика. Япония по количеству выпускаемых книг уступает лишь нашей стране и Англии. Причем «переложения» классики для «карманных» изданий, как это делается в США, у японцев не в почете. Возможно, это происходит потому, что они в любом возрасте любознательны, а широта их интересов чаще всего так же бескорыстна, как и любовь к прекращению.

Япония — географически близкая нам страна. А много ли мы знаем о своем соседе?

«Пятьдесят три станции Токайдо» — так называется книга В. Овчинникова (изд-во «Молодая гвардия»), открывающая перед читателем малоизвестный, «загадочный» мир японского народа. Ее страницы расскажут вам о студентах, которые терпят огромные лишения ради университетского образования (есть в жизни ценности, большие, чем деньги), о ста тысячах хибакуса — людях, переживших в Хиросиме взрыв атомной бомбы и измеряющих свой век не годами, а метрами — расстоянием от эпицентра взрыва. Вам будет интересно узнать о национальном характере японцев, их пристрастиях и обычаях: «У соседа могут быть

свои взгляды, привычки, но, чтобы ужиться с ним, надо знать его характер».

Поэтому пусть дверь к соседу будет раскрыта пошире!»

Т. БОБРЫНИНА

**С**подвижник В. Маяковского по борьбе за социалистическое искусство...

Драматург, вещи которого ставили В. Мейерхольд и С. Эйзенштейн...

Автор, чьи пьесы в 20—30-х годах шли в США, Японии, Германии, Польше, Австралии...

Человек, которого называл своим учителем Бертольт Брехт...

Поэт, прозаик, сценарист, журналист, лектор, яростно пропагандировавший революцию и новый мир...

Сергей Третьяков...

Издательство «Искусство» выпустило в свет сборник драматических произведений С. Третьякова. В книгу, помимо трех пьес, включены воспоминания их автора о Мейерхольде, ряд театроведческих заметок, а также воспоминания М. Штрауха о Третьякове и статьи А. Февральского и В. Ростоцкого, раскрывающие значение его драматургии.

Драмы, создававшиеся как непосредственный отклик на злобу дня, пьесы-агитки (в буквальном смысле этого слова) пережили свое время. Книга пьес Третьякова и сегодня спрашивает: «Слышишь, Москва?!» Она рисует картину острой классовой борьбы, показывает неодолимость коммунистических устремлений народа, славит молодость революции.

В. ПОЗДНЯКОВ



# НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

## СКОЛЬКО «ВЕСИТ» ЦИВИЛИЗАЦИЯ!

Этот вопрос отнюдь не столь страшен, как может показаться с первого взгляда. В самом деле, в своей жизни и деятельности человек взаимодействует с природой. Чем больше различных материалов — топлива, руд, нерудных ископаемых, древесины, различных сельскохозяйственных культур и прочего изымет он из дикой и недикой природы, поставит их себе на службу, тем более развитыми будут промышленность, сельское хозяйство, строительство, вся культура в целом.

В этой связи большое значение приобретает ответ на вопрос: сколько первичных сырых материалов втягивается в течение года в производственную деятельность людей?

Научный сотрудник Института географии Академии наук СССР И. В. Комар собрал интересные данные о динамике и структуре использования природных ресурсов в СССР.

В 1913 году общий вес всех видов топлива — угля, нефти, торфа, всех нерудных ископаемых, железных и марганцевых руд, всех сельскохозяйственных культур и заготовленной древесины — составил в нашей стране 781 миллион тонн, а в 1960 году добыча этих природных первичных материалов достигла уже 3 миллиардов 137,6 миллиона тонн!

В 1913 году на одного человека приходилось у нас около 5 тонн этих материалов, а в 1960 году «невидимый груз», который каждый из нас нес на своих плечах, достиг уже 14,3 тонны! В обозримом же будущем, по подсчетам специалистов, на каждого из нас будет добываться в среднем по

35—40 тонн природного сырья в год!

К этому нужно еще добавить несколько сот миллиардов тонн воды, которая втягивается в производство, поглощается сельским хозяйством, расходуется на коммунальные нужды.

Сколько «весит» цивилизация, нужно знать, чтобы правильно оценивать, во что обходится природе наша производственная деятельность, как восполнять и приумножать ее богатства, которыми мы так щедро пользуемся ежедневно.

## СЕДЬМОЕ ЧУДО БУДЕТ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Семь чудес славились в древнем мире: висячие сады Семирамиды; храм Артемиды в Эфесе, подожженный честолюбцем Геростратом; статуя Зевса, Олимпийского, изваянная великим Фидием; усыпальница царя Мавсола, варварски разрушенная крестоносцами; 120-метровый маяк на острове Фаросе; египетские пирамиды, разрушать которые устало даже время, и 40-метровое изваяние бога солнца Гелиоса, известное под названием Колосс Родосский.

Гигантская скульптура просуществовала всего 56 лет. Во время землетрясения в 222 году до н. э. Колосс превратился в груду обломков.

Чтобы привлечь туристов, власти острова Родоса недавно решили восстановить в своей гавани статую Гелиоса. Новый Колосс Родосский будет сделан не из мрамора, а из алюминия. Весьма печально, однако, что внутри головы бога будет размещен... пивной бар.

## ЯИЧНИЦА С ВИТАМИНАМИ B<sub>12</sub>

Долгое время после своего открытия витамин B<sub>12</sub> был одним из самых редких лекарств, пока не нашли несколько способов массового производства этого эликсира здоровья, который самым благотворным образом активизирует в организме многие биохимические процессы.

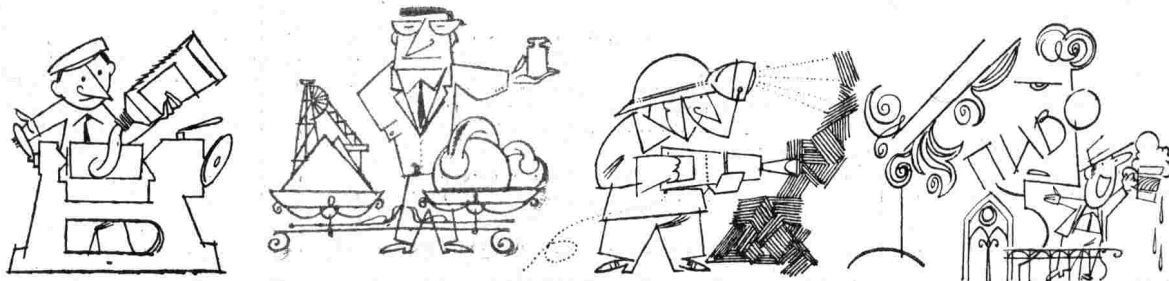
Украинские ученые попробовали добавлять новый витамин, переставший быть дефицитным, в корм домашним животным. Они стали быстрее расти, в их мясе увеличилось количество ценных белков, улучшились вкусовые качества мяса. Ученые сейчас внедряют в практику очень простую технологию биохимического получения ценного витамина, которую может освоить любой колхоз.

Интересно отметить, что куры, получающие витаминную подкормку, несут яйца, в которых витамина B<sub>12</sub> в два с половиной раза больше, чем в обычных.

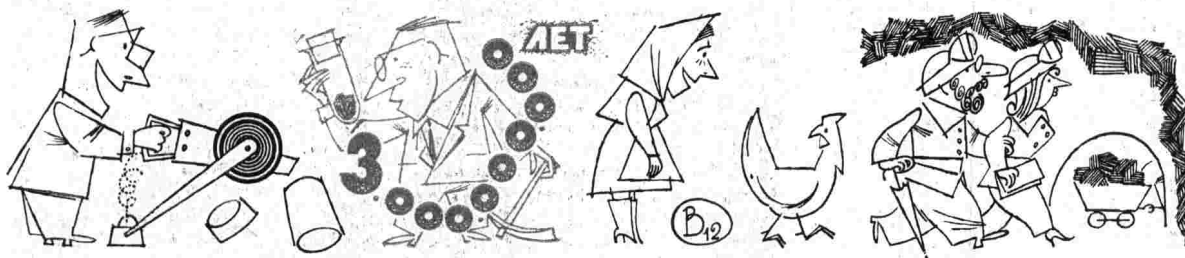
## АЛМАЗЫ В ТЮБИКАХ

Если ответственную деталь прибора или штампа нужно обработать с точностью до тысячных долей миллиметра или довести ее поверхность до зеркального блеска, то лучше всего с этой работой справляется алмазный порошок, смешанный с оливковым маслом, причем в три-четыре раза быстрее, чем любой другой материал. Шлифовка полупроводниковых приборов раньше длилась неделями, теперь — несколько часов.

Ученые Центрального научно-исследовательского института топливной аппаратуры (ЦНИИТА) разработали составы специальных







паст на основе порошков из синтетических алмазов. Упаковываются они в такие же тюбики, как крем для бритья.

В одном кубическом миллиметре такой пасты насчитываются миллионы твердых кристалликов, их суммарная поверхность достигает огромной величины, что и обеспечивает высокие рабочие качества пасты.

Пастами можно обрабатывать самые различные твердые и хрупкие материалы: сплавы, кварц, рубины, сапфиры, германий, цирконий и т. д.

Алмазная шлифовка деталей моторов производит буквально чудо. За счет точности пригонки и притирки этих деталей жизнь, к примеру, моторов во много раз продлевается.

Остается добавить, что в наш век на изготовление ювелирных бриллиантов идет лишь пять процентов алмазов, а девяносто пять используется в промышленности.

#### ИЗОТОПЫ НА... ШЛЕМЕ

В некоторых шахтах опасны даже электрические лампочки, которые крепятся на шлемах горняков.

Оригинальную взрывобезопасную шахтерскую лампу изобрели будапештские инженеры. Она излучает так называемый «холодный свет». Источником питания этого достаточно яркого светильника служат радиоактивные изотопы. Микродозы изотопа помещены в капсулу, которая надежно защищает голову шахтера от воздействия излучений.

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАЛЯР

Научные сотрудники и студенты старейшего в нашей стране Тартуского университета разработали

оригинальную методику окраски различных изделий.

Принцип работы опытной установки, которую они построили, основан на использовании электростатического поля. Частицы распыляемой краски методом индукции заряжаются положительным зарядом. Окрашиваемое изделие заземляется. Таким образом, создается разность потенциалов. Мельчайшие частицы краски быстро притягиваются всей поверхностью изделия. В результате получается ровный и прочный слой окраски. Такого высокого качества нельзя достигнуть никаким другим способом. Новый способ весьма экономичен. Лишнего расхода краски не происходит, ибо заряженные частицы, не попавшие на изделие, полностью притягиваются специальным сборником, из которого затем они повторно распылятся для окрашивания следующего изделия.

Процесс окраски осуществляется на автоматизированном конвейере.

#### САМЫЕ СТАРЫЕ В МИРЕ БАКТЕРИИ

В кварцевых скалах Трансваальских гор обнаружены следы микроорганизмов, чей возраст ученые с помощью очень сложных методов исследования определили в... три миллиарда лет.

До сих пор самые старые следы биологической деятельности относились к давности, исчисляемой двумя миллиардами лет.

#### ШАХТА ДЛЯ ТУРИСТОВ

Единственной в мире шахтой, куда каждый день пускают туристов, является шахта «Забже» в Польше.

Польское туристско-краеведческое общество арендовало в этой

шахте штрек, откуда можно хорошо видеть все главные процессы добычи и транспортировки угля. Перед спуском под землю каждому туристу выдается спецодежда, фуражка с лампой и противогаз. Самые частые гости на этой шахте — школьники и студенты.

#### ПИЛА, КОТОРАЯ НЕ ПИЛИТ

Резать полупроводниковые материалы — одна из труднейших технических проблем. Во-первых, эти материалы хрупки, а во-вторых, они очень дороги, и резать их надо так, чтобы не было «опилок», то есть больших отходов.

Сейчас в Англии для этой цели применяется пила, которая режет полупроводниковые материалы, не касаясь их поверхности.

Действительно, диск пилы не касается заготовки. Он вращается со скоростью до 13 тысяч оборотов в минуту. Предварительно на него наносится раствор, содержащий микроскопические частицы абразивов. Срывающиеся с диска частицы и разрезают заготовку. Ширина разрезов измеряется сотыми долями миллиметра.

#### ВСЕЯДНЫЙ ВЕЛИКАН

В кабине французского грузовика «Т-100» свободно усаживаются в один ряд семь человек. Каждое его колесо имеет в диаметре почти три метра. Сам грузовик весит 60 тонн, а в кузове можно перевозить до 250 тонн груза.

Это, пожалуй, самый сильный в мире грузовик. Его мотор обладает мощностью в 700 лошадиных сил. Примечателен он и тем, что инженерам удалось сделать его «всеядным». Двигатель может работать на бензине, на дизельном топливе, на светильном газе и даже... на простой нефти.

# НОВОСТИ ОТОВСЮДУ



## ПАМЯТНИК НА МАРСОВОМ ПОЛЕ

**К**то из приезжавших в Ленинград не бывал на Марсовом поле? Не стоял в безмолвии у гранитных плит памятника Жертвам Революции?

Этот мемориальный архитектурный ансамбль, с которого ведет свое летосчисление советская архитектура, проникнут классической ясностью, возвышенной героикой и оптимизмом.

История памятника восходит к марту 1917 года, когда Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял решение соорудить на Марсовом поле некрополь героев, павших в борьбе за свержение самодержавия. 23 марта здесь состоялись похороны героев. Красные гробы были опущены в расположенные по четырехугольнику могилы, в центре было оставлено место для будущего монумента.

В апреле Общество архитекторов-художников Петрограда об-



«Не жертвы — герои лежат под этой могилкой...» («Памятник на Марсовом поле»). Из иллюстраций Саввы Бродского («Его звали «Овод»). Седьмой год живут умные крокодилы в квартире Б. К. Зоркова («Любовь к двум крокодилам»).

явило конкурс «Проектов убранства братской могилы на Марсовом поле на месте похорон жертв революции». Жюри конкурса, в которое наряду с архитекторами и художниками входили А. В. Луначарский, А. М. Горький, А. А. Блок, присудило первую премию проекту под девизом «Готовые камни» архитектора Льва Руднева. После Октября на Марсовом поле рядом с героями февральских боев были похоронены герои гражданской войны, и среди них в отдельных могилах — видные деятели Коммунистической партии: В. Володарский, С. М. Нахимсон, М. С. Урицкий и другие.

Осуществляя свой проект, Руднев создавал теперь памятник героям Февральской и Октябрьской революций. В 1918 году на восьми торцах памятника художником В. М. Конашевичем были начертаны эпитафии, автором которых был А. В. Луначарский. Эти вдохновенные оды героям Луначарский симпровизировал — в течение получаса! — на завершающем обсуждении памятника, и затем без всяких исправлений текст был высечен на граните:

● К сонму великих, ушедших от жизни во имя жизни расцвета, героев восстаний разных времен, к толпам яковинцев, борцов 48, к толпам коммунаров ныне прикнули сыны Петербурга.

● Не жертвы — герои лежат под этой могилой, не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно.

● По воле тиранов друг друга терзали народы. Ты встал, трудовой Петербург, и первый начал войну всех угнетенных против всех угнетателей, чтобы тем убить самое семя войны.

● Против богатства, власти и знания для горсти вы войну повели и с честью пали за то, чтоб богатство, власть и познание стали бы жребием общим.

● Со дна угнетения, нужды и невежества поднялся ты, пролетарий, себе добывая свободу и счастье; все человечество ты осчастливишь и вырвешь из рабства.

● 1917—1918 вписали в анналы России великую славу — скорбные светлые годы. Посев ваш жатвой созреет для всех населяющих землю.

● Не зная имен всех героев борьбы за свободу, что кровь свою отдали, род человеческий чтит безыменных; всем им в па-

мять и честь этот камень на долгие годы поставлен.

● Бессмертен павший за великое дело. В народе жив вечно, кто для народа жизнь положил, трудился, боролся и умер за общее благо.

К Октябрьским торжествам 1919 года памятник был завершен.

19 июля 1920 года склонить головы перед прахом героев-революционеров пришли делегаты II конгресса Коминтерна во главе с Владимиром Ильичем Лениным.

А в 1925 году были закончены начатые на грандиозном субботнике 1 мая 1920 года работы по разбивке на Марсовом поле парка. Работами руководил академик архитектуры И. А. Фомин. И, наконец, в 1957 году, в 40-летие Великого Октября, в центре ансамбля был зажжен неугасимый огонь. Памятник Жертвам Революции—

это новый архитектурный язык и новое архитектурное мышление, отвечавшие идейным, этическим и эстетическим устремлениям нового, социалистического общества. Недаром творению Л. В. Руднева так созвучны лучшие последующие произведения советского зодчества — такие, как Мавзолей на Красной площади, Днепрогэс, советский павильон на Всемирной выставке в Париже 1937 года и другие. Знаменательно также, что мемориальный ансамбль на Марсовом поле не только не нарушил окружающий его величественный архитектурный ансамбль, созданный славными петербургскими зодчими, но и органично вписался в него.

Памятник Жертвам Революции — яркий пример осуществления ленинской идеи «монументальной пропаганды».

И. МАРИЕНБАХ

## ЕГО ЗВАЛИ ОВОД

**В**ремя меняет условия, в которых взрослеет каждое поколение. Но по-прежнему перед юными возникает необходимость выбора пути, по которому они пойдут к истине. Правда, в юности нам часто кажется — именно кажется, — что мы абсолютно единственны в своих переживаниях, что нет и не было на свете родственной души, близость к которой укрепила бы разум, обогатила бы вспышку страсти. В такие минуты — а у кого их не было, тот не жил и не чувствовал — мы подходим к книжной полке. К верным и испытанным друзьям — книгам.

Пусть среди них появится новая. Она называется «Овод». Да, да, новая, выпущенная недавно издательством «Молодая гвардия». Дело в том, что к этой книге прикоснулась рука художника, выведя действующих лиц из словесных орнаментов в мир линий, в пространство иллюстраций. И голоса их стали слышнее, потому что художник Савва Бродский стремился проникнуть в суть иллюзий и открытий, мужества и гуманизма героев романа.

Юный Артур, мечтательно-восторженный юноша, пылко и искренне жаждет участвовать в деле освобождения Италии от иноземного гнета. «Ты ведь даже не итальянец», — урезонивает его каноник Монтанелли. «Это ничего не

значит. Я остаюсь самим собой», — гордо и порывисто возражает Артур. Но вскоре события прозаической и жестокой действительности доказывают ему, что доверие и любовь к человечеству не могут быть детски наивными, что «быть самим собой» — дело ответственное и серьезное, означающее постоянную работу мысли, напряжение всех духовных сил.

Мучительно постигнув это, Артур становится человеком. В ироничном и саркастичном журналисте Оводе, в грозном и решительном революционере Феличе Риваресе живет и действует земной человек, прекрасный многогранностью гуманистических качеств.

Овод противостоит жестокому максимализму «бунтарей», делающих насилие единственным способом преобразования мира. Овод счастлив тем, что различает все краски и оттенки земного бытия. Поэтому Феличе Риварес не просто разрушитель. Он освободитель. Он в равной мере борется за себя и за других, жертвуя собой для того, чтобы продлить возможность счастья для ближнего.

Стиль иллюстраций и оформления Саввы Бродского строг и изыскан. В нем нет поверхностных всполохов страстей. Художник сдержан в выражении эмоций, приближаясь к светлой, возвышен-



ной и величавой мелодии даже тогда, когда, казалось, приходит время для грома литавр и барабана. Графическая манера художника близка слогу Этель Лилиан Войнич. В его работе воплощена и чистота юности и — в чем-то действительная, истинная — трагедия кардинала Монтанелли. Строго, не впадая в сентиментальность, художник прослеживает в графических образах судьбу Джеммы.

Савва Бродский, как книжный иллюстратор и оформитель, по природе своего отношения к искусству — полифонист. В каждой большой иллюстрации, занимающей книжный разворот, он изображает обычно две человеческие фигуры, детали архитектуры, фрагменты пейзажа. Создается впечатление музыкального многоголосия. И каждая тема, почти не прерываясь, переходит на новый разворот, в новую иллюстрацию.

Скупым рисунком, светотенью воссоздает Савва Бродский облики героев. Они несут в себе переживания, думы, мечты, а не демонстрируют их присутствие, как муляжи в витринах магазина.

Художник четко использует выразительные возможности силуэта. Он точен, «кинематографичен» в жестях. В сопоставлениях черного и белого на страницах иллюстраций есть та мера, которая позволяет взгляду сосредоточиваться на изображении, «проникать» в его внутренние ритмы.

«Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой», — говорит в начале повествования Артур. И мы видим, как, изменяясь на протяжении всего действия физически, он все более и более приближается к той истине, которую, будучи юношей, интуитивно ощущал и к которой нашел силы идти, несмотря ни на что. И он побеждает своих врагов, когда пишет в предсмертной записке о любви, когда подписывает эту записку строчками милой песенки-шутки, когда завещает друзьям порадоваться вместе с ним за все, что он успел свершить: «Свою долю работы я выполнил, а смертный приговор — лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно. Меня убивают потому, что я внушаю страх...»

Жизнь литературного героя может пресечься на страницах романа, но продолжится в памяти и чувствах читателя. Графика Саввы Бродского сделала жизнь Овода музыкой линий, контрастов, аккордами силуэтов. Раскройте новое издание книги Войнич, чтобы услышать ее. Это музыка революции.

Иван КУПЦОВ

## ЛЮБОВЬ К ДВУМ КРОКОДИЛАМ

**У** крокодилов, как известно, натура сложная.

— Первое время, попав в незнакомую обстановку, они всюду видели для себя опасность. И оборонялись. Норовили ударить хвостом, тяжелым, как меч, схватить своими острыми зубами, — вспоминает Зорков.

Мы стоим над глубокой металлической ванной, где головами в разные стороны лежат два «потомка древних ящеров». Абсолютно неподвижные. И снова мелькает сомнение: может быть, это всего-навсего чучела? До сих пор так трудно поверить, что история «про крокодилов, которые живут в квартире», — правда...

— Спят. Ведь у них кровь холодная, а сейчас зима.

И Зорков тихо зовет:

— Анго! Чанго!

«Фрр-чишшш» — это лай и шипение одновременно.

Лениво раскрывается выпуклый глаз одного из аллигаторов: замечены чужие! И вот уже две розовые пасти обращены к нам — в улыбку?

— Я здесь, Анго! Я с тобой, Чанго! — Зорков приветливо треплет крокодилов по их остекленевшим серо-зеленым спинам.

Итак, крокодилы в квартире... Но почему все-таки в квартире Бориса Константиновича Зоркова?

— Никто не любит крокодилов... Брэм утверждал, что мозг крокодилов так же мал, как мозг птиц. Тупоумны. К тому же злоблывы... Приручить вкусовыми поощрениями невозможно: крокодилы долгое время могут обходиться без пищи. Дрессировке не поддаются. В общем, сплошь дурные черты. Ну, а мне хотелось доказать, что и крокодила приручить можно...

Всю долгую свою жизнь Зорков посвятил цирку. Всем запахам на свете он еще с детства предпочитает запах мокрых опилок. Он много работал со зверями. Был среди его подопечных и крокодил. На стене его комнаты висит афиша 1929 года: «Демонстрируется прирученный аллигатор Вторик. Пойман на реке Миссисипи. Рост — 4 фута, возраст — 28 лет. Его жизнь и характер — в освещении Б. Зоркова».

Вторик давно погиб: в гастрольной поездке неосторожно бросили контейнер с клеткой, — но, выйдя на пенсию, Борис Константинович стал мечтать о новом питомце из крокодильного семейства, стал откладывать деньги на его покупку.

Анго и Чанго, купленные в Московском зооцентре, добирались в Куйбышев самолетом. Зорков не выпустил из рук веревки, которой был крепко перевязан длинный зеленый ящик. Но хладнокровные Анго и Чанго вели себя настолько спокойно, что никто из пассажиров так и не узнал о присутствии аллигаторов на борту.

Они стали проявлять свой хищный нрав, когда Зорков перекачивал их из ванны на пол и когда давал пищу... Но хозяин их не наказывал. Аллигаторы хотели есть — для них приносилась свежая рыба. Они хотели купаться — ванна наполнялась подогретой заранее водой. Летом они свободно ходят по двору, где для них вырыт бассейн.

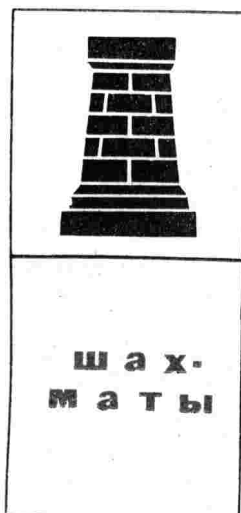
— Ласка! Вы представить себе не можете, что может сделать даже с неразумным крокодилом ласка!

Мы все-таки представили, потому что к концу разговора Борис Константинович растолкал своих неповоротливых воспитанников. Мы видели дрессированных крокодилов! Семец Анго величаво лежал на тумбе, держа в зубах палку, через которую прыгала собачка Румба. Так же терпеливо аллигатор позволял Румбе делать на своей спине различные стойки. А самка Чанго услужливо держала на носу кусок сахара — опять же для Румбы. Борис Константинович спокойно кладет руку в разинутую пасть аллигатора. Нет, теперь абсолютно без всякого риска. Летом он вывозил своих крокодилов на Волгу, где они снимались в кино.

Седьмой год живут умные крокодилы — им, кстати, по 40 лет — в квартире Зоркова. На радость внукам Бориса Константиновича, на радость всем соседским ребятам, которые охотно ловят для Анго и Чанго рыбу.

Л. ГРАФОВА





Михаил  
Таль



## В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА

**Э**кс-чемпион мира, дважды чемпион страны — самый молодой участник первенства страны... Парадокс? Да, и довольно грустный. А между тем два года тому назад, на Киевском чемпионате, я находился именно в таком положении. Правда, обычно самым молодым у нас называют экс-чемпиона мира (среди юношей!) Бориса Спасского, который родился на несколько месяцев позже, чем я. Но так или иначе, самыми молодыми мы были и десять лет назад.

Да, представьте, самый молодой гроссмейстер нашей страны лет на семь старше самого сильного гроссмейстера Запада. Разница в годах, согласитесь, немалая. Сейчас, когда Спасскому тридцать, а Фишеру двадцать три, эта разница не очень заметна. Но когда Фишеру будет тридцать?..

И вот что волнует меня и, конечно, многих. Двенадцать лет назад Спасский очень легко стал чемпионом мира среди юношей. Но с тех пор это звание нам недоступно. Настолько недоступно, что второе-третье место мастера Тукмакова на последнем первенстве мира среди юношей в Барселоне было расценено как определенный успех...

Почему же со времени Спасского у нас не появилось ни одного юного шахматиста, сколько-нибудь похожего на него по классу игры? Почему нашу студенческую команду, которая до 1959 года с легкостью завоевывала первенство

мира, вдруг стало лихорадить? Так лихорадить, что с первого места она скатывалась временами даже на четвертое и лишь в последние годы восстанавливала свое доброе имя? Почему? Почему?

Чтобы моя статья не носила слишком уж мрачного характера, начну с ответа на последнее «почему», так как у студентов, как уже сказано, дела заметно поправились.

До пятидесят девятого года ядро сборной команды советских студентов составляли звезды первой величины — Корчной, Спасский, Полугаевский, уже тогда входившие в число сильнейших шахматистов страны. Имея таких, ну, что ли, «забойщиков», можно было смело рассчитывать на успех.

Все уже начали привыкать к тому, что очередная поездка наших студентов на первенство мира — это очередная прогулка за золотыми медалями. Но когда закончился студенческий чемпионат в Болгарии, руководитель нашей команды гроссмейстер Бондаревский на приеме в Центральном совете спортивного союза грустно резюмировал:

— Да, все хорошо, снова первое место, снова победа, но Спасский в этом году заканчивает университет, а Таль его уже закончил.

В ответ на замечание Бондаревского последовала оптимистическая реплика:

— Ну что вы, ничего страшного, они в другой институт поступят...

Получилось так, что мы со Спасским, однако, не поступили в другой институт, по одному диплому — филолога и журналиста — нас вполне устраивало. И отсутствие лидеров сразу почувствовалось: следующие три-четыре года приносили нашим студентам-шахматистам много неприятностей.

Командное первенство мира среди студентов проводится по статуту шахматных олимпиад: команда состоит из шести человек — четверо основных и двое запасных. Но если в олимпийской команде такого деления нет, все члены команды фактически несут примерно одинаковую нагрузку, то, например, в Варне мы с Борей Спасским сыграли 19 партий из 20.

Сейчас наша сборная комплектуется по несколько другому принципу. Вся шестерка приблизительно равноценна, и уже третий год подряд наши студенты уверенно выигрывают командное первенство мира. А такие шахматисты, как В. Савон, Г. Ходос, А. Капенгут, В. Тукмаков, уверенно чувствуют себя и в более взрослой компании. Вообще за последние годы появилась большая группа молодых и очень способных ребят. За последние годы...

Да, получилось так, что после Спасского лет пять просто не было ни одного по-настоящему одаренного шахматиста, и этому найти причины нелегко. Конечно, сыграло роль и то обстоятельство, что ребята сорок первого — сорок чет-

вертого годов рождения росли в особых условиях, не очень благоприятствовавших шахматным занятиям. Я имел возможность убедиться в этом сам, когда в пятьдесят восьмом году, на последнем курсе филологического факультета, проходил педагогическую практику в школе. В моем ведении были шестой, восьмой и девятый классы. Уже после первых уроков мне стало ясно, что двенадцатинадцатилетние заметно выигрывали в сравнении со своими старшими товарищами. Они могли легко прослушать сорокапятиминутный рассказ преподавателя, в то время как на лицах восьмиклассников уже после пятнадцати — двадцати минут появлялось выражение не только скуки (это можно было бы отнести за счет учителя), но и усталости...

Помимо объективных причин, сказались и то, что популярность шахмат в конце пятидесятих годов заметно снизилась, и это нужно отнести прежде всего в пассив руководства физкультурных организаций. Зачем, в самом деле, искать новые дарования, зачем возиться с молодежью, когда у нас есть совсем еще не старые Ботвинник, Смыслов, Керес, когда у нас в самом деле есть соку Геллер, Тайманов, Петросян, когда растут Корчной, Полугаевский, Спасский?

В ту пору в какой-то степени победил взгляд на шахматы как на в общем-то малосерьезное занятие. Это спало и рядом заметно и сейчас. Часто гроссмейстеру на лекции задается стереотипный вопрос:

— Скажите, пожалуйста, а кем вы работаете?

И ответ «работаю гроссмейстером» в лучшем случае вызывает снисходительную улыбку.

Можно только пожалеть, что не все еще видят в шахматах искусство. Если бы о шахматистах, именно о шахматистах — не о докторе технических наук Ботвиннике, а о лидере советских шахмат Ботвиннике, не о пианисте Тайманове, занимающемся шахматами, а о гроссмейстере Тайманове, прекрасно играющем на рояле, не о баритоне Смыслове, а о гроссмейстере Смыслове — писали больше и, не скрою, уважительнее, то шахматы много приобрели бы в популярности и гораздо больше ребят с удовольствием отдавало бы им свой досуг (опять же прошу не смешивать: шахматы не вместо учебы, а вместе с учебой). И, возможно, кризис наших юношеских шахмат, кризис с нашей сменой (конечно, неудобно и Спасскому и мне сейчас всерьез

говорить о смене, надеюсь, что мы не один год еще поиграем в шахматы, но не считите за нескромность, мы с ним уже по меньшей мере ветераны) был бы преодолен значительно раньше и значительно безболезненнее.

И если все-таки у нас появляются способные ребята, то это прежде всего благодаря громадной популярности шахмат и большому числу безгранично преданных шахматному искусству педагогов. Как бы то ни было, но длительный неурожай сменялся благодатной шахматной погодой, давшей такие всходы, как наши юные мастера Балашов, Купрейчик, Штейнберг, Карпов, Георгадзе. Сейчас у нас уже двенадцать юных шахматистов носят значок мастера спорта СССР.

Они все очень способные и очень разные. Не по годам рассудительный Балашов и порывистый Георгадзе, маленький «Капабланка» Карпов и почти взрослый 14-летний Штейнберг. Очень хорошие ребята. Каждый из них может стать чемпионом мира среди юношей, но станет ли?

Чтобы ответить на этот вопрос, опять сделаем небольшой исторический экскурс. Играл ли Спасский в 1955 году сильнее каждого из юношей образца 1967 года? Пожалуй, да. Спасский был сильнее. Но ненамного. И тем не менее он очень легко стал чемпионом мира. Правда, тогда зарубежные шахматисты заметно отставали по классу от наших ребят. Но была и другая причина. Причина, на мой взгляд, очень существенная.

В чемпионате мира 1955 года Спасский в свои 18 лет был уже не мальчиком, но мужем. За его плечами было участие в сильном по составу первенстве Советского Союза, где он добился большого успеха, выйдя в межзональный турнир. За его плечами было участие в международном турнире в Бухаресте, где он выполнил норму международного мастера (в 16 лет). Вспоминаю, как победитель этого турнира Толуш рассказывал, что, поскольку у Спасского к моменту турнира не было паспорта, Борю приписали к тренеру, и они пользовались «общим документом».

Короче говоря, к моменту первенства мира Спасский был не только сильнейшим среди его участников, но и наиболее закаленным в турнирных боях.

С тех пор наши юноши, добивавшиеся наибольших успехов на всесоюзных соревнованиях, как правило, варились в собственном соку. Первым международным выступлением нашего юного шах-

матиста зачастую было... первенство мира!..

Все, кто выступал на международных соревнованиях, все, кто садился играть первую партию в жизни, видя рядом с собой на столе наш красный флажок, знают, как это волнует. Но одно дело — творческое волнение и совсем другое дело — так называемый «мандраж».

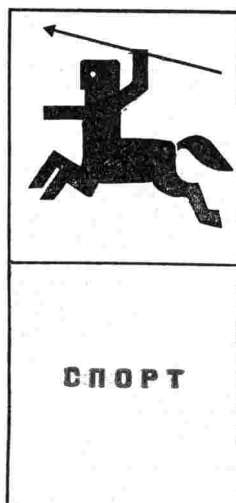
Так вот в моменты решающих встреч ребята подчас забывали все, что они знали, все, чему их научили заботливые тренеры: и о принципе развития сил в дебюте, и о роли центральных полей в середине игры, и об активной роли короля в окончании. Все это отступало на задний план. А на первый выступали нервы. Чем это кончалось, мы уже знаем...

Смелее, чаще нужно «обкатывать» наших самых способных ребят! И пусть в первых соревнованиях не все идет гладко, пусть. Потом накопленный опыт с лихвой компенсирует первые неудачи. Возьмем, к примеру, Балашова. Его международный дебют в Голландии был для четырнадцатилетнего мальчика отличным, но для советского мастера, скажем прямо, средним. Его второе выступление на побочном турнире в Гастингсе было просто хорошим, уже без скидок на возраст.

Прошел еще год, и Юра Балашов, выступая в одном турнире с Ботвинником, оказывается в группе победителей. Его еще более юные друзья одерживают в это время сенсационные победы: Миша Штейнберг — в Голландии, Толя Карпов — в Чехословакии.

Впереди еще несколько месяцев подготовки к очередному первенству мира среди юношей. И у нас есть кому выиграть это первенство. Не исключено, что чемпионом мира станет Юра Балашов, а может быть, Толя Карпов или Миша Штейнберг, а может быть, кто-нибудь еще. В значительной мере ответить на этот вопрос поможет заканчивающийся в апреле отборочный турнир сильнейших юных шахматистов страны.

Но, честно признаюсь, твердой уверенности, что уже очередное первенство мира закончится победой нашего юноши, у меня все же нет. И в этом одна из причин, побудившая меня взяться за перо. Может быть, мне не хватает оптимизма? Хочу, чтоб это было так, хотя я всегда отличался именно избытком оптимизма. Что поделаешь, годы идут, хотя я (после Спасского и Либержона!) все еще самый молодой гроссмейстер в стране...



# ВОЖЖИ В РУКАХ

(Из жизни замечательных лошадей)



**В**ожжи в руках, — только и услышал я от опытного наездника, когда добивался, почему лошадь, на которой еду я, идет боком, а у него — на каком ходу!

Я тогда начинал ездить и делал ошибки простейшие. Наездник мог бы объяснить подробнее, указать приемы. Он же ответил «авансом», сразу сказал о сути, о главном секрете. Позднее приемы стали мне известны. По отдельности я узнал про лошадей и езду едва ли не все, однако нечто целое, завершающее, неуловимая магия мастерства по-прежнему не давалась мне, и, терпя неудачи, я твердил про себя те же слова.

«Вожжи в руках» — вот таинство: садится один, и лошадь, чувствуя «руки», идет, как часы (говорят: «ноги не сменит»), а у другого — никак.

Моя беда заключалась и в том, что я старался постичь навыки езды слишком филологически (по основной своей специальности), через слова. Как называется, что это такое? — без этого я не способен был двинуться. И находились наездники, тренеры, которые терпеливо втолковывали, что и как. С умением, вообще характерным для лошадиников, они говорили картинно, что называется, по охоте. Особое владение хлыстом, посыл, сборка, понимание пейса (резвост), величие бывших мастеров — все это сверкало в их устах, и у меня перед глазами, однако, неизбежно вставала грань, за которой объяснения бессильны: «Вожжи в руках!»

Но мне повезло хотя бы уже в том, что я слышал знаменитых ма-

стеров, ездил с ними. Так, довелось мне помогать наезднику Александру Федоровичу Шельцыну в тренинге всесоюзного рекордиста Бравого. Бравый был знаменит сам по себе. Сверх всего он приходился родственником, собственно внучатым племянником, великому Крепышу.

Крепыш, основная дореволюционная знаменитость в конном спорте, от рождения был нескладный, узкий, цибатый, то есть негармонично подтянутый кверху на ногах. И вот сложилась, выросла с годами и тренингом из этого, так сказать, «гадкого жеребенка» выдающаяся лошадь, составившая целую эпоху в коневодстве. Крепыша и называли «лошадь столетия». Тогда, к 1910—1912 годам, вообще наступила пора расцвета рысистого спорта.

Были и другие беговые знаменитости, но Крепыш!.. Одно слово — «эпоха». В нем не просто содержались качества выдающегося ипподромного бойца — скажем, резвость, выносливость или сердце, — а была в нем какая-то одухотворенность.

Тоже, как Крепыш, серый и большой, Бравый — выражаясь и п и ч е с к и (иначе — по-лошадиному) был необычайно крупен и породен.

Мы с Шельцыным везли Бравого в Одессу, где лошади — у моря — бегут обычно на несколько секунд резвее, чем, скажем, в Москве. Кроме того, Одесский ипподром имеет дорожку с более длинными прямыми, что также дает выигрыш в резвости. Бравый имел рекорд на 1600 метров — две минуты семь секунд, и желательно бы-

ло, чтобы в Одессе он секунды три-четыре скинул.

Мы тянулись херсонскими степями в товарном вагоне с надписью «Живность». Была жара. Дверь мы держали открытой. Александр Федорович, сидя на кипе сена, читал стихи про лошадей.

Есть специальные, старинные «лошадиные» стихи:

Как-то раз перед ездой,  
В злой приди задор,  
Рысани между собою  
Учинили спор...

В этих стихах призовые рысаки обсуждают друг друга. Задели Слабость; а Слабости удалось однажды побить Крепыша. В тот день Крепышу пришлось бежать дважды — на рекорд и во Всероссийском Дерби. Напряжение сказалось, и на финише Слабость, лошадь средняя, обвела серого великана. Естественно, что память об этом заключала для нее все самое героическое и счастливое в ее жизни. Когда очередь дошла до Слабости, Шельцын весь проникся



ее восторгом, с каким рассказывала она о схватке с великим героем: «Не забуду я до смерти...»

Поезд временами двигался так медленно, что можно было шагать рядом с вагоном. Бравый томился и вдруг начинал стучать в подтяжелым копытом. Шельцын понимал его и старался чем-нибудь отвлечь. Мы растирали ему плечи, бинтовали сухожилия. На разъездах возле нашего вагона собиралась толпа. Ее начинал, как правило, обходчик, который торопливо бил длинным молотком по колесам, и неожиданно стук копыт заставлял его поднять голову. Он останавливался, пораженный великолепием зрелища.

Так открывается взору в первый раз Эльбрус.

Бравый смотрел свысока на обраченные к нему лица. Все в нем восхищалось:

— И ноги, и ноги забинтованы!

Шельцын с воодушевлением миссионера, обращающего неверных, вещал из дверей вагона:

— Бравый, всесоюзный рекордист, от Бравурного и Куртины, Первого московского конного завода...

В Одессе с товарной станции через город до ипподрома я добирался верхом на Бравом. Домой, в Москву, оставалось написать, что вот въехал в Одессу «на белом коне»...

Дальше, однако, все пошло не так уж помпезно и победно. Бравый, правда, постепенно «обретал порядок» после дороги и на ежедневных работах бегал хорошо. В последнюю приклядку — Шельцын на Бравом, я на гедом Конкурсе, которого также привезли для улучшения резвости, — из поворота мы «выпустили» вовсю, и, когда миновали столб, тренер, сжимая в руке секундомер, таинственно спросил:

— Ездил когда-нибудь так резво?

— Не знаю, — у меня-то «машинки» не было.

Александр Федорович раскрыл кулак и с торжеством показал стрелки: четыреста метров в тридцать секунд. Круг, значит, если так ехать, две минуты. Это надо понять! Конечно, на дистанции скажется утомление и выйдет тише, но все равно такая работа давала большие надежды.

Пробный приз Бравый выиграл легко, объехав местных резвачей. На этот раз он повторил свое московское время. Теперь — езда решающая.

— Запишу обоих, — говорил Шельцын, — и Бравого и Конкурса. Поедешь на Конкурсе.

А начались дожди. На Одесском ипподроме это гибель. Дорожки — месиво, на колесах пуды липкого чернозема. Мы все равно, как могли, поддерживали Бравого массажем и шаговыми работами. Я ездил на нем под седлом. В это глухое время конюх Кузьмич, который был с нами, отпросился к брату в Николаев. Я остался один и за помощника и конюшью с тремя жеребцами. Был еще вороной Кунгур.

Опять подошла контрольная работа. В шесть утра, как обычно, я дал овса. Беда еще была в том, что овес оказался у нас пополам с пшеницей — тяжелый для лошадей корм. Мы давали осторожно, но все-таки кормить-то надо при такой нагрузке! Боюсь, что тогда я слишком щедро насыпал Бравому. Во всяком случае, когда уже после работы и после обеда я вернулся, во дворе стояло плотное кольцо людей. В середине — Бравый: как гибнущий гигант, он беспомощно оседал на задние ноги. Передними ногами он от боли ступить не мог.

Самое страшное — ревматическое воспаление копыт, что называется «опой!» Лошадиное сердце — сильный мотор — отличается одной слабостью: оно беззащитно, если не вовремя или чрезмерно дать воды. По устройству своему сердце лошади не успевает «перекачивать» жидкость, и вода устремляется в конечности, книзу, набухают кровеносные сосуды «венчика» — у самых копыт. Оттого Бравый и не мог сделать шагу, потому он и старался высвободить от тяжести собственного могучего тела передние ноги.

Подобно Крепышу, Бравый отличался какой-то роковой неудачливостью. Не то, что вдруг не повезло, а именно в тот момент, когда решается судьба, его постигает неудача. Потом или до этого он может нечаянно творить чудеса, но в минуту судьбы, когда в одну точку сведено все — успех, слава, принцип, история, — он проигрывает. Так, Крепыш имел множество почетных призов, установил на все дистанции рекорды, и некоторые держались более двадцати пяти лет. А его время на две версты (3 200 м) по ледяной дорожке зимой оставалось непобитым полвека. Только Бравый и улучшил его. Но Дерби — приз призов — Крепыш проиграл Слабости, Интернациональный приз — американскому рысаку Джeneral-Эйчу. Потом он мог шутя и играючи объехать тех же соперников, но в решающий момент ему не везло.

Бравый и в этом отношении был

похож на своего знаменитого предка.

Помню, как он упустил Дерби.

Дерби во всякой стране, где есть конный спорт, — это все. Были наездники, необычайно прославленные, но если в списке их блестящих побед за всю призовую карьеру не значилось Дерби, они оставляли свое поприще с удрученным сердцем. Само название и значение приза идут, как вообще многое в конной терминологии, из Англии, где в конце XVIII века лорд Дерби учредил приз своего имени для трехлетних скакунов. Приз этот стал привлекать из года в год класснейших лошадей и приобрел, таким образом, первостепенное значение. Тогда и в других странах основной приз сезона стали называть условно Дерби. Даже если такому Большому призу дается свое, национальное название, то дополнительно все равно указывается, что по классу это Дерби.

В тот год Бравый считался фаворитом. Все ждали его.

На работе Бравый уже показывал тогда резвость, близкую к рекордной. И утром, в день приза, полил дождь. В Москве грунт другой, чем в Одессе, ехать можно. Некоторые лошади по грязи бегут даже лучше, потому что мягче. Был случай, старик Алпатыч однажды ходил накануне приза под дождем по ипподрому и не хуже седого Лира просил стихию: «Лей! Лей!». Дождь послушался, и на другой день Алпатыч пер на своем Контакте, как паровоз, и выиграл вне конкуренции.

Не то Бравый.

Массивная лошадь, он полз по сырой дорожке. Чеканный ход его нарушился. Копыто вязло и скользило. Небольшой Подвиг легко побил его. Все расстроились. Чувствовали — несправедливо!

И вот опять Бравый бессилем перед несчастьем, обрушившимся на него. Шельцын с какой-то одеревенелой выдержкой его осматривал. Я знал за Александром Федоровичем это качество: при бедах, которых в жизни его было довольно, он изнутри напряжинивался и так непроницаемо застывал. Теперь он также ничем не выдавал своего расстройств, и только, когда ветврач принес шприц, наездник при виде огромной иглы зажмурился.

Впрочем, прежде решили сделать клизму. Я сказал, что, может быть, это «завал» в кишке от тяжелого зерна. Откуда же взяться опой, если я подпаивал глотками и вываживал? Ввели шланг, влили воды, вытащили.



— Р-р-разойдись! — скомандовал собравшимся ветврач в ожидании результата.

Но заметного действия не было. Оставалось пустить кровь.

— Какая же игла! — простонал тут Шельцын и сомкнул глаза.

— Возьмите губу, — велел ветврач.

Я взял Бравого за верхнюю губу между поздней, за теплый и мягкий нос, впившись как можно крепче ногтями, и даже скрутил немного, чтобы этой болью отвлечь жеребца от еще большего страдания и заставить стоять, пока сделают укол. Иначе он раскидал бы всех нас.

Бравый тоже закрыл глаза.

Ветврач нацупал на шею вену и коротко и сразу ударил в нее иглой. Вырвалась темная струя. На светло-серой шерсти она выглядела особенно резко. Подставили большую колбу и взяли литра четыре крови. Тут же полегчало. Бравый стал переступать, и я смог отвести его в конюшню. Вечером он уже ходил спокойно. Но «порядок» был надолго потерян. Потом погода фкончательно испортилась. Какая тут езда! Так мы и остались без рекорда.

Ныне уже бегают дети Бравого. Когда он, ветеран, стоял в Москве на Выставке достижений народного хозяйства, я пошел его повидать и разглядел на шее с левой стороны отметину, куда били страшной иглой.

Здесь же рядом с Бравым стояли другие знаменитости, не только рысак, но и выдающиеся скакуны. Совал сквозь решетку свою морду гнедой Элемент, отец феноменального Анилина, на котором жокей международной категории Николай Насибов два последних года подряд выигрывал приз Европы. Короче, тут блистал высший коннозаводский класс, чья кровь, чье потомство вместе с мастерством наших всадников принесли нам победы в Англии, Франции, на Олимпийских играх.

Прошлым летом случилось мне торговать на Международном аукционе чистокровного молодняка в Москве. И речь моя к покупателям, если вдруг они медлили, была такова:

— Господа! Вы еще пожалеете, господа! Вы еще пожалеете, говоря вам. Вглядитесь лучше в этого жеребенка! На его полубрате выигран в Англии Золотой кубок и таким образом вернулся в нашу страну трофей, который наши конники впервые взяли в 1912 году. Этот жеребенок связан близким родством и с прославленным Ани-

лином. Смотрите лучше! Тысяча долларов — раз! Кто больше, господа?

И сколько таких громких «биографий» и родословных было перечислено!

Бравый стал историей, легендой. А у меня имелась теперь «своя» лошадь, то есть я получил ее в постоянный тренинг и езду.

Совпадения иногда заставляют заметить себя.

И тут многое сходилось. Я писал студенческую работу о том, что такое «Гамлет» в драматургии Шекспира, и надо же, чтобы мне дали двухлетку по кличке «Трагик».

Нас записали на приз в первом заезде, и выпал мне первый номер. Так и говорили: «Оправдай номер!» — стало быть, и останься первым.

Великий Грошев еще ездил тогда. Я числился у него на тренинге. Он-то и поручил мне Трагика. Последний сын Тибета — от этого жеребенка многого ждали: Тибет составил славу Тульского завода.

Вечером, накануне езды, у меня было удивительное спокойствие. Я вовсе не был уверен, что «оправдаю номер», но я как-то и не думал об этом. Сила совпадения уравнивала меня.

После уборки тренер подошел ко мне и дрожащим голосом произнес:

— Ну, спите спокойно...

Меня охватила паника. Грошев дрожит! И я стал волноваться, как мог. На другой день совпадения были совпадениями: первый раз на приз, первый заезд, первый номер — и только одно нарушение: я остался на Трагике вторым. В последнем повороте он хорошо бросился вперед и почти захватывал лидерство.

Вел А. А. Сорокин на Гениальной. Красная лента через плечо его белого камзола на момент возникла у самого носа Трагика. А я увлекся, закричал, слегка бросил вожжи, и Трагик, лишившись поддержки, сбился. Из завода пришло Грошеву письмо: «Григорий Дмитриевич! Если сами не хотите садиться на наших классных лошадей, то отдайте лучше помощнику. А вы кого сажаете?» И конюх Костя, убравший Трагика, хотя и не знал о совпадениях, но так верил в «оправдай номер», что после приза, ползая у Трагика под ногами и снимая ногавки и козырьки, растерянно бормотал:

— Как же это? Как же? Образованный человек!.. Ведь образованный человек!

Великий Грошев чиркнул хлыстом по полу:

— Образованных много, вот умных мало.

Я уже написал работу про «Гамлета», когда Грошев взял у меня Трагика и взамен я получил Горку, кобылу трех лет. «Вёрхом», то есть спиной, почкой, она была хороша. «Вёрхом просто Гильдейца!», — судили о ней; значит, очертаниями шеи, спины и крупа Горка напоминала легендарного Гильдейца, к линии которого она с отцовской стороны принадлежала. Однако ноги, ноги! Никудышный товар, пустое дело. Все на ней упражнялись. И «сам», то есть Грошев, садился, и его помощники, а Горка, как говорят, «считала столбы»: не шла ходом, сбиваясь возле каждого фонаря, что окружают для освещения дорожку. И приездка у нее была попеременно оглобеля, боком, короче, дрянь.

Запрягал я ее в «качалку», ездил часа по три, надевал хомут, чтобы заставить тянуть и идти ровно, шагал под седлом.

— Ты ее, — говорили на конюшне, — запряги задом наперед, — потому что все было испробовано.

В апреле Грошев записал нас на приз. Была среда, безветренная погода, дорожка сухая, легкая. Проминка вышла еще ничего, а на фальстартах, то есть на пробных приемах перед самым стартом, Горка принялась скакать.

Николай Морин, который сейчас сам уже ездит за мастера, а в то время был у Грошева помощником, подбежал ко мне:

— Чек выше на дырочку! — И сам же подтянул чуть-чуть ремень, который держит на упоре голову лошади. Длина чека вместе с «обувью» — тем, что лошадь несет на ногах, — ключ всей сборки, а стало быть, и секрет хода.

Я поражен был тогда и по-прежнему занят этим, потому что в себе самом едва ли могу найти силы для такого же профессионального бескорыстия. Знал я, знал и Николай, что если мне удастся езда, Грошев после общих неудач во всеуслышание на его, Николая же Морина, счет скажет про меня: «Вот как ездить надо».

Глаз у Морина был точен. Горка с этим чеком пошла, как часы. Не шевельнув вожжами и не тронув хлыстом, я оказался первым.

Приехал в паaddock, где отпрягают. Встал на весы. Поздравляли с громким криком.

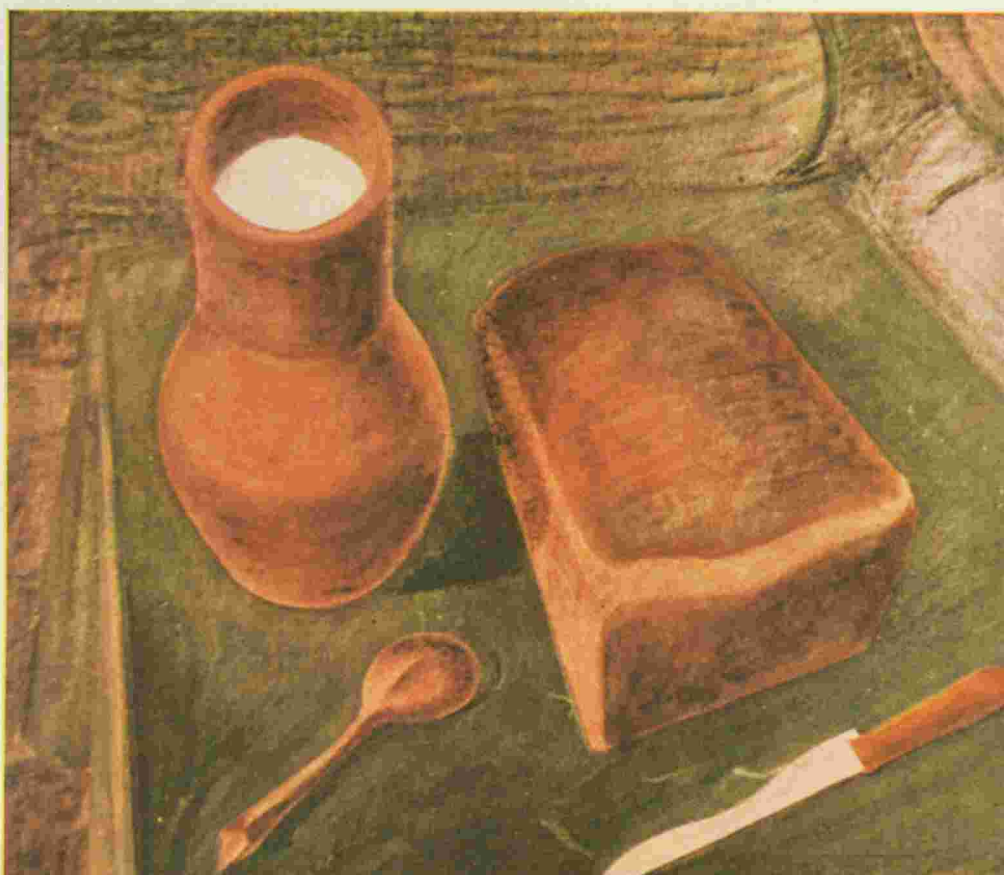
Великий Грошев чиркнул хлыстом по песку:

— Вот как ездить надо!

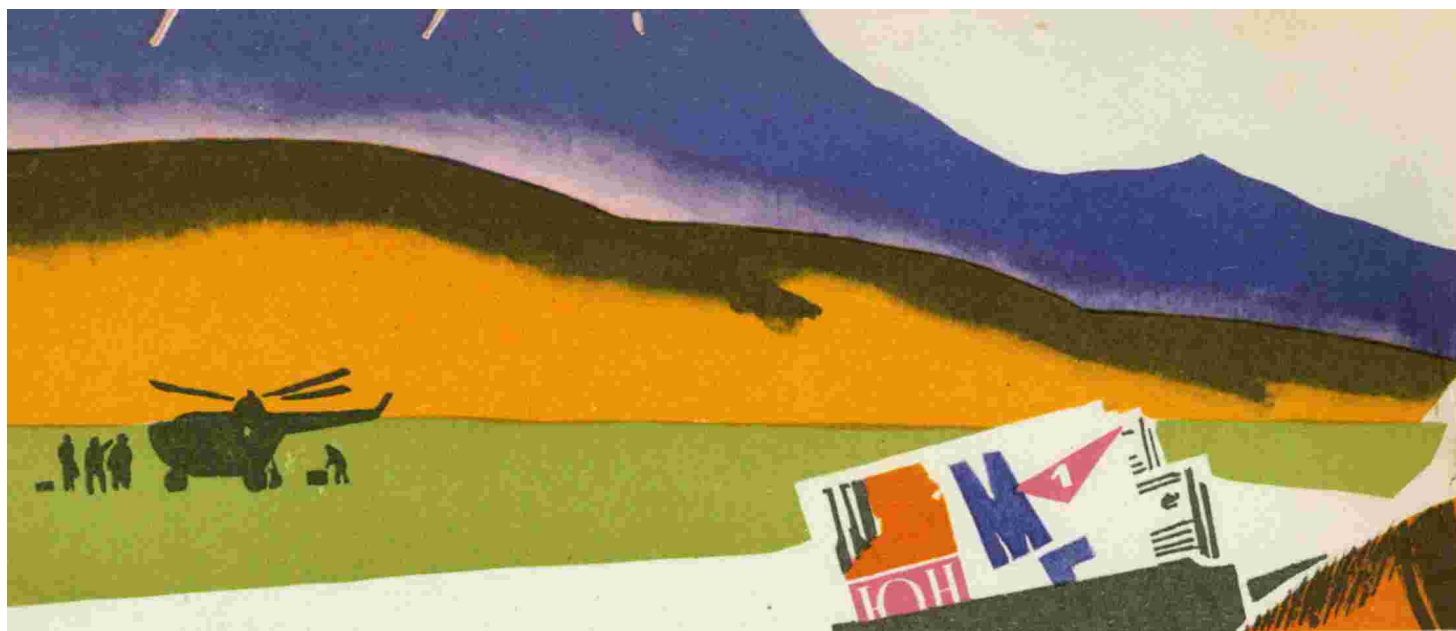


О. ЛОШАКОВ.  
Владивосток. Порт.

И. ОБРОСОВ.  
Натюрморт.



По залам  
VIII выставки  
произведений  
молодых художников  
Москвы.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,  
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ,  
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс  
71120